

Фридрих Горенштейн БЕРДИЧЕВ



Фридрих
Горенштейн
БЕРДИЧЕВ



проза еврейской жизни



Книга издана при поддержке
Фонда Ави Хай

|||
проза еврейской жизни

Фридрих Горенштейн Бердичев

Избранное



Москва
«Текст»
2007

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
Г67

Оформление серии А. Бондаренко

Горенштейн Ф.

Г67 Бердичев: Избранное / Фридрих Горенштейн. — М.: Текст, 2007. — 318, [2] с.

ISBN 978-5-7516-0679-5

Фридрих Горенштейн (1932—2002) — известный писатель-диссидент, за неимением литературного будущего в СССР вынужденный эмигрировать в Германию. В сборник вошли повесть «Маленький фруктовый садик», рассказ «Искра» и пьеса «Бердичев», которая, по мнению критиков, входит в сокровищницу мирового еврейского искусства. Главная героиня Рахиль вместе с другими действующими лицами — евреями, русскими и украинцами — проживает на сцене более тридцати лет.

УДК 821.161.1

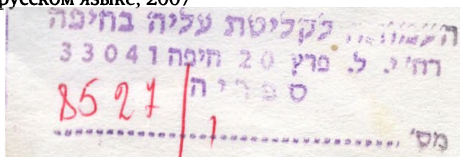
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-7516-0679-5

© Ф. Горенштейн, наследники, 2007

© «Текст», издание на русском языке, 2007

© Фонд Ави Хай, 2007



БЕРДИЧЕВ

*Драма в трех действиях,
восьми картинах, 92 скандалах*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

РАХИЛЬ КАПЦАН, урожденная Луцкая.

РУЗЯ }
ЛЮСЯ } ее дочери.

МАРИК }
ГАРИК } ее внуки, сыновья Рузи.

ВИЛЯ, ее племянник.

ЗЛОТА, ее старшая сестра, портниха, живет с ней в одной квартире.

СУМЕР, ее брат, заведующий швейной артелью.

ЗИНА, его жена.

МИЛЯ ТАЙБЕР, муж Рузи, фотограф на заводе «Прогресс».

БРОНЯ МИХАЙЛОВНА ТАЙБЕР, его мать.

ГРИГОРИЙ ХАИМОВИЧ ТАЙБЕР, его отец.

БЫЛЯ ШНЕУР, двоюродная сестра Луцких.

ЙОЙНА ШНЕУР, ее муж, работает в лагере военнопленных, заведует буфетами на железной дороге.

ПЫНЧИК (ПЕТР СОЛОМОНОВИЧ), двоюродный брат Луцких, майор.

БРОНФЕНМАХЕР, сосед Луцких по дому.

БЕБА, его жена.

МАКАР ЕВГЕНЬЕВИЧ, сосед Луцких по дому, сапожник-кустарь.

Дуня, его жена.

Луша, мать-одиночка, уборщица во дворе Луцких.

Стаська, молодая украинская полька, живет в доме Луцких.

Колька Дрыбчик }
Витька Лаундя } дворовые мальчишки.

Сергей Бойко }
Фаня Бойко, его жена } соседи Луцких по дому.

Зоя, их дочь.

Борис Макзаник, заводской поэт.

Полковник Маматюк, герой освобождения Бердичева, позже отставник.

Полковник Делев, Герой Советского Союза, позже отставник.

Вшиволдина, жена полковника.

Овечкис Авнер Эфраимович }
Овечкис Вера Эфраимовна } московские
евреи.

Картины 1-я и 2-я происходят в один день лета 1945 года, 3-я и последующие картины происходят в разные годы, начиная с 1946-го и кончая серединой 70-х годов.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Квартира в доме из серого кирпича с пузатыми железными балконами, который выстроил еще до революции местный бердичевский богач доктор Шренцис. Большая комната, очевидно, в прежние времена, при старых хозяевах, — столовая. Под высоким потолком вдоль стен лепной орнамент, довольно аляповатый, из каких-то цветочков и птичек, сейчас к тому же пыльный и грязный. Высокая, до потолка, кафельная печь также покрыта цветным орнаментом. Окна кажутся узкими от полуторной высоты. В окна видно разросшееся дерево и электрический столб, на котором железная шляпа — абажур без лампочки. Далее — узкий булыжный переулочек, пустырь, огражденный колючей проволокой, крыши одноэтажных домов, несколько обгорелых развалин и на горизонте упирающийся в небо силуэт красивой водонапорной башни, расположенной в центре города.

Посреди комнаты стоит старый, но крепкий дубовый стол, покрытый клеенкой, несколько старых стульев и свежеструганых табуретов, очевидно, чтобы дополнить стулья, которых мало для живущей здесь семьи. Вдоль стены буфет с чашками, старый книжный шкаф и платяной шкаф. Все явно из разных гарнитуров, сборное. На буфете гипсовый бюст Ленина и два кувшинчика, из которых торчат красные бумажные цветы. На стене над продавленным дива-

ном — некогда хорошей кожи, ныне же ободранном — висит портрет Сталина. Высокие белые двери ведут в другую комнату, там видна железная кровать и над ней коврик базарной живописи «Утро в сосновом бору».

По комнате шумно и тяжело ходит Р а х и л ь, женщина лет сорока, в лице, фигуре и жестах которой чувствуется нечто лошадиное. Крепкими своими руками она хватает стоящие на подоконнике банки с вареньем и бутылки с наливкой, встряхивает их, нюхает, заглядывает внутрь, пробует. При этом губы ее постоянно шевелятся, а глаза быстро, по-охотничьи, смотрят на В и л ю, бледного подростка, который делает вид, что не замечает метаний Рахили, и, сжав ладонями уши, читает у стола книгу. Рахиль не может затеять шумный скандал, поскольку в соседней комнате сестра ее З л о т а примеряет платье своей заказчице В ш и в о л д и н о й, жене полковника. Злота — маленькая, со скрюченными пальцами, оттопыренными губками, к которым всегда что-нибудь прилеплено: нитка, шелуха семечка, хлебные крошки... Злоте под 50, у нее плоскостопие, ходит она, осторожно ставя ноги, как по льду.

З л о т а (напевает, делая наметки). «Тира-ра-рой... Птичечка, пой...»

В ш и в о л д и н а. Зинаида Павловна, под рукой немного тянет.

З л о т а. Меня зовут Злота Абрамовна.

В ш и в о л д и н а. А мне больше нравится Зинаида Павловна... Вы согласны? (Смеется.)

З л о т а (тоже смеется). Пожалуйста... Пусть будет Зинаида Павловна... «Тира-ра-рой, птичечка, пой...» Тут будет встречная складка. Снимется, подрежется.

Я вам сделаю комплимент: я люблю, когда у заказчицы хорошая фигура...

Р а х и л ь *(тихо, как бы про себя)*. Суют ложки... Ложки суют... Пробуют, пробуют... Нор мы квыкцех... Получают удовольствие... Мои дети никогда не берут чужое... *(Замечает, что из бутылки особенно много выпито.)* Виля, Виля, Виля...

В и л я *(тихо)*. Сама ты воровка...

Р а х и л ь *(словно обрадовавшись, тихо)*. Я воровка? Чтоб ты лежал и гнил, если я воровка. *(Поднимает правую руку.)* От так, как я держу руку, я тебе войду в лицо...

В и л я. На... *(Дает ей дулю.)*

З л о т а. «Тира-ра-рой, птичечка, пой...» *(Вшиволдиной.)* Подождите, я возьму сейчас нитки для наметки. *(Выходит в столовую, тихо.)* Боже мой, ведь стыдно перед человеком...

Р а х и л ь. Ты молчи... Вот сейчас ты схватишься за свои косичечки... Сейчас начнешь танцевать перделемешку...

З л о т а *(хватается за лицо)*. Боже мой... *(Уходит.)*

В и л я. На... *(Дает Рахили дулю.)*

Р а х и л ь. Чтоб ты опух, так было бы хорошо... *(Ходит, встряхивает банки и бутылки.)* Суют ложки... Пробуют... Так было бы хорошо... Так было бы хорошо... *(Ругательства она произносит про себя, только шевеля губами, а вслух повторяет: «Так было бы хорошо».)*

З л о т а. Мадам Вшиволдина, пройдите к зеркалу.

В ш и в о л д и н а входит в столовую и начинает вертеться перед зеркалом.

РАХИЛЬ (к Вшиволдиной). Ну, как товарищ полковник? Что-то я его не видела на партконференции.

ВШИВОЛДИНА. Он уехал в Западную Белоруссию, там у брата неприятности. Полюбил девушку, а родители против: за коммуниста замуж не пойдет. Они всех русских там называют коммунистами.

РАХИЛЬ. Да, что я не понимаю: политика партии ыв национальный вопрос? Вы с какого года в партии, товарищ Вшиволдина?

ВШИВОЛДИНА. С сорок третьегого.

РАХИЛЬ. Так вы еще молодой коммунист. Если сейчас мы имеем сорок пятый, то вы имеете стаж два года. Ну, тоже неплохо. А я, слава Богу, в партии с двадцать восьмого года. Мой муж — тоже член партии, убит на фронте. Вот я вам сейчас покажу. (Достает из буфета старую, туго набитую бумагами сумку, вытаскивает несколько бумаг.) Вот написано: пал смертью храбрых в районе города Изюм.

ВШИВОЛДИНА. Это под Харьковом... Да, там в сорок третьем жуть что творилось.

РАХИЛЬ. Жуть, а? Так он должен был туда попасть. (Начинает плакать.) Я осталась с двумя сиротами. Младшая, Люся, скоро должна прийти из школы, отличница, а старшая, Рузя, учится в техникуме... И вот, племянник (показывает на Вилю), круглый сирота, моей покойной сестры сын, а эта моя сестра еле ходит. (Показывает на Злоту.)

ВШИВОЛДИНА. Не расстраивайтесь, у многих на войне погибли родные. Что ж сделаешь...

Рахиль (*всхлипывает*). Бердичев освободили зимой сорок четвертого года, а летом я с детьми уже была здесь. Я приехала по вызову горкома партии, как старый коммунист. Мой муж тоже был коммунист, работник типографии... Вот у меня ключи здесь в сумке, видите? Этот ключ от буфета, а этот от шкафа, которые я оставила здесь в сорок первом году... Я знаю, где мои вещи, где моя мебель... Моя мебель в селе Быстрик... Рассказывают, что молочница, которая нам носила молоко, приехала с подводой и забрала всю мою мебель. Ей она понравилась. Но что, я пойду в Быстрик, чтоб мне голову сняли? Вот эта вся мебель, вот этот стол, кровать, буфет, стулья, диван — это все мне органы НКВД дали. Сначала меня горком направил завстоловой НКВД. А теперь меня направили на укрепление кадров в райпотребсоюз. К чему я это говорю, товарищ Вшиволдина? Здесь за стеной живет некий Бронфенмахер из горкомхоза, который только хочет ходить через моя кухня... Что вы скажете, товарищ Вшиволдина, он имеет право устроить себе черный ход через моя кухня и носить через меня свои помои? В землю головой чтоб он уже ходил... На костылях чтоб он ходил... Что, я не знаю, родители его были большие спекулянты, их в тридцатом году раскулачили.

З л о т а. Зачем ты так говоришь? Его отец был простой сапожник. Я очень правильная... Я Доня с правдой...

В ш и в о л д и н а (*смеется*). А кто такая Доня?

З л о т а. Это была такая революционерка. Она всегда любила говорить правда. Так ее звали Доня с правдой.

РАХИЛЬ. Вот она вам скажет... Революционерка Доня была? Сионистка Доня была. А у Бронфенмахера дядя тоже был сионист, он в двадцатом году уехал в Палестину... Если я за этого Бронфенмахера возьмусь, так ему станет темно и горько... Я к Свиначу зайду... Со мной нельзя начинать... Он мне будет носить помой через мою кухню. Я его сделаю с болотом наравне... Рахиль Луцкая кое-кто еще знает в Бердичеве... Я по мужу Капцан, но меня в городе знают как Луцкая... ВШИВОЛДИНА. Не надо ругаться. *(К Золоте.)* Так когда следующая примерка, Зинаида Павловна?

ЗОЛТА. Зайдите через три дня.

РАХИЛЬ. Со мной нельзя начинать. Меня кое-кто в городе Бердичеве знает. Вот, пожалуйста, товарищ Вшиволдина. *(Достает из сумки бумажку, читает.)* «Мандат номер четыреста тринадцать. Капцан Р. А. дійсно является делегатом четырнадцатой районной конференции Бердичевского району вид первичной организации райспоживспилки з правом ухвального голосу...» Вы понимаете по-украински?.. Я делегат районной конференции от райпотребсоюза с правом совещательного голоса... Так этот Бронфенмахер будет носить через меня свои помой...

Вшиволдина переодевается в соседней комнате.

Всего доброго, товарищ Вшиволдина. *(Золта идет проводить, слышно, как хлопнули двери.)* Золта, ты хорошо закрыла двери? Гоем снизу придут что-нибудь украсть, а ты потом скажешь, что ты не виновата.

З л о т а (к Виле). Ну, она от меня рвет куски... Я не могу выдержать... Если б я не была больная, я б уехала куда-нибудь (плачет) к чужим людям.

Р а х и л ь. Если б баба имела яйца... Вот сейчас придет Сумер или Быля со своим животом (надувает щеки и показывает, какой у Были живот), так ты на меня наговоришь...

З л о т а (плачет). Сумер наш брат единственный, а Быля наша двоюродная сестра... Я к ней ничего не имею... Она моя заказчица, дает мне заработать на хлеб. (Говорит и давится от слез.)

Р а х и л ь. Ша, сумасшедшая... Сразу она начинает писать глазами... Сразу она танцует перделемешка. Ты знаешь, Виля, что такое танцевать перделемешка? Это когда истерика... Ты ж понимаешь, Виля, я хочу ей плохого... А ведь можно прожить тихо, мирно... Я с моими детьми, Злота с тобой, Сумер со своей семьей, кто у нас еще остался?

В и л я (Рахили). Заткнись!

Р а х и л ь (к Злоте). Ну что ты скажешь? Ты ж говоришь, что только ты опекун... Хороший племянничек... (К Виле.) Болячка на тебя... Я сварила немножко варенья для своих детей, немножко наливки на свои копейки, чтоб иногда немного к чаю, так он сует ложки в банки... Но нельзя говорить... Злота говорит, что это хорошо...

В и л я. Чтоб ты так жила...

Р а х и л ь. Что я таки так жила... Болячка тебе в лицо... Такой железный парень, а вынести ведро с помоями некому... (Сердито стуча ногами, выходит на

кухню, слышно, как она гремит ведром, как хлопают входные двери. Кричит.) Злота, прислушайся... Гоем придут, украдут кастрюли или моя телогрейка, а потом ты скажешь, что ты не виновата.

З л о т а (к Виле). Зачем ты ей говоришь «заткнись»?

В и л я. А что, я ей буду молчать?

З л о т а. Если б Рахиль все не заносила домой, нам было бы плохо... Но у нее такой характер, она нервная...

В и л я. Она все заносит домой? А ты знаешь, когда она идет получать хлеб по карточкам на себя и на нас, так она часть нашего хлеба перекладывает себе...

З л о т а (смеется). Я вижу, что-то нам не хватает. А они трое кушают, и им еще остается.

В и л я (сердито). Я вчера пошел за ней в булочную и заметил.

З л о т а (смеется). Нам только на завтрак и на обед хватает, а они и на ужин хлеб имеют... Но она такая ловкая...

В и л я. Я ей скажу, что она воровка...

З л о т а (испуганно). Ой, я не могу выдержать...

В и л я (передразнивает). Не могу выдержать... Ой, вэй... И вечно у тебя на губе что-то висит. Сними нитку с губы, смотреть противно.

З л о т а (плачет). Это за все хорошее, что я ему сделала... Я такая больная... Помни, Виля, помни...

В и л я. На... (Дает ей дулю.)

З л о т а (плачет). Гыдейнк... Помни... Ты меня будешь искать в каждом уголке... Чтоб мне этот час хорошо прошел... (Слышно, как хлопает входная

дверь, гремит ведро. Злата вытирает глаза, прикладывает палец к губам.) Ша, тихо...

РАХИЛЬ (врывается с красным лицом, с вытаращенными глазами). Ой, быстрее... Прячь, прячь... Всюду журналы мод раскиданы, всюду нитки, катушки... Виля, закрой машину рядом...

ЗЛОТА. Рухл, не бросай, ты мне все выкройки порвешь...

РАХИЛЬ (тяжело дышит). Злата, быстрее... Тут во двор один зашел... Луша снизу говорит, что это фининспектор. Когда-нибудь я останусь с моими детьми из-за тебя несчастной. Придут и опишут мою мебель. Все гоем снизу знают, что здесь живет портниха.

ЗЛОТА (бледная). Ой, я мертвая...

РАХИЛЬ (кричит). Когда-нибудь я стану из-за тебя несчастная с моими детьми! Виля, собирай быстрее журналы... Когда-нибудь я возьму все выкройки и все журналы и сожгу их...

ЗЛОТА (плачет). Это мой заработок, на что мне жить?

РАХИЛЬ (кричит). Иди в артель, как все! Ты не хочешь работать на государство.

ЗЛОТА (садится на стул). Ой, мне плохо... Я больная...

РАХИЛЬ. Я тоже больная, и все-таки я поднимаю на складе мешки и ящики...

ЗЛОТА (держится за сердце). Ой, мне плохо...

РАХИЛЬ. Злата, ты делаешь уже свои номерочки? (К Виле). Что ты скажешь, Виля, я хочу ей плохого?.. Боже спаси... Я снесла ведро, мне Луша снизу говорит:

Рахиль Абрамовна, тут во двор зашел один, так, кажется, это фининспектор... Сидит и стонет, как квочка... Если плохо, принимают лекарство... Хочешь немножко варенья?.. Виля, пойдй набери два стакана воды себе и Злоте, с вареньем очень вкусно... Какой ты хочешь варенье: вишневое или клубничное?

З л о т а (*плачет, к Виле*). Я имею от нее отрезанные годы...

Р а х и л ь. Сумасшедшая... Ты думаешь, почему эти гоем снизу не присылают сюда фининспектора? Слышишь, Виля, они б давно сюда прислали, но здесь во дворе Макар Евгеньевич делает сапоги, он член партии, но он кустарь. А Дуня, его жена, вяжет на базар кофты. Они знают, что если гоем ко мне пришлют фининспектора, так я к ним пришлю фининспектора. Это ты их боишься, я их не боюсь. (*Слышен стук в дверь.*) Ой, это Люся идет из школы... Мне чтоб было за ее кости...

Быстро идет в переднюю и возвращается с двумя девочками лет двенадцати — тринадцати. Л ю с я — темноглазая, но на Рахиль не похожа, а вторая д е в о ч к а — бледная и беленькая.

Л ю с я. Мама, можно Зоя у нас побудет, у них дома никого нет?..

Р а х и л ь (*недовольно*). Пусть будет... Что ты имела сегодня за отметки?

З о я. У Люси сегодня по алгебре пять, по географии четыре.

Р а х и л ь. А у тебя?

З о я. Меня сегодня не вызывали.

Р а х и л ь (к Люсе). Может, Рузю подождем, чтобы вместе пообедать? Она скоро должна прийти из техникум.

Л ю с я. Нет, мамка, мы голодные.

Выходят с Зоей на балкон.

Р а х и л ь (ворчит). Мы голодные... Разве это заметно? (К Злоте.) Фаня специально присылает сюда свою девочку, чтоб она у нас питалась... Это та еще Фаничка... Живет с гоем... Она из веселых и глухих... Ей говорили — сядь, она ложилась...

З л о т а (испуганно). Ша, тихо. Зоя ведь услышит.

Р а х и л ь. Пусть слышит. Мне кисло в заднице... Виля, будешь тоже обедать?

З л о т а. Зачем ему обедать, что, у него своего обеда нет?

Р а х и л ь. Не хочешь, так не надо... Мне кисло в заднице...

В и л я (к Рахили). Закрой пасть.

Р а х и л ь. Сам закрой пасть... (К Злоте.) Что ты скажешь? Закрой пасть... Чтоб ты опух...

З л о т а. Боже мой, Боже мой, смотри, какие проклятья...

Л ю с я и З о я выходят с балкона, хохоча и хлопая в ладоши.

Л ю с я и З о я (вместе, хлопая в ладоши друг друга). Сим-сим-сима, мать моя Маша, к всем, к всем примерам, мой сыночек пионером...

Л ю с я. Виля, давай с нами...

В и л я. Да ну...

З о я. Он смущается. (Смеется.)

Л ю с я и З о я (вместе). Работница-ница, всесоюзница-ница, синеблузница-ница. Пионеры мы! (Обе одновременно делают пионерский салют.)

З л о т а. Слушай-но, слушай-но, как они красиво поют. (Смеется.)

Р а х и л ь (к Зое). Папа больше не бьет мама?

З л о т а. Ах, в моей жизни... Что ты спрашиваешь?

Р а х и л ь. А что я спрашиваю?

З о я (всхлипывает). Я пойду...

Р а х и л ь. Сплошные сумасшедшие.

Л ю с я. Мама, а ну тебя...

В и л я (Рахили). Ты дура...

Р а х и л ь. Ты дурак... От так, как я держу руку, так я тебе войду в лицо. (Кричит громко и визгливо.) От так, как я держу руку, я тебе войду в лицо!.. От так я дам от себя!..

З л о т а (кричит). Боже мой, Боже мой! (Хватается руками за волосы.)

Л ю с я. Мама, перестань, мама... (Уводит Рахиль в соседнюю комнату.)

Р а х и л ь (из соседней комнаты). Он мне будет говорить — дура, заткнись, воровка... Болячка ему в мозги...

З л о т а (Виле). Зачем ты ей говоришь — дура?

В и л я (Злоте). Ты тоже дура... На... (Дает ей дулю, хватая книгу и выбегает.)

З о я. Тетя Рахиль, он уже ушел.

Р а х и л ь (выходит из соседней комнаты. Сквозь слезы). Чтоб он подавился... Без ног чтоб он остался...

З л о т а. Боже мой, Боже мой, зачем ты его так проклинаешь?

Р а х и л ь (Злоте). Уйди, чтоб тебе не видать... Вы мою жизнь погубили. Если б я жила отдельно с моими детьми, все было бы иначе... Уйди, чтоб тебе не видать...

З л о т а (тихо). Почему я не умерла... Сестра моя умерла, а я живу... (Уходит в соседнюю комнату.)

Л ю с я. Не плачь, мама. (Целует Рахиль.)

З о я. Успокойтесь, тетя Рахилья.

Р а х и л ь (всхлипывая). Дети, сейчас я вам дам хороший суп с мука и говяжий жир... Зоя, ты любишь погрызть косточка? Мяса нет, но косточка хорошая, с хрящиками... Садитесь, дети. (Слышен стук.) О, как раз Рузя вовремя...

Идет открывать, слышны в передней разговоры, и она возвращается со своим братом С у м е р о м и второй дочерью, Р у з ь е й. Сумер лет пятидесяти пяти, с оттопыренными ушами. В его лице тоже есть нечто лошадиное, как и у Рахили, но это не рабочая лошадь, а веселый, худой жеребец. Нижняя губа толще верхней, типичные губы едкого насмешника. Рузя похожа на Рахиль, но семнадцать лет придают вытаращенным черным глазам и припухлым губам какую-то наивную привлекательность.

З л о т а. Смотри-но... Где вы встречались?

С у м е р. Какая разница... Я вижу, идет красивая девочка... Рузя, почему ты такая шейне мейделе? (Хватает ее за руку.) Такую красивую девочку надо щупать... Щупай, щупай... (Рузя хохочет.)

Р а х и л ь (смеется). Сумасшедший...

С у м е р. Щупай, щупай... (Смеется.)

Р а х и л ь. Ну, Сумер, что ты скажешь, где взять хорошего жениха?

З л о т а. А я говорю, ей еще рано замуж... Рузя должна учиться, окончить техникум... Во... Я очень правильная... Я Доня с правдой...

Р а х и л ь (Сумеру). Что ты скажешь на эту Доню с правдой? Красивая Доня с правдой... Сумер, я имею от нее отрезанные годы...

З л о т а. Да, да... Всегда она на меня наговаривает перед людьми...

Р а х и л ь. Сумер, я имею от нее отрезанные годы... Если я ее выдерживаю, так мне надо дать звание Героя Советского Союза, как полковнику Делеву... Ты знаешь Делева?

С у м е р. А что, я не знаю Делева? У него нет глаза...

Л ю с я. Мама — Герой Советского Союза. (Смеется.)

Р а х и л ь. Да, я Герой Советского Союза, если я от нее выдерживаю.

С у м е р (смеется). Злота, зачем ты трогаешь Рухеле?

З л о т а. Ты такой же, как она... Вы думаете, что оба умные, а я дура...

Р а х и л ь. Слышишь, Сумер, ты ж меня знаешь. Если я сказала, так это сказано. Виля не такой плохой, как она его делает плохим. Ему ничего нельзя сказать. Недавно дети пришли, Люся и вот ее подруга Зоя. Это Фани Бойко дочка. Ты знаешь Фаню?

С у м е р. А что, я не знаю Фаню, которая замужем за гоем?

Р а х и л ь. Так я говорю, Виля, садись обедать с нами. Он мне отвечает — ты дура, заткнись...

З л о т а. Ты можешь свести эту стену с той стеной.

Р а х и л ь. Чтоб я так была здорова.

Р у з я. Мама, ты виновата сама. Надо один раз ударить, а ты только говоришь.

З л о т а. Пусть того ударит гром, кто Вилю ударит.

С у м е р *(смеется)*. Злота, зачем ты ругаешь Рухеле?

Ну, я пойду. У вас здесь кричат...

Р а х и л ь. Подожди, Сумер, ты ж только что зашел.

Сядь-но, расскажи, что нового, как Зина?

С у м е р. Зина любит деньги... А в квартире у меня так грязно, так воняет... Моя жена неряха, ты ж это знаешь... Что тебе еще рассказать? *(Нюхает.)* Рухеле, ты ведь такая хозяйка, почему у тебя воняет?

Р а х и л ь *(нюхает)*. Злота, ты ела редьку. *(Смеется.)*

З л о т а. Ну я не могу выдержать. *(Плачет.)* Всегда она на меня наговаривает.

Р а х и л ь. Злота, чтоб ты мне была здорова, ты ела редьку... Люся, натри-но палец...

Люся смеется, натирает палец. Сжимает руку в кулак.

Л ю с я. Зоя, тащи. *(Зоя вытаскивает один палец.)* Теперь, Рузя, тащи...

З л о т а *(давится от слез)*. Вы меня будете искать в каждом уголочке...

Р а х и л ь. Ну, Сумер, так от нее можно выдержать? *(Вытаскивает из Люсиного кулака палец, выпачканный в штукатурке.)*

Л ю с я *(смеется)*. Это не Злота, это мама. *(Рахиль смеется.)*

З л о т а. Ну, так ты видишь? *(Тоже начинает смеяться.)*

РАХИЛЬ (Сумеру). А ведь можно прожить тихо, мирно... Сколько нас осталось? Мой муж погиб, твой сын погиб, наша сестра умерла, наш младший брат Шлойма погиб, папа и мама умерли в Средней Азии... Сколько нас осталось... Вокруг одни враги... Вот тут за стеной живет Бронфенмахер... Ты знаешь Бронфенмахера?

СУМЕР. А что, я не знаю Бронфенмахера из горкомхоза?

РАХИЛЬ. Так он хочет только ходить через моя кухня. Вот тут есть дверь. Раньше это была общая квартира, жил один хозяин, здесь сам Шренцис когда-то жил, а теперь мы эту дверь замуровали. Что ты скажешь, он будет носить через меня помои... Я ему голову сниму... Это Йойны Шнеура товарищ, Былиного мужа...

ЗЛОТА. Она только хочет, чтоб я ругалась с Былей.

РАХИЛЬ. Если Йойна работает в лагерь военнопленных по снабжению, так он думает, что большой человек... А она дует от себя, она у себя очень большая. Всегда она водит знакомство только с докторами. Вот так она ходит и дует от себя. *(Кривит лицо, надувает щеки, выпячивает живот, ходит и дует.)*

ЗЛОТА. Вы оба любите смеяться над людьми, а я нет.

Слышен стук в дверь.

РАХИЛЬ. Сегодня веселый день, дверь не закрывается.

Идет открывать, входит ФАНЯ, соседка Рахили и Злоты.

Ф а н я. Здравствуйте. Моя Зоя у вас? Зоя, идем домой.

З о я. Я еще хочу побыть у Люси.

Ф а н я. Папа уже лег спать, не бойся.

Р а х и л ь. Ну посиди, Фаня...

Ф а н я. Ой, мне стыдно перед людьми, смотрите, какой у меня под глазом синяк... Вэй из мане юрен...

Р а х и л ь. Ой, вэй з мир... Ну, подай в суд, чего ты молчишь... Что значит он тебя бьет... Это ж не царский режим сейчас...

Ф а н я (плачет). Ой, Рахиличка, у меня двое детей от этого гоя... И во время оккупации он нас не выдал, спрятал меня с детьми...

С у м е р. Где ж он вас мог спрятать?

Ф а н я. Сумер Абрамович, он нас в село отвез... Под Реей... Тридцать километров от Бердичева. Там у него поп родственник. Сергей достал бумаги, что я украинка и дети украинцы. Всю оккупацию прятал. А теперь напьется, бьет меня, кричит мне — жидовка, и детям тоже кричит — хитрые жидаы...

Р а х и л ь. Как тебе нравится, Сумер, такое горе?.. Так это хоть пьяный гой. А тут за стеной живет еврей, так ему могут глаза вылезти... Фаня, ты знаешь Бронфенмахера?

Ф а н я. А что же, я не знаю Исака Исаевича? И Бебу?

Р а х и л ь. Это та еще Бебочка. Я помню, как она одевала большую шляпу и выходила на бульвар...

З л о т а. Зачем на людей наговаривать?

Р а х и л ь. Злота, дай чтоб от тебя отдохнули уши... Это ты его боишься... Он мне говорит, если ему не раз-

решить по-хорошему носить через нас помои, он ломает стену... А я говорю, а ну, попробуй, Бронфенмахер, я хочу видеть... *(Сильный удар на кухне.)* Ой, что это! *(Бежит на кухню и возвращается, громко крича.)* Ой, Бронфенмахер ломает стену... Ой-ой-ой...

Люся начинает плакать, Злота хватается за сердце и садится на стул.

Ф А Н Я. Зоя, пойдем домой. *(Они уходят.)*

Р А Х И Л Ь. Уходите, все уходите. Сумер, что ты стоишь с открытым ртом? Брат называется, мужчина.

С У М Е Р. У вас здесь всегда кричат. *(Уходит.)*

Р А Х И Л Ь. Я сама себя буду защищать. Я сейчас возьму топор. Я этому сионисту горло перережу.

Р у з я. Тише, мама, он уже перестал ломать.

Р А Х И Л Ь *(громко кричит и плачет)*. Я ему голову сломаю. Я осталась без мужа, с сиротами, а он будет ломать стену мне. Кто там вошел? Фаня ушла, и за ней не закрыли дверь, я одна должна за всем следить.

Входят Б Р О Н Ф Е Н М А Х Е Р и его жена Б Е Б А. Оба под стать друг другу, низенького роста, цепкие, с сердитыми, решительными лицами.

Б Р О Н Ф Е Н М А Х Е Р *(Рахили)*. Луцкая, тебя все в городе знают как скандалистку, но советский закон тебе не позволят нарушать... Я старый чекист...

Р А Х И Л Ь. Чтоб тебе глаза вылезли, какой ты чекист. Ты гнилой спекулянт, и ты говоришь про советский закон. Ты хочешь носить через моя кухня помои. Мой муж убит на фронт...

Б Е Б А (*высовывается из-за спины Бронфенмахера*).
Эйжа, но твой муж убит...

Р А Х И Л Ь (*к Бебе*). Она радуется, что мой муж убит...
Темно и горько чтоб тебе стало, как мне сейчас.

Б Е Б А. Я тебе сейчас наплюю в лицо.

Р А Х И Л Ь. Кровью чтоб ты плевала...

Б Е Б А. Поцелуй меня знаешь куда...

Р А Х И Л Ь. Чтоб тебя туда чиряки целовали... Нарывы
чтоб тебя туда целовали... Чтоб ты опухла... Чтоб ты ле-
жала и гнила... Немая и слепая чтоб ты стала... Болячка
тебе в мозги... Чтоб тебе каждая косточка болела...

Б Р О Н Ф Е Н М А Х Е Р. Не отвечай ей, Беба... Луцкая, ты
эту квартиру вообще занимаешь незаконно... Думаешь,
мы не знаем, что в сорок четвертом году ты без ордера
сорвала замок и вселилась сюда? Здесь должен жить
бухгалтер горкомхоза Харик, у него восемь детей...

Р А Х И Л Ь. Выйди, а то я сейчас возьму топор и дам те-
бе по голове... Я зайду к Свинарцу в горком партии,
так тебе будет темно в глазах... Ты сионист... Твой дя-
дя живет в Палестину...

Б Е Б А. Чтоб тебе так дыхалось, какая это правда.

Б Р О Н Ф Е Н М А Х Е Р. Тише, Беба. (*Указывает на вхо-
дящего с книгами в руках Вилю.*) А где твой родствен-
ник? У меня в Палестине нет близких родственников,
если надо, я это докажу. А где твой родственник?

Р А Х И Л Ь. Мой муж убит на фронте, сын Сумера тоже
убит, и мой младший брат Шлойма убит... Я член пар-
тии с двадцать восьмого года, а ты сморкач, спеку-
лянт, твоих родителей раскулачили...

Б Е Б А. Чтоб тебе так дыхалось, какая это правда...

БРОНФЕНМАХЕР. Тише, Беба... Я спрашиваю, где отец этого парня? Он арестован как троцкист...

ЗЛОТА (хватается за лицо). Ой, вэй...

РАХИЛЬ. Тихо... Ты только, Злота, не пугайся... Виля, ты не бойся... Бронфенмахер, это наш ребенок... Это мой ребенок, такой же, как Рузя и Люся... Ты понял, Бронфенмахер... Дядя этого ребенка убит под Харьковом за советскую власть... А если ты еще скажешь слово, Бронфенмахер, так, как я держу руку, я тебе войду в лицо...

БЕБА (Бронфенмахеру). С кем ты разговариваешь, Исачок?.. Это же базарная баба...

РАХИЛЬ. А ты блядюга...

ЗЛОТА. Ой, боже мой...

БЕБА. А ты курва...

ЗЛОТА. Ой, боже мой...

БРОНФЕНМАХЕР. Ладно, идем, Беба, идем. Мы с ней поговорим в другом месте...

БЕБА (Рахили). Ты воровка, думаешь, я не помню, какая у тебя была растрата в торгсине в двадцать пятом году...

РАХИЛЬ. А твоя мать была из веселых, еще при Николае...

БЕБА (визгливо). Чтоб вы все сдохли!

РАХИЛЬ. Вы через моя кухня помои не будете носить... На костылях вы ходить будете... Дерево должно упасть на вас и убить обоих или покалечить... Машина должна наехать и разрезать вас на кусочки...

БЕБА. Со своей рубашкой чтоб ты ругалась... С рубашкой чтоб ты ругалась...

Под крики и плач ползет занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Двор дома, в котором живет Рахиль с семьей. Вдоль всего второго этажа тянется деревянная веранда-балкон. На веранду ведет деревянная крутая винтообразная лестница. Напротив двухэтажного дома каменный флигель, сложенный из такого же серого кирпича. Пэобразно к дому и флигелю деревянные сараи. У сарая возится Л у ш а, складывает дрова. Под верандой, у одной из дверей первого этажа, сидит С т а с ь к а, молодая украинская полька, и играет на аккордеоне модный мотив из немецкого фильма. На деревянных ступеньках флигеля сидят М а к а р Е в г е н ь е в и ч, его жена Д у н я, К о л ь к а по кличке Дрыбчик, В и т ь к а, по кличке Лаундя, и играют в карты. Макар Евгеньевич вида степенного, состоятельного, с золотыми зубами во рту. Дуня, жена его, выглядит старше его, круглолица, одета в капот. У Луши вид крестьянки, недавно приехавшей в город. Колька и Витька — обычные послевоенные подростки-хулиганы, в военных обносках. Стаська, модная девушка 45-го года, из тех, кто допоздна шатается по бульвару. Со второго этажа, из квартиры Рахили, слышны крики и плач.

С т а с ь к а (смеется). Жиды дерутся...

Л у ш а (возясь с дровами, устало). Хотя б они поубивали друг друга.

Д у н я (смеется). Что, тебе, Луша, евреи в борщ наплевали?

Л у ш а (мрачно). Работать на них надо. Пусть бы сами дрова свои потаскали. Весь второй этаж евреи заняли, а снизу мы живем.

С т а с ь к а (смеется). Ничего, война начнется, опять они в Ташкент побегут и все свое барахло нам оставят.

К о л ь к а Д р ы б ч и к. Анекдот слышали? Встречаются трое. Один говорит: я лоцман. Другой говорит: я боцман. А третьему нечем похвастать, он говорит: а я Кацман. (Смеется.)

М а к а р Е в г е н ь е в и ч. Ты брось эти анекдоты, ходи лучше с козырей... Дуня, у тебя сколько карт осталось?

Д у н я. По одной не ошибешься.

В и т ь к а (к Кольке). Дрыбчик...

К о л ь к а. А?

В и т ь к а. На...

К о л ь к а. Жуй два. (Смеется.) Я тебя купил, Лаундя...

В и т ь к а. Дрыбчик...

К о л ь к а. Ты меня, Лаундя, не купишь.

В и т ь к а. Таких дешевых не покупают, их даром дают. (Смеется.) Я тебя купил...

С т а с ь к а. Лаундя, если я не там и не здесь, то где я?

В и т ь к а. У коровы в трещине.

С т а с ь к а. Заткни языком, чтоб я не вылезла. (Смеется.) Я тебя купила...

В и т ь к а (сердито). А ты прости тут, прости там (крестится), прости, Господи, нам...

С т а с ь к а. Смотри, Лаундя, Костя Кошенок тебе твой глаз на твою задницу натянет...

В и т ь к а. А я скажу Косте, что к тебе литер ходит... Мы сегодня вечером в парк идем военных бить, поймаем на танцплощадке тебя с твоим литером...

МАКАР ЕВГЕНЬЕВИЧ. Ох, ребята, дадут вам по пять лет и пошлют на Донбасс шахты восстанавливать... (К Дуне.) Так не ходят... У вас черва козырь, а не крест...

ДУНЯ. Стаська, ты их не слушай, выходи за лейтенанта...
СТАСЬКА (поет и играет на аккордеоне). «Завлекала, завлекала, и тебя я завлеку. Не таких я завлекала, с револьвером на боку...»

ВИТЬКА. Завлечешь... Пиской по морде получишь, мойкой по глазам.

СТАСЬКА (смеется, поет). «Оцем, дроцем, двадцать восемь, от а зекел бейнер, аз дер тоте кишт ды моме, даф ныт высен кейнер...»

ДУНЯ (смеется). Что это значит?

СТАСЬКА. «Отцем, дроцем, двадцать восемь, вот мешок костей... Когда папа целует маму, так никто не должен знать...»

КОЛЬКА. Крепко ты по-жидовски говоришь.

СТАСЬКА (смеется). А может, я жидовка? К жиду богатому в жены попрошусь, как вареник в масле буду. (Поет.) «С неба звездочка упала, и другая катится, полюбила лейтенанта, и майора хочется...»

По лестнице вниз спускаются ФАНЯ и ЗОЯ.

ЛУША. Фаня, иди-ка сюда... Что там за крик?

ФАНЯ (смеется). Бронфенмахер хочет через кухню Луцких себе черный ход сделать.

ДУНЯ. А кто это так кричит? Рахилия?

ФАНЯ (смеется). И Рахилия и Беба. Та ей говорит — ты воровка, а та ей говорит — ты спекулянтка.

Луша. Чего ты туда ходишь, Фаня? Тебя в войну Сергей спас, когда всех евреев в ямы на аэродром гнали? Спас?

Фаня. А я разве говорю, что нет?

Луша. Ты ему должна быть благодарна до конца жизни, а ты к евреям своим ходишь и жалуешься на него.

Фаня. Ой, чтоб я так жила, что я на него ничего не говорю. Зоя учится в одном классе с Рахилиной дочкой... Я ей говорю: чего ты туда ходишь? Папа из-за тебя меня ругает, что я тебя туда посылаю... И Рахиль думает, что я ее посылаю, чтоб она там кушала. Нужна нам их еврейская еда. Я зашла, чтоб Зою забрать. Чоб ты не смела больше туда ходить, Зоя... После школы сразу домой... Думаете, я не помню, Луша, когда я до войны вышла замуж за Сережу, он был веселый такой, молодой, такой футболист, так все евреи говорили на меня, что я проститутка... Таки правильно говорят: спасай Россию, бей жидов...

Луша переглядывается со Стаськой и Дуней, смеются.

Маккар Евгенийевич (подавляя улыбку). Иди, Фаня, тебя Сергей ждет. Он тут интересовался, куда ты пошла.

Фаня и Зоя входят в одну из дверей на первом этаже Мимо сараев с помойным ведром проходит Борис Макзаник. Это парень-переросток с обезьяньим лицом Сверху по лестнице спускается Вля.

Вля. Борис Макзаник нас заметил и, в гроб сходя, благословил...

М а к з а н и к (*широко улыбаясь*). Привет... В Цесека не хочешь? В центральный ср... понял? Сра... Комитет... Ну, в уборную хочешь? Пошли вместе.

В и л я. Нет, не хочу... А как дела на литературном фронте?

М а к з а н и к. Хочешь, почитаю.

С т а с ь к а. Виля, это у вас ругаются?

В и л я. У нас.

С т а с ь к а. Что ж они ругаются. Клопов бы лучше давили.

М а к з а н и к (*Виле*). Пошли немного пройдемся. (*Отходят.*) Тебе Стаська нравится?

В и л я. Так она ведь старая. Ей уже девятнадцать, а может, и двадцать.

М а к з а н и к. Зато какие у нее ягодички... Ну, пойдем сегодня на бульвар.

В и л я. Неохота... Лучше здесь почитаем.

М а к з а н и к (*ставит на землю помойное ведро*).

Старинный город Петроград
Теперь прозвали Ленинград,
Построен был еще Петром,
Как много было, было в нем...

Ты чего? Смеешься?

В и л я. Нет, продолжай, просто закашлялся...

М а к з а н и к.

Воспета Пушкиным Нева,
Была красива и стройна.
Но теперь река Нева
Лучше, чем была тогда...

Колька, подкравшись, бьет Макзаника под зад. Макзаник, схватив ведро, удирает.

В и л я (удирает, кричит испуганно). Мама!

М а к а р Е в г е н ь е в и ч (скрывая улыбку). А ну, Коля, перестань...

К о л ь к а (хохоча). Так я ж Вилю не трогаю. Иди сюда, Виля, садись с нами в карты...

В и т ь к а. Он говорил, что он хусский... Ты хусский?

В и л я. Я хотел сказать, что я русский еврей, но «русский» я успел сказать, а «еврей» не успел, потому что меня срочно домой позвали...

В и т ь к а (хохоча). Его домой позвали...

В и л я. Нет, правда... Есть бухарские евреи в Средней Азии, есть грузинские — на Кавказе, а я русский... Хотя вообще-то я наполовину... Моя мать из Польши... А отец тоже не совсем ясно кто... Я был в детдоме, так меня эти евреи взяли на воспитание... Я ведь на еврея не похож...

М а к з а н и к (проходя мимо с пустым ведром). Только все евреи похожи на тебя...

В и л я. А ты, Бора, выйди из мора, чтоб тебе ручки и ножки обсохли, а животик я тебе вытру сама...

М а к з а н и к. Сам жид, а на другого говоришь.

К о л ь к а (приподнимается). Оторвись!

Макзаник удирает, гремя ведром. Все смеются.

В и л я (к Кольке). Дай закурить.

К о л ь к а. Сам стрельнул...

В и л я. Ну дай бенек потянуть...

Колька дает окурочек. Виля курит. Слышен новый взрыв криков и плача.

Д у н я. И не устанут.

Л у ш а. Нет, это уже не там, это не у Рахили. Это Сергей Бойко опять Фаню бьет.

Из дверей на нижнем этаже, откуда слышны крики и плач, показывается С е р г е й Б о й к о. Он в майке, спортивных шароварах и босой. Похмельное лицо его искажено злобой, волосы всклокочены. Садится рядом с Макаром Евгеньевичем.

С е р г е й. Беркоград проклятый. Бердичев — еврейская столица...

М а к а р Е в г е н ь е в и ч. Сергей, зачем жену бьешь? Нехорошо.

С е р г е й. Разве жидовка может быть женой?.. Бегает к своим жидам наверх на меня жаловаться...

Л у ш а. Что ж ты ее, Сергей, от немцев спас? Зачем прятал?

С е р г е й. Так это другое дело. У меня от нее дети. А детям мать нужна, потому и прятал... Ух, Беркоград проклятый...

М а к а р Е в г е н ь е в и ч (улыбается). Так, говорят, Бердичев скоро переименуют... Горсовет уже прошение подал в Киев, в Верховный Совет... Черняховск вроде бы будет. В честь погибшего генерала Черняховского, а кто говорит, в честь генерала Ватутина... Есть слухи, что в честь Котовского назовут, который здесь, на Лысой горе, долго находился, там его казармы были... Или в честь Щорса... Здесь ведь музей Щорса есть... Или, говорят, в честь Богдана

Хмельницкого, который Бердичев от поляков освобождал...

СЕРГЕЙ. Да бросьте вы, Макар Евгеньевич, ну какой русский генерал или полководец согласится дать свое имя Бердичеву?.. А который погиб, семья не допустит... Как был он Беркоград, так и останется Беркоградом.

МАКАР ЕВГЕНЬЕВИЧ. Может, найдется... Если не генерал, так полковник.

СЕРГЕЙ. Какой полковник?

МАКАР ЕВГЕНЬЕВИЧ (улыбается). Маматюк... Герой освобождения Бердичева, командир танкового полка Бердичевской дивизии... Не Бердичев теперь будет называться, а город Маматюк...

СЕРГЕЙ. И то лучше, хоть не по-жидовски... Откуда? Из Маматюка... Ничего. (Смеется.)

МАКАР ЕВГЕНЬЕВИЧ (улыбается). Тише... Разве не видишь, вон он идет, полковник Маматюк?.. Я еще издали его заметил и вспомнил.

Через двор проходит, гремя орденами и медалями, полковник Маматюк. Останавливается, подходит к Виле и вырывает у него из рук дымящийся окурок.

МАМАТЮК (Виле). Сопляк... Разве за это я воевал на фронте, чтоб такие сопляки курили?.. (К Сергею.) Ты отец его?

СЕРГЕЙ (обиженно). Ну какой я ему отец, товарищ полковник? Бойко моя фамилия. А разве он обликом похож на Бойко?

МАМАТЮК (Виле). А где твой отец, говнюк?

В и л я (*опустив голову, покраснев, тихо*). Погиб на фронте...

М а м а т ю к. А разве за это погиб твой отец, чтоб ты теперь курил? Ты в каком классе?

В и л я (*опустив голову, тихо*). В седьмом.

М а м а т ю к. А кто у вас военрук?

В и л я. Степин...

М а м а т ю к. Знаю его... Только надо говорить: майор Степин... Ну-ка, встань, повтори...

М а к а р Е в г е н ь е в и ч (*Виле*). Встань, с полковником говоришь...

В и л я (*встает*). Майор Степин.

М а м а т ю к. Посмотрим, чему тебя научил майор... Ну-ка, вложи пять пальцев в рот и скажи: солдат, дай пороху и шинель... Вот так вложи. (*Показывает.*)

Виля вкладывает пальцы и произносит глухо фразу. Полковник бьет его по уху.

М а м а т ю к (*смеется*). Куряга... Где твоя военная хитрость? Тебя любой противник обманет... Ты ж мне сказал: солдат, дай по уху, и сильней... В следующий раз увижу, что ты куришь, не так еще дам...

Уходит, гремя орденами и медалями. Все смотрят ему вслед.
Колька и Витька смеются.

С е р г е й. Полковник-то он полковник, а зачем рукам волю дает. Это не положено.

М а к а р Е в г е н ь е в и ч. Да он контуженый. Он когда комендантом города был, солдат лупил. За это его и сняли.

Д у н я (Виле). Больно тебе?

В и л я. Нет...

Л у ш а. Как нет, ухо распухло... Пойди к Рахиле, пусть мокрое полотенце приложит.

В и л я. Да мне не больно. (Начинает плакать.)

В и т ь к а. Заревел... Ты ж хусский... Хусские никогда не плачут...

С е р г е й (Витьке). Брось ты... Он не от боли плачет, он от обиды плачет.

К о л я (Виле). Послюнявь пальцы и помажь ухо...

Д у н я. Иди домой, Виля.

К о л ь к а. Куда домой? Вон литер к Стаське идет...

Дай ему, Виля, чтоб он к нам во двор не ходил, и ухо сразу пройдет...

Во двор входит л е й т е н а н т, оглядывается, улыбается Стаське.

М а к а р Е в г е н ь е в и ч. Бросьте, ребята, драку здесь устраивать. Идите в парк драться.

В и т ь к а (Виле). Ты ж хусский, что ж боишься?

Виля встает, подходит к лейтенанту, ударяет его сзади ногой и убегает.

Л е й т е н а н т. Ах, гаденыш, убью...

Вдруг в руках у Кольки появляется ружейный шомпол, а у Витьки кирпич. Лейтенант подбегает к молодому деревцу и вырывает его с корнем.

Л у ш а. Стаська, пусти его в дом...

СТАСЬКА. Зачем он мне нужен, чтоб они мне окна побили... (*Уходит и запирает двери.*)

СЕРГЕЙ. Пойду с Фаней мириться, а то еще и мне дадут. (*Уходит.*)

КОЛЬКА (*лейтенанту*). Оторвись!

На веранде показываются РАХИЛЬ и ЗЛОТА. Рахиль упирается локтями в перила, Злота подносит ладошку ко лбу козырьком, прикрываясь от солнца, чтоб лучше видеть.

РАХИЛЬ. Гоем шлуген зех...

ЗЛОТА. Что такое?

РАХИЛЬ. Гоем дерутся...

КОЛЬКА (*лейтенанту*). Оторвись!

ЗЛОТА. Вус эйст «оторвись»? Что значит «оторвись»?

РАХИЛЬ. Оторвись — эр зол авейген... Чтоб он ушел.

ЗЛОТА. Ну так пусть он таки уйдет... Пусть он уйдет, так они тоже уйдут...

РАХИЛЬ. Ты какая-то малоумная... Как же он уйдет, если они дерутся?..

ЗЛОТА. Чуть что, она мне говорит — малоумная...

Чуть что, она делает меня с болотом наравне...

РАХИЛЬ. Ша, Злота... Ой, вэй, там же Виля...

ЗЛОТА. Виля? Я не могу жить...

РАХИЛЬ (*кричит*). Виля, иди сюда... я тебе морду побью, если ты сейчас не пойдешь домой.

ВИЛЯ. Оторвись!

РАХИЛЬ (*Злоте*). Ну, при гоем он мне говорит: оторвись... Язык чтоб ему отсох...

В и т ь к а (лейтенанту). Оторвись!

Л е й т е н а н т (озверев). Под хрен ударю!

З л о т а. Что он сказал? Хрон?

Р а х и л ь (смеется). Ты таки малоумная. Оц а клоц,
ын зи а сойхер...

Лейтенант и преследующие его Витька и Колька убегают
за сараи.

Р а х и л ь (кричит). Виля, ты туда не иди!

Д у н я. Рахиль, не бойся, он возле нас.

На веранду выходит Л ю с я.

Л ю с я. Мама, что здесь такое?

Р а х и л ь. Люсинька, зайди в квартира. Может, долж-
ны бросить камень.

Д у н я. Вот хулиганы... Рахиль, иди сюда.

Р а х и л ь. Это к Стаське приходили? Надо написать в
милицию.

М а к а р Е в г е н ь е в и ч. Попересажают их скоро и
отправят на Донбасс шахты восстанавливать.

З л о т а (Рахили). Пошли Вилю домой.

Р а х и л ь. Как я его пошлю, если он мне говорит:
оторвись! (Спускается вниз.) Ну, Дуня, ты слышала,
как я ругалась с Бронфенмахером? Он хочет про-
бить стенку, устроить себе дверь ко мне на кухню и
носить через меня помои... Что ты скажешь, он име-
ет право?

Д у н я. Тебе нужен в дом мужчина.

Р а х и л ь. Но где я возьму мужчина, Дуня? Мне сорок
лет. Молодой на мне не женится, а старый зачем мне?

Чтоб он, извините за выражение, мне в кровати навонял...

Д у н я (смеется). Но у тебя ведь в доме молодая невеста.

Р а х и л ь. Где же взять хороший жених? Ты же знаешь, Дуня, Рузичка у меня не тяжелая на голове... Я имею в виду, что это мой ребенок. (Всхлипывает.) Я осталась с детьми в тридцать семь лет. Я член партии с двадцать восьмого года. Мой муж погиб на фронт... Так теперь этот подлец Бронфенмахер хочет носить через моя кухня помои...

Д у н я. Ты Тайберов знаешь?

Р а х и л ь. А что, я не знаю Тайберов? Они жили до войны в нашем доме по Белопольской... Вы жили на первый этаж, я на второй этаж, а они жили над аптекой... Они из Одесс, но перед войной приехали в Бердичев.

М а к а р Е в г е н ь е в и ч. Совершенно верно, они одесситы.

Р а х и л ь. Отец фотограф.

М а к а р Е в г е н ь е в и ч. Совершенно верно.

Р а х и л ь. У них было двое сыновей — Миля и Пуля... Миля перед войной женился, а Пуля я не знаю, где теперь.

Д у н я. Пуля пропал в войну... Он же на русского похож. Говорят, его в Германию отправили, и где он, неизвестно. А Миля с женой развелся... Бывает неудача... Парень хороший, не раненый. Он в войну на Урале работал. По специальности тоже фотограф, как отец. С отцом вместе в фотографии работают

они на Лысой горе в воинской части. Там они имеют неплохо.

МАКАР ЕВГЕНЬЕВИЧ. Каждый солдат на фотокарточку денег не пожалеет. По себе помню.

РАХИЛЬ. Но ведь моей Рузичке семнадцать лет.

ДУНЯ. А Миле тридцать один. В самый раз. Ты знаешь, сколько у Тайберов есть денег? Если взять нас всех на вес и поставить мешок с их деньгами, так мешок перевесит.

РАХИЛЬ. Ой, что тебе сказать, Дуня? Если б я удачно выдала Рузичку замуж, мне бы стало светло в глазах.

ЛУША выходит с ребенком на руках.

ЛУША (к Рахили). Рахиль Абрамовна, дрова я сложила.

РАХИЛЬ. Ну, зайдешь, Лушенька, я тебе заплачу... Ну-ка дай мне твоя лялька... (Берет ребенка.) Как его зовут?

ЛУША. Тина...

РАХИЛЬ (улыбается). Тиночка... Агу, агу... Ой, пока эти дети вырастают... Я помню, как я была беременна Рузей, как вчера это было, а уже семнадцать лет... Мэйлэ... Ладно... Помню, как я сидела на балкон, выпила стакан молока, мне стало плохо, и Капцан, это мой покойный муж, отвез меня в роддом... Ой, вэй з мир... Тиночка, агу, агу... Луша, но это не от немца? А то как я держу ее на руках, вот так я ее брошу на землю...

Л у ш а. Что вы, Рахиль Абрамовна... Тут один наш русский работал в комендатуре истопником...

Р а х и л ь (улыбается). Тиночка, агу, агу...

Д у н я. Так, Рахиль, что мне Тайберу сказать?

М а к а р Е в г е н ь е в и ч. А что говорить? Я считаю, пусть познакомятся молодые.

Р а х и л ь (вздыхает). Пусть познакомятся, в добрый час...

З л о т а (кричит с веранды). Рухл, мясо на мясорубку делать?

Р а х и л ь (отдает ребенка Луше). Вот она мне кричит... (Поднимается на веранду.) Малоумная, вусшрайсте? Что ты кричишь? Гоем должны знать, что у нас есть дома мясо?

З л о т а (хватается за лицо). Боже мой, боже мой, она пьет мою кровь... (Уходит.)

Р а х и л ь (сердито про себя). Злоте-хухем... Злота-умница... Кричит на весь двор... Гоем должны знать, что у нас есть дома мясо... У меня они бы знали, что в заднице темно, больше ничего... (Уходит.)

Из-за сараев показывается В и т ь к а, весь в крови.

В и т ь к а (смеется). Я уже получил. (Прикасается к волосам и показывает Макару Евгеньевичу красную, окровавленную ладонь. Смеется.) Макар Евгеньевич, я уже получил...

Занавес

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

В большой комнате накрыт стол в духе роскоши 46-го года. Стоят эмалированные блюда с оладьями из черной муки, тарелка тюльки, несколько банок американского сгущенного молока, жареные котлеты горкой на блюде посреди стола, картошка в мундире, рыбные консервы, бутылки ситро и бутылка спирта. У окна обновка — тумбочка с выдвижными ящичками, на ней приемник с проигрывателем «Рекорд». В углу елка, украшенная бумажными цветами и ватой. За столом Рахиль, Сумер, его жена Зина, Пынчик — крепкий низенький майор в орденах и медалях, Дуня, Макар Евгеньевич, Рузя, Миля, его мать Броня Михайловна Тайбер, его отец Григорий Хаимович Тайбер, Люся, Виля. Злота ходит по кухне, гремит посудой, иногда показывается в дверях.

Григорий Хаимович (весело). Давайте выпьем еще. (Чокается с Дуней.)

Макар Евгеньевич (смеется, грозит пальцем). Григорий Хаимович, здесь муж присутствует. Броня Михайловна, вы заметили? Тут будут две свадьбы: Миля с Рузей и Григорий Хаимович с моей Дуней.

Броня Михайловна (смеется). Ничего, я ему разрешаю. А я к сыну перееду и буду жить у Рахили Абрамовны.

Рахиль. Пожалуйста. Мне никто не тяжелый на голове.

Дуня (смеется). Люблю одесских евреев, они веселые.

Рахиль. Бердичевские евреи тоже веселые. (*Берет тюльку, начинает ее медленно жевать. К Виле.*) Возьми тюльку.

Виля (*тихо*). Не хочу.

Рахиль. Не хочешь, так не надо.

Григорий Хаимович (*с красным лицом, поет*). «Лоз лыбен хOVER Сталин, ай-яй-яй-яй, ай...»

Миля (*парень с бритым футбольным затылком*). Э, батя, так не пойдет. Где больше двух, говорят вслух. (*К майору.*) Правильно, Петр Соломонович? Где больше двух, говорят вслух. А тут за столом две нации.

Григорий Хаимович. Но это еврейская песня о Сталине.

Пынчик. Не Сталин, а товарищ Сталин...

Макар Евгеньевич. Раз еврейская песня, значит, надо петь по-еврейски. У нас все нации равны. А ты, Миля, переводи мне.

Рахиль. Я эта песня тоже знаю, мы ее учили в клубе «Безбожник»... Ой, вэй з мир... (*Показывает на Рузю.*) Ее покойный отец так хорошо танцевал, но, когда я с ним познакомилась, я сказала: ты не будешь ходить в кружок, там слишком много девушек. (*Смеется.*) Ой, вэй з мир... Такой отец у нее был.

Рузя. Ай, мама, перестань, нашла время.

Григорий Хаимович. «Лоз лыбен хOVER Сталин, ай-яй-яй-яй, ай...»

Рахиль (*подхватывает*). «Фар дем лыбен, фар дем наем, ай-яй-яй-яй...»

Миля (*переводит*). «Пусть живет товарищ Сталин, ай-яй-яй-яй, ай... За жизнь за новую, ай-яй-яй-яй...»

Рахиль. «Фар Октобер революции, ай-яй-яй-яй, ай...
Фар дер Сталине конституци, ай-яй-яй-яй...»

Миля. «За Октябрьскую революцию, за сталинскую
Конституцию...»

Сумер (в такт поющим). «Лах, лах, лахес... Лах, лах,
лахес...»

Дуня. А это что за песня?

Сумер. Это еще при Николае, когда я служил, вся ро-
та пела, а я кричал: лах, лах, лахес... Мне унтер разре-
шил, потому что я иудейского вероисповедания и не
могу петь русская песня. Тогда не говорили — еврей,
но иудейского вероисповедания.

Макар Евгеньевич. Так это ведь еврейская
песня.

Сумер. Еврейская? Я ее не знаю. (Смеется.) Я знаю
одну хорошую еврейскую песню про неряшливую
жену.

Рахиль. У меня брат очень веселый... Он хойзекма-
хер... Он большой насмешник.

Зина. Но когда над кем-то надо смеяться. Когда над
ним смеются, он не любит. Сейчас я вам расскажу
про мой муж. Когда я с ним иду в кино, и, только ту-
шат свет, чтоб пустить картина, он сразу засыпает.
Недавно он во сне раздел в кино галоши и забыл их
там.

Сумер (Зине). Ты лучше расскажи, как ты прятала
мои папиросы... Она не хочет, чтоб я курил, так я
спрятал папиросы в ее туфли, и она не могла найти.
(Смеется.)

МАКАР ЕВГЕНЬЕВИЧ. Товарищ майор, скажите тост, а то народ заскучал.

РАХИЛЬ. Пынчик, скажи тост, чтоб мы были здоровы...

МАКАР ЕВГЕНЬЕВИЧ. Тосты нельзя подсказывать со стороны.

РАХИЛЬ. Мы не со стороны. Он майор, но для нас он Пынчик. Это наш двоюродный брат из местечка Чуднов. Ой, боже мой, там всех его родных убили, а он был на фронт и остался живой. Ты помнишь тетю Элька, Пынчик?

ПЫНЧИК. А что же, я не помню тетю Эльку?.. Колхозница, передовик.

РАХИЛЬ. Ой, какая она была колхозница... Чуть что, она председателю колхоза кричала: «Ты мэне з Эльки не скинешь...» Она только по-украински говорила и по-еврейски. По-русски она говорить не умела... Вот Злота ее хорошо помнит... Злота, чего ты там на кухне сидишь? (К Рузе.) Рузичка, чего ты молчишь?

БРОНЯ МИХАЙЛОВНА. Она показывает свою скромность.

ГРИГОРИЙ ХАИМОВИЧ. Молчаливая жена — это клад. (К Миле.) Мой сын, тебе повезло.

МИЛЯ. Мне всегда везет... Знаете анекдот?.. «Арон, ты играешь на тромбон?» — «Я нет, но мой брат да...» — «Что да?» — «Тоже не играет». (Смеется.)

ДУНЯ. Люблю одесситов.

МАКАР ЕВГЕНЬЕВИЧ (запевает, все подхватывают, кроме Сумера). «Если на празднике с нами встре-

чается несколько старых друзей, все, что нам дорого, припоминается, песня звучит веселей».

Рахиль (*у двери, тихо*). Злота, куда ты несешь котлеты? Ведь есть на столе.

Злота. Это твои котлеты, а это мои котлеты.

Рахиль. Вэй з мир... Ведь стыдно перед людьми... Болячка на тебя, ведь перед людьми стыдно.

Пынчик (*поет*). «Встанем, товарищи, выпьем за Сталина, за богатырский народ, выпьем за армию нашу могучую, выпьем за доблестный флот...»

Рахиль. Я совсем забыла одеть свои медали... В прошлый месяц меня вызвали в военкомат и вручили две медали: «За победу над Германией» и «За доблестный труд». (*Достает из ящика медали.*) Всю войну я работала ыв пехотном училище. Я мыла на кухне такие котлы. Каждый котел как гора. Но зато мои дети имели лишний кусок каши.

Люся. Мама, дай я тебе одену медали. (*Цепляет медали на платье Рахили, смеется, целует Рахиль.*)

Рахиль (*смеется*). Ну, Сумер, что ты скажешь? Ну, Пынчик... Ну, дети... Вы думаете, что ваша мама какой-нибудь елд... Какой-нибудь дурак... Ну, Сумер, что ты скажешь?

Сумер. Я скажу, что я уже забыл, ты никогда не будешь знать.

Рахиль. Что мне надо, я знаю, а что мне не надо, я не хочу знать. Правильно я говорю, Пынчик? Ты ж майор, был на фронт, живешь ыв Риге...

Пынчик (*с красным от спирта лицом поет*). «Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто погибал на

снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, в горло
вгрызаясь врагу...»

З л о т а (*ставит перед Вилей котлеты*). Кушай, Ви-
ля... И вот, пей ситро.

В и л я. Не хочу.

Р а х и л ь (*Злоте, тихо*). Хорошо он тебе сказал, я до-
вольна. (*Сумеру*.) Она ему дает котлеты, он ей гово-
рит: не хочу...

В и л я (*тихо*). Заткнись.

Р а х и л ь. Чтоб тебе рот вывернуло.

М и л я (*Рахили*). Теща, может, вы к нам подойдете...
А то вы где-то ходите... Сядьте рядом со мной и Ру-
зичкой...

П ы н ч и к (*встает*). Товарищи! Уже месяц, как пер-
вый послевоенный сорок шестой год вступил на нашу
советскую землю. И так радостно, что сейчас именно
создается счастливая послевоенная семья. За это мы
воевали, за это, Рузя, погиб твой отец, за это я имею
пять ранений... Рузя и Миля, за ваше здоровье!

М а к а р Е в г е н ь е в и ч. Горько!

Миля и Рузя целуются.

Р а х и л ь. Ой, взй з мир. (*Плачет.*)

Д у н я. Ничего, материнские слезы святые.

Р а х и л ь (*сквозь слезы*). Ой, Дуня, мне так тяжело на
сердце. Если б ее отец дожил... Мне так тяжело...

Д у н я. Ничего, тяжело, да приятно... Своя ноша —
дитя...

М а к а р Е в г е н ь е в и ч. Горько!

Миля и Рузя целуются.

В и л я (*исподтишка*). Борька!

Миля и Рузя целуются.

Борька!

Миля и Рузя целуются.

Р а х и л ь (*тихо*). Болячка на тебя... Мы шрайт «горько!», а он кричит «Борька»...

В и л я (*смеется*). Я Борьку Макзаника зову... Борька!

Миля и Рузя целуются. Люся что-то говорит на ухо Рахили.

Р а х и л ь. Сейчас моя младшая дочка Люся, чтоб мне было за ее кости, устроит концерт.

Л ю с я (*поет*). Эх, чиш, чиш, чиш, ну-ка, Люся, начинай... «Над странною вьются флаги, украшают дали, нам зажиточную жизнь дал товарищ Сталин...»

Р а х и л ь (*аплодирует*). Мне за тебя, как она хорошо поет.

З и н а. А мама цветет. Ничего, хорошая невеста растет. Двери от женихов не будут закрываться.

Д у н я. Хорошая у тебя тюлька, Рахиль Абрамовна. И спирт хороший.

Р а х и л ь. У меня все есть, я умею угостить. Я когда работала в столовой НКВД, так начальник НКВД, товарищ Сниткин, очень любил, когда я накрывала на стол. Я ставила всегда много тарелок. Пусть на тарелке дуля была, но много тарелок. (*Смеется*.) Вот здесь за стеной живут некие Бронфенмахеры, так прошлым летом они хотели пробить на мою кухню стенку и хо-

дить через меня с помойными ведрами... Но я им дала помойные ведра...

Р у з я. Ой, мама, к чему ты это сейчас говоришь?..

Р а х и л ь. Я знаю к чему, моя доченька. Ты только теперь выходишь замуж, а я знаю, почем фунт лиха.

М и л я (Рахили). Действительно, мама, непонятно, что вы имеете в виду? При чем тут Бронфенмахер? Мало ли плохих людей на свете, так при чем тут мы, правда, Рузя? (Смеется.)

Р а х и л ь. Я в том смысле, что, когда мы были молодые, у нас была компания. Был этот Бронфенмахер и Капцан, Рузичкин отец, работник типографии, и Велвел Файнгелерент, и Зюня Фарштейндикер... Я всех помню. Так эта Беба меня так ревновала к Бронфенмахеру (смеется), а теперь она говорит: эйжа, но твой муж убит. (Плачет.)

Р у з я (сердито). Мама, перестань.

М и л я. Действительно. На свадьбе полагается рассказывать анекдоты, а не вспоминать неприятности.

З и н а. Сейчас я вам расскажу анекдот про мой муж Сумер. Когда он идет со мной в кино, он всегда спит. Потом на экране выстрелили, он проснулся... Сумер, про что картина? Он говорит: «Мы гейт арайн, мы шлуфцех ойс, мы тит а шис, мы гейт аройс». (Смеется.)

М и л я (смеется). Вы поняли, Макар Евгеньевич? Про что картина? Заходят, выспятся. Когда выстрелят, тогда выходят...

С у м е р. А я вам сейчас про моя жена Зина спою еврейскую песню... «От ци гехопт ды олте шкробес, ын ыз авек цым тотен аф дым шобес... От а ид а вабеле,

отер гройсе цурес, аз зи ыз ашинкерын, тейг зи аф капурес...»

М и л я (смеется). Вы поняли, Макар Евгеньевич? «Она схватила старые туфли и побежала к отцу своему на субботу», и припев: «Имеет еврей женушку, так имеет он большое горе, когда она неряха, она годится только, чтоб ее выбросить...» Вернее, чтоб принести ее в жертву... Ну, тут непереводаимо... В общем, она никуда не годится. Я правильно перевожу, дядя Сумер?

С у м е р (смеется). Правильно, правильно.

М а к а р Е в г е н ь е в и ч. А вы эту еврейскую песню знаете: «Ой, разменяйте вы мне сорок миллионов и дайте мне билетик на Бердичев». (Смеется.) Я ведь среди евреев вырос.

Г р и г о р и й Х а и м о в и ч (поет и стучит вилкой по металлической тарелке с блинами). «Их бын гефурен кын Одесс, лечын ды мазолис. Чай пила, закусила тейглех мыт фасолис...»

М и л я (смеется). Вы поняли, что мой папа поет, Макар Евгеньевич? «Я поехал в Одессу лечить свои мозоли, чай пила, закусила галушки с фасолью».

Д у н я. Люблю одесских евреев. (Хохочет.)

С у м е р. Злота, дай мне твою котлету... Я котлету Рухеле кушать не хочу.

Р а х и л ь (Миле). Ты знаешь, сколько Сумер и Зина уже живут вместе? С двадцать третьего года. А какой у них был сын Изя, золото, а не сын, такой мальчик... Ой, убили на фронт... (Плачет.)

Р у з я (сердито). Мама, перестань... У меня свадьба или похороны? Что ты меня оплакиваешь...

М и л я. Ты, Рузя, тоже не права. Это мы виноваты, что маме на нашей свадьбе грустно. У нас в Одессе всегда на свадьбе рассказывают анекдоты.

С у м е р. В двадцать третьем году я имел свой магазин, как поворачивают на Житомирскую, на углу. Как заходят в переулок, сразу стоит дом. Так было раскулачивание. Так пришли босые шкуцем... Босые жлоба из села, и один говорит другому: это твой размер, Иван, — одевай. А это твой, Степан, — одевай. А это твой, Мыкыта?.. У меня висели в магазине хорошие кожаные куртки, так они все надели на себя.

Р а х и л ь. Ай, Сумер, ты еще не изжил психика капиталиста. Но советская власть ведь дала тебе работу. Ты заведующий в артель. Правильно я говорю, Пынчик? Вот Пынчик при советская власть сделался большой человек, майор. Он живет в Риге. А кем был его отец до революции? Бедняк. Ты, Сумер, помнишь, что в двадцать третьем году содержал магазин от вещи, но ты не помнишь, как наша мама лышулэм, покойная мама поставила сколько раз в печку горшки с водой, потому что варить ей было нечего, и было стыдно перед соседями, что ей нечего варить. Так что ставила горшки с водой, чтобы соседи думали, что у нас что-то варится.

З л о т а. Таки до революции были бедные и были богатые.

С у м е р. А при советской власти разве нет бедных и богатых? (Смеется.) Я одно знаю, что в двадцать третьем году меня хорошо поломали. Пришли босые жлоба...

РАХИЛЬ. Сумер, если ты так будешь говорить, Макаревич подумает, что ты большой контрреволюционер. Что ты враг народа. Тебе надо горе?

СУМЕР. У Макара Евгеньевича отец до революции держал извоз, гужевого транспорт. Что я, не помню?

МАКАР ЕВГЕНЬЕВИЧ (с красным от спирта лицом). После революции я всех лошадей советской власти передал, а сам в Первой Конной служил. Стрелять я не любил, а вот ближний бой я любил... Рубка. (Кричит.) Шашки наголо!

ЗЛОТА. Ой, вэй з мир... Я спугалась...

РАХИЛЬ. Злота, человек же рассказывает, что ж ты кричишь: вэй з мир.

МАКАР ЕВГЕНЬЕВИЧ. А лучше всего атака с казачьими пиками наперевес. Только надо уметь колоть, иначе руку собственная пика поломает. Какпустишь пику вперед и чуть приподнимешь, белополяк летит через тебя...

ЗЛОТА (кушает котлету). Я помню, как в пятнадцатом году в гастроном у Суры Кац на Поперечной улице была забастовка. Рабочие хотели иметь больше зарплату и ходили с плакатами из дикта...

БРОНЯ МИХАЙЛОВНА. Это я тоже помню. Говорили, что Сура Кац спросила, почему они бастуют. Ей говорят: у них нет хлеба. Нет хлеба, так пусть кушают булочки. (Смеется.)

РАХИЛЬ. Что ты говоришь про Суру Кац? Это капиталистка. Но у нас есть двоюродная сестра Быля, так она даже не пришла к Рузичке на свадьбу. Так не надо.

З л о т а. Ай, Рухл, я не люблю, когда так говорят. Она беременная на последнем месяце.

П ы н ч и к. Я был у них, она скоро должна рожать.

З л о т а. Я к ней ничего не имею. И к Йойне я ничего не имею.

Р а х и л ь. Быля думает, что если ее Йойна работает в лагере военнопленных по снабжению, так она большой человек. Чего она к нам придет, мы же не доктора. Она только с докторами имеет дело. Слышите, Макар Евгеньевич, она очень большая у себя. Она дует от себя. А кто она такая? Клейнштывтэлдыке... Она местечковая...

М а к а р Е в г е н ь е в и ч. Да, есть такие люди. Как говорится у нас, у русских: «Не дай Бог с хама пана».

З л о т а. Она очень хорошая. Я Доня с правдой...

Р а х и л ь. Злота, не говори с полным ртом.

З л о т а (Сумеру, тихо). Ну, она рвет от меня куски.

С у м е р. Кушай, Злота, кушай.

М и л я (смеется). Рузичка мне рассказала очень смешной анекдот. Рузя, ну, расскажи всем!

Р у з я. Ай, всем я не могу...

Г р и г о р и й Х а и м о в и ч. Ну, расскажи, Рузя... А после анекдота еще выпьем.

Р у з я. В общем, один еврей пошел в баню...

Д у н я (смеется). Уже смешно...

Р у з я (говорит медленно, глядя перед собой). В общем, он приходит... И ищет свою жилетку... Нет, он сначала помылся, оделся, пришел домой... Его спрашивают: где жилетка? Он говорит: я не знаю. Тогда его спрашивают: где ты был? Он говорит: в бане...

С у м е р. Ну, дым шпыц... Конец...

М и л я. Что вы ее подгоняете, дядя Сумер...

М а к а р Е в г е н ь е в и ч. Это один набожный еврей, раввин, приходит домой и кричит: разве это дом, это бардак... Ой, я вспомнил, где забыл свой зонтик. (Смех.)

Р у з я. Нет, когда еврей этот одевался после бани, он одел жилетку на голое тело. А сверху рубашку. И приходит домой. Его спрашивают: где ты был? В бане...

С у м е р. Ну, дым шпыц... Конец...

З л о т а. Я тоже знаю анекдот... Это еще до войны, когда Молотов встретился с Гитлер, так Молотов запел: «Страна моя...», тогда Гитлер сзади его выставил ему язык и запел: «Москва моя...» (Смеется.)

П ы н ч и к. И все-таки не Гитлер в Москве, а мы в Берлине.

Р а х и л ь. Злата, ты что, пьяная? Ди быст шикер? Что за анекдоты ты рассказываешь?

З л о т а. Ну, я не могу... Она всегда хочет быть надо мной хозяйкой... У нас был сосед, так он очень смешно рассказывал этот анекдот.

М и л я. А кто по национальности был этот сосед?

З л о т а. Что? Он был парикмахер.

Р а х и л ь. Она совсем глухая.

З л о т а. Почему я глухая?

М и л я (смеется). Действительно, почему она глухая? Она очень правильно ответила на мой вопрос. Я ее спросил, какой он национальности, она говорит — парикмахер...

Р у з я. Я вспомнила... Этот еврей, когда пошел опять в баню, он нашел свою жилетку. Она была одета на голое тело под рубашкой. Но в баню он пошел только через год.

М и л я. Нет, Рузичка, вот я закончу. Один еврей потерял жилетку, а нашел ее только через год... Почему? Потому что он надел ее на голое тело, а через год, когда пошел опять в баню, так он ее нашел.

Г р и г о р и й Х а и м о в и ч. А этот анекдот вы знаете? Хотя это не анекдот, а загадка... Штейт эйнер ун флвйшн ын ун бейнер. Мы титт а кик, ыз ныту кэйнер...

М и л я (смеется). Макар Евгеньевич, вы поняли? Стоит один без мяса и костей, когда посмотрят, так никого нет. Что это? Я вам сейчас задам русскую загадку, так вы поймете еврейскую. Разреши загадку и реши вопрос, что стреляет в пятку, а попадает в нос... (Смеется.) Вы поняли, без мяса и костей, но это чувствуешь носом. (Смеется.)

Л ю с я. Рузя, давай лучше про Хаима и Хайку.

Р а х и л ь (Люсе). Ой, чтоб мне было за тебя, моя сладкая девочка...

Р у з я. Ты начни.

Л ю с я. Хаим и Хайка сидели на дах. И объяснялись в любях. Хаим, ты меня любишь?

Р у з я. Обязательно.

Л ю с я. Хаим, я красивая?

Р у з я. Очаровательно.

Л ю с я. Давай же поженимся.

Ру з я. Сиди и не гавкай, как собака. (Смех, аплодисменты.)

Ра х и л ь. Ой, чтоб то, что должно быть вам на одном пальчике, мне было на всем теле.

З и н а. Ын ды моме квелт... Мама радуется...

З л о т а. Ну, она мама... Слава Богу, что дожили Рузю выдать замуж.

М и л я. Давайте танцевать.

Ра х и л ь. Вот я сейчас включу проигрыватель.

М и л я. Поставьте какой-нибудь вальс.

Ра х и л ь (Рузе, тихо). Рузя, но он тебе нравится?

Ру з я. Ничего паренек...

М и л я. Поставьте «Темная ночь»...

В и л я (поет). «В темную ночь по Бердичеву страшно ходить, потому что разденут тебя до последних штаннишек...»

П ы н ч и к (Виле, строго). Только не надо глупить...

Эта песня помогала нам воевать... Мальчишка...

Ра х и л ь. Ой, Пынчик, что я от него имею. Он мне кричит: заткнись, кричит: дура, кричит: оторвись...

З л о т а. Ай, Рахиль, я не люблю эти разговоры.

Ра х и л ь. Вот так она его всегда защищает.

П ы н ч и к. Я б его отправил в ФЗУ. Пусть научится труду, приобретет специальность токаря или слесаря.

З л о т а (сердито). Пусть ваши дети будут слесари, а Виля еще будет большой человек, большой врач или большой профессор, как его отец. Люди еще лопнут, глядя на него.

Р а х и л ь. Пынчик, ты ж майор, у тебя столько орден-
нов, и ты ничего не можешь сказать... Так что я могу
сказать, если у меня только две медали. *(Смеется.)* Я
у него не имею авторитет.

П ы н ч и к. Если б это был мой сын, я б его научил
труду. Еврей должен трудиться в два раза лучше рус-
ского, тогда его будут уважать.

С у м е р. Почему в два раза лучше, у нас же равно-
правие?

М и л я. Включите, Рахилия Абрамовна, проигрыва-
тель.

Рахиль включает, ставит пластинку. Звучит «Темная ночь»,
Миля и Рузя танцуют. Макар Евгеньевич танцует с Дуней.

Л ю с я *(Виле)*. Пойдем потанцуем.

В и л я. Не хочу.

Р а х и л ь *(тихо)*. Ох, этот шмок... Люсинька, пригласи
Григория Хаимовича. Я надеюсь, Броня Михайлов-
на не будет ревновать. *(Смеется.)*

Г р и г о р и й Х а и м о в и ч. С такой красивой де-
вочкой я танцевал последний раз сорок лет назад.

Люся и Григорий Хаимович танцуют. Григорий Хаимович
спотыкается.

С у м е р *(тихо)*. Он умеет танцевать наравне со
мною.

П ы н ч и к *(Рахили)*. Прошу...

Р а х и л ь. Ой, я уже все забыла. *(Танцуют.)* Ничего...
Что ты думаешь, Пынчик, я всегда была такая... Я ког-
да шла танцевать с Капцаном, так все смотрели. Поче-

му, ты думаешь, Люся так хорошо танцует, чтоб мне было за ее кости? Это папа ее хорошо танцевал. (*Стук в дверь.*) Ой, кто это?

З л о т а. Ой, это, кажется, ко мне заказчица...

Р а х и л ь (*кричит*). Что значит заказчица, что ты, не могла ей назначить на другой день? У Рузички свадьба, где ж ты ей будешь мерить?

З л о т а. Я никому не назначала, но может человек перепутать. (*Стук в дверь сильнее.*) Сейчас я открою, я посмотрю. (*Уходит.*)

Р а х и л ь. Ой, я имею от нее с ее заказчицами отрезанные годы. Когда-нибудь придет фининспектор и сделает меня несчастной. Перепишет всю мебель. (*В передней крик Злоты.*) Ой, что такое, Злота... Вэй з мир...

Рахиль бежит к дверям, но раньше чем она успела подбежать, в дверь входит С е р г е й Б о й к о. Вид его страшен. Несмотря на мороз, он в одних трусах, длинных до колен, на нем нет даже майки. К голой своей груди он прижимает грудного младенца, закутанного в одеяло, и при этом постоянно монотонно кивает головой. Немая сцена.

П ы н ч и к. Это кто такой?

Р а х и л ь. Ах ты, сукин сын... Вот так, как я держу руку, я тебе войду в лицо. Это один пьяница снизу... Ах ты, сукин сын, что ты ко мне пришел? Что тебе от меня надо? Это тут внизу живет Фаня, еврейка, так она замуж за этим пьяниц... Как он ее бьет, кричит ей: жидовка... Ах ты, сукин сын, уйди, чтоб тебе не видать... И ребенок с собой принес... А где Фаня? Во время вой-

ны он ее прятал от немцев, а теперь он ей кричит: жидовка...

Р у з я. Эту Фаню тоже надо гнать... Она к нам приходит, жалуется на него, а потом идет вниз и кричит, что мы жида...

М и л я. Я его сейчас вытащу за шиворот.

М а к а р Е в г е н ь е в и ч. Так у него же шиворота нет, он же голый... Что, Сергей, до чертиков допился? Он, наверно, Фаню пришел искать. Здесь Фани нет, иди домой, Сергей, проспись... Чего ты головой все время киваешь, как контуженый?

Д у н я. Надо забрать у него ребенка, а то уронит. Ах, бесстыжий, в одних трусах по морозу бегать. Чего молчишь? Давай ребенка... Здесь Фани нет...

Сергей, продолжая кивать головой, отдает Дуне ребенка.

С е р г е й (заикаясь). Тетя Дуня, Макар Евгеньевич, Рахиль Абрамовна... Фаня повесилась... Я просыпаюсь, она висит... Я Мишку взял и сюда пошел...

Р а х и л ь (кричит). Ой-ой-ой!

Общий крик и замешательство.

Д у н я. Когда повесилась? Побежали, может, спасти можно?

С е р г е й (кивает все время головой). Нет... Холодная уже... Синяя...

С е р г е й. Зоя у Луши ночевала. Она не знает еще... Ой, она без матери не сможет... (Кивает головой.)

М а к а р Е в г е н ь е в и ч. Побежали быстрее, может, спасем... «Скорую» надо...

С е р г е й (плачет). Нет, синяя уже...

Д у н я. Пойдем, Сергей, пойдем...

Макар Евгеньевич, Сергей и Дуня с ребенком на руках
уходят.

П ы н ч и к. Я пойду, может, помочь надо...

Р а х и л ь. Пынчик, чтоб ты мне был здоров, без тебя
обойдется... Так это должно было случиться в день Ру-
зичкиной свадьбы. (Плачет.)

З л о т а (плачет). Такая хорошая женщина была Фа-
ня, такая молодая, такая красивая. Я ее помню совсем
девочкой. При немцах выжила, а теперь повесилась.
Боже мой, Боже мой, такая хорошая женщина. Она
мне всегда говорила: здрастье, как ваше здоровье, те-
тя Злота?..

Р а х и л ь. Так это должно было случиться на свадьбу
моей Рузи. (С улицы слышны крики и плач.) Ой, Боже
мой, Боже мой, это Зоя плачет. Раньше этот гой кри-
чал Фане: жидовская морда, а теперь он прибежал го-
лый... Чтоб его убило деревом...

З л о т а (плачет). Зачем ты его проклинаешь? Он
гой, но он отец двух детей. Он их теперь должен вос-
питывать. Боже мой, Боже мой, эта Фаня стоит мне
перед глазами.

Р а х и л ь. Ой, майн мозел... Мое счастье... Люся, вы-
ключи пластинка, поломается проигрыватель.

М и л я (Рахили). Успокойтесь, мама, ничего нельзя
поделать... Тем более говорят, что покойник — это к
добру... Значит, мы с Рузичкой будем счастливы...

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

В большой комнате сделаны перестановки. У окна стоит старая швейная машина с ножным приводом, перенесенная из спальни. Здесь же две железные койки, отчего комната стала теснее. Из спальни видна спинка новой никелированной кровати с шишечками. Исчезла тумбочка со стоящим на ней приемником «Рекорд», очевидно перенесенная в спальню. За столом сидят В и л я и Л ю с я и играют шашками в чапаевцев, то есть щелчком по своей шашке стараются вышибить с доски шашку противника. Рядом за столом сидит С у м е р в зимнем пальто, в ушанке и спит, опустив голову на грудь. Тут же сидит Р а х и л ь. Перед зеркалом З л о т а примеряет платье Б ы л е, своей двоюродной сестре, черноволосой женщине лет тридцати пяти.

З л о т а (*поет*). «Тира-ра-рой... Птичечка, пой...» Тут будет встречная складка...

Р а х и л ь. Быля, ты ж меня знаешь, если я говорю, так это сказано. Рузя должна была избавиться от этого одесского вора еще два года назад... Чтоб ему сохла и болела каждая косточка...

З л о т а. Ай, Рухл, перестань проклинять...

Р а х и л ь. Вот, Быля, защитник. Если б не этот защитник, моя дочка давно б от него избавилась.

З л о т а (*сердито*). Это ты хотела, чтобы Рузя вышла замуж, я была против. Я сказала, Рузя должна кончить техникум.

Б ы л я. Злотка, не нервничай, Злотка...

Рахиль. Кончат техникум... Разве это заметно, кончат техникум?..

Злата. Да... Я очень правильная... Я Доня с правдой... Рузе тогда было семнадцать лет, а ты сказала, я не имею откуда ее содержать. *(Плачет.)*

Быля. Злотка, не нервничай, Злотка...

Рахиль. Быля, ты же знаешь, если я сказала, так это сказала. Ты Злоту не слушай. Рузя не хотела учиться, она имела одни двойки. Если б она хотела учиться, я б нашла, откуда ее содержать. Я б ела кусок хлеба с водой. *(Плачет.)*

Быля. Рахилька, что можно сделать, Рахилька?.. Это еще не самое плохое... У людей бывает такое горе... Возьмите ваших соседей, Бронфенмахеров...

Злата. Ой, я не могу выдержать. Когда пришли и сказали, что на них наехала машин и разрезала Беба на кусочки, а Бронфенмахер лежит в больнице, я три дня плакала. *(Плачет.)* Как раз на Первое мая... А уже декабрь...

Рахиль. Ой, вэй з мир, Беба уже восемь месяцев лежит в земле... Я Беба и Бронфенмахера знала с двадцать шестого года...

Злата *(кричит Рахили)*. Это ты их прокляла... Я Доня с правдой...

Рахиль. Ну, Быля, так от нее можно выдержать... Если б моя сестра могла на меня сказать, что я Гитлер, так она бы это сказала... Тут два года назад, как раз на Рузичкиной свадьбе, в недобрый час повесилась Фаня Бойко... Так если б Злата могла сказать, что я ее повесила, она б сказала.

Б ы л я. Да, я слышала, в городе говорили, в городе... Он ее прятал при немцах, не выдал ее, а потом он ее бил и кричал ей: жидовская морда, он ей кричал... Я слышала...

З л о т а. Ой, эта Фаня стоит мне перед глазами... И как этот гой прибежал поздно вечером голый по снегу и плакал...

Р а х и л ь. Вот так Миля должен бегать... Только без моей Рузи. Моя Рузя пусть будет жива и здорова, а Миля должен танцевать перделемешка...

З л о т а. Ах, ну она его ненавидит...

Л ю с я *(смеется)*. Сумер, перестань храпеть.

Р а х и л ь. Это называется, что он пришел в гости к сестрам... Раньше этого не было. Вот так, Быля, он приходит иногда в семь часов утра, иногда вечером, когда у него есть время. Так одетый сядет, выпится у стола и уходит. Сумер, перестань храпеть...

З л о т а *(подходит и трогает Сумера за плечо)*. Сумер, разденься, ляжь на диван. Ты же выйдешь на улицу и простудишься.

С у м е р *(просыпается и кричит сердито)*. Идите вы обе к черным годам... Чего вы меня трогаете...

З л о т а. Ой, вэй з мир...

Р а х и л ь. Вот вы имеете еще одного сумасшедшего.

С у м е р. Если б этот сумасшедший не кормил вас в Средней Азии, вы бы все сдохли с голоду. Я их нашел в чайхана, когда их привезли. Они все сидели закутанные в тряпки, в старые одеяла. *(Смеется.)*

В и л я *(нервно кричит)*. Ты и твоя Зина во время войны жрали булочки и шоколад.

З л о т а. Ша, Виля, ты не кричи...

В и л я (Злоте). Сама заткнись...

Р а х и л ь. Что ты скажешь, Быля... Хорошо, я рада...
(К Виле.) Ты, сморкач, вот так, как я держу руку, так я тебе войду в лицо.

З л о т а. Ша, Рахиль... Чуть что — я тебе дам, я тебе дам...

Р а х и л ь. Ну раз так, пусть он тебе сядет на голову, я ничего не скажу.

Виля разбрасывает шашки и идет на кухню, слышно, как он одевается. Злота идет вслед.

З л о т а. Куда ты идешь, надо ведь ужинать?

В и л я. Не твое дело, куда надо, туда иду. (Выходит.)

Р а х и л ь. Пусть он идет, станет голодным, придет... Это второй Милечка растет... Несчастливая женщина, которая попадет к нему в руки...

З л о т а. Про своих детей так говори. Виля еще будет большой человек. Люди еще лопнут, глядя на него.

Б ы л я. Здесь-таки сумасшедший дом, здесь-таки...

С у м е р. И они еще меня называют сумасшедшим. Я еще плохой. Если б я не кормил их в Средней Азии, они б все подошли с голоду.

Р а х и л ь (Сумеру). Азой... Ты нас кормил? Быля, когда Злота была больная, он не дал ни копейки...

С у м е р. А кто ей купил швейную машинку? (К Злоте.) Кто тебе купил швейную машину?.. Человек должен сам себе зарабатывать...

На улице слышен смех, топот, два голоса, мужской и женский, затаили песню: «Наливайте мне да кружечку чаю, до свидания, да я въезжаю... И-и-и-и, до свидания, да я въезжаю...»

Р а х и л ь (*смотрит в окно*). Это Сергей Бойко со Стаськой... А, реформа на вас... Чтоб из десяти стал один...

На улице Б о й к о поет: «Азохен вэй, сказал еврей, куплю штаны за пять рублей».

Р а х и л ь. Как тебе нравится... Еврей азохен вэй. (*Становится на стул и кричит в форточку.*) Ты Гитлер, Гитлер!

С улицы слышен смех, и С т а с ь к а запела: «Оцем, дроцем, двадцать восемь, от а зекел бейнер...»

З л о т а (*Рахили*). Что ты ему говоришь: Гитлер? Если ты ему скажешь: Гитлер, он тебе скажет: жид.

Р а х и л ь. Ничего. Это ты их боишься, а я их не боюсь... Реформа на них... Тут снизу живет Стаська, полячка, так она говорит по-еврейски... Я не люблю, когда гой говорит по-еврейски.

Б ы л я. Злотка, через три дня на примерку, через три дня?

З л о т а. Через три дня... Пока их нет, переоденься в спальне...

Р а х и л ь. Боже паси... Быля, чтоб ты мне была здорова, лучше на кухне переоденься. Потом Миличка скажет, что мы у него что-то взяли.

З л о т а. С тех пор как они здесь живут, моим заказчицам негде переодеваться.

Б ы л я. А где они теперь?

Р а х и л ь. Они пошли в гости к его родителям. К Броне Михайловне и Григорию Хаимовичу. Дурное извес-

тие на их обоих: и на Броню Михайловну, и на Григория Хаимовича... Плохой сон на них обоих... С тех пор как была свадьба, уже два года назад, они, может, раза три здесь были... Очень хорошо... Как я на него не могу смотреть, так я на их лица не могу смотреть. Я их ненавижу, как паука на стене.

Б ы л я. Уже два года, уже два... Время летит... Моей Мэрочке уже полтора года... Тут как раз Пынчик был из Риги, когда я рожала...

Р а х и л ь. Боже паси, Быля, такого зятя, как Миля.

Б ы л я *(улыбается)*. Ну, пока Мэрочка вырастет, мне чтоб было за ее кости.

Р а х и л ь. Моя Рузя сама виновата. Когда я ее спросила: Рузя, но он тебе нравится, она мне ответила: ничего паренек... На Миля она говорит: ничего паренек... На Миля... Чтоб сейчас, когда он возвращается от своей мамы, пусть поломают обе ноги...

З л о т а. Ах, смотри на эти проклятия... Я была против их свадьба, а теперь я считаю, надо все сделать, чтоб было хорошо. Рузя скоро должна рожать, у ребенка должен быть отец. Мало в нашей семье сирот? *(Плачет.)*

Б ы л я. Злотка, не нервничай, Злотка. *(Уходит на кухню переодеваться. Злота идет за ней, вытирая глаза.)*

Р а х и л ь. Чуть что, она писяет глазами. *(К Сумеру, показывает на Люсю.)* Зато эта у меня тихая сладкая девочка. *(Целует Люсю.)*

С у м е р. Люся — вылитый Капцан из типографии, его не слышно было.

Р а х и л ь. У меня был муж — золото. Так надо было, чтоб его убило на фронт. *(Плачет.)* Если б он был жив, Рузичка никогда б не попала в плохие руки. Он имел бронь, так он сказал: я коммунист, я должен идти на фронт... Ах, Сумер, ты же помнишь, Капцан был хороший, но все годы я, а не он вела дом, я всегда больше зарабатывала. Что он имел — зарплата из типографии. С у м е р. Давай-ка я пойду. У вас здесь кричат...

Р а х и л ь. Сиди, Сумер, ты ж только что зашел. Я хочу с тобой поговорить. *(Понизив голос.)* Я при Быле не хочу говорить, будет знать весь город, она же сплетница.

Б ы л я *(заглядывает)*. До свиданья, Рахиль, до свиданья, Сумер.

Р а х и л ь *(Быле)*. Иди здоровая... Привет Йойне...

Б ы л я. Спасибо. *(Уходит.)*

Р а х и л ь. Как тебе нравится, Сумер, какая она большая у себя. Ходит и дует от себя.

З л о т а. Она всегда любит наговаривать на людей. Быля очень хорошая, я к ней ничего не имею.

С у м е р *(смеется)*. Как раз попасть к Рухеле в рот...

Р а х и л ь. Беспокойся про свой рот, беспокойся... Конечно, мой муж лежит в земле, а она мадам Шнѳвр. Вся крупа, и вся мука, и все жиры, и все, что есть хорошего в лагере военнопленных, так это у них дома. А сейчас, когда лагерь военнопленных ликвидируют, Йойна, говорят, получает назначение на вокзал, начальником ресторана. И буфеты у него будут по всей линии до Казатина. Там уже он будет иметь...

С у м е р *(смеется)*. Рухеле, ты всегда завидовала чужим деньгам.

Р а х и л ь. Боже паси. Я завидовала только чужому счастью. Так с этим Милей, с этим негодяем, меня должно было так поломать.

С у м е р. Мне пора идти. Если ты это мне хотела сказать, так это я уже слышал.

Р а х и л ь. Ах, брат называется. Ни о чем с ним нельзя посоветоваться.

З л о т а. Что-то Вили долго нет, я уже беспокоюсь.

Р а х и л ь. Никуда не денется твое сокровище, не волнуйся. Он еще тебе и мне сегодня даст пару дуль и скажет: дура, заткнись.

З л о т а. Ничего... Он хороший, только он слишком быстрый... Если б его мать и отец были живы, все было б по-другому... Я б жила с ними в Киев. *(Плачет.)*

Р а х и л ь. Злата, дай, чтоб отдохнули от тебя уши... Сумер, я имею от нее отрезанные годы.

С у м е р. Так ты будешь говорить, или я уйду...

Р а х и л ь. Ты помнишь, что я рассказывала тебе про мое несчастье, что залезли в магазин ко мне и украли продукты?

С у м е р. Ну, помню. Так ты же говорила, что уже все в порядке.

Р а х и л ь. Подожди, что я тебе скажу. У меня не может быть беспорядка... Что я, воровка? Если мне надо что-нибудь взять, так они у меня могут знать, что темно в заднице. *(Смеется.)* Перед реформа был как раз партактив по поводу работа с населением во время реформы... Так ты ж понимаешь, что на партактив завезли те еще продукты... Так залезли и взяли водка, колбаса, вино... Сахар не взяли, сукно тоже не взяли...

С у м е р. А воров поймали?

Р а х и л ь. Нет, их пока не поймали... Ничего... Мы закрылись на переучет... Пошел Фрум, ты знаешь Фрума?

С у м е р. А что, я не знаю Фрума? Мы еще были пацаны, так я его знал... Мы с ним писяли в одну ямку. (Смеется.)

З л о т а. Ты и Рахиль — два грубияна.

Р а х и л ь. Все у нее грубияны, только она хорошая.

С у м е р. Ты будешь рассказывать, или я пойду...

Р а х и л ь. Пошел Фрум, чтоб он ходил в последний раз, чтоб на него наехала машина и разрезала на кусочки, пошел Фрум и привел ОБХСС.

С у м е р. Ну он же обязан как заведующий.

Р а х и л ь. Ты слушай дальше. В тот день, когда было воровство, я торговала шестьдесят тысяч рублей. Ты же знаешь товарный учет. Деньги должны равняться товару.

С у м е р. Ну, дым шпыц... Конец.

Р а х и л ь. Когда Фрум, чтоб он ходил на костылях, привел ОБХСС, так мне говорят: сколько денег украли? Я говорю, деньги не взяли... Как вы знаете? Вот они... Я говорю — вот они... Вот деньги... А я взяла в тот вечер деньги домой, и все дети у меня вместе со мной считали деньги... И Люся, и Виля, и Рузя... Вот здесь, за этим столом. Они думали, что деньги украли, а деньги есть.

С у м е р. Старые деньги?

Р а х и л ь. Конечно, старые... Это ж было перед реформой. А я ж не имела права столько торговать пе-

ред реформой. Была инструкция — перед реформой не торговать. Но если секретарь горкома Свиначев, и секретарь райкома, и прокурор, и работники горсовета набирали товар в долг на базе в течение длительного времени, и промтовары, и продукты, так они постарались перед реформой отдать долг старыми деньгами, чтоб не отдавать новыми... Ты меня понимаешь? Ой, Сумер, что я имела... Мильмана арестовали, это да.

С у м е р. Про Мильмана я знаю, он имеет четыре года. Р а х и л ь. Но ко мне они прицепиться не смогли... Они ко мне прицепятся... Чтоб к их заднице чиряки прицепились...

С у м е р. Так ведь хорошо.

Р а х и л ь. Подожди... На прошлой неделе меня вызывают в райком... Ты Комара знаешь, инструктора райкома партии?

С у м е р. Что я, не знаю Комара? Он у нас в артели шил себе пальто, так он заказал из хорошего сукна, а заплатил за третий сорт.

Р а х и л ь. Болячки на него, чтоб он лежал парализованный... Так он меня вызывает и говорит мне: товарищ Капцан, у нас есть сведения, что вы получили из Америки от родственников пять посылок... Я ему говорю, товарищ Комар... Он меня перебивает: я не Комар, а Кóмар, ударение на «о». Я про себя думаю, чтоб тебя уже гром ударил. Это я думаю, а говорю: товарищ Комар, я никаких посылок из Америки не получала. Я там никого не имею. Я только имею коммунистическое сердце... Хорошо я ему сказала?

С у м е р (смеется). Почему нет? Ты хорошо сказала...

РАХИЛЬ. Я говорю, здесь возле базара живет семья Капцан, но ко мне они никакого отношения не имеют, однофамильцы. Это они, наверно, получили посылки, вы проверьте. И что ты думаешь, это действительно так оно и есть. Почта дала в райком неправильные сведения. Фамилию назвала правильно, а имя-отчество перепутала.

Стук в дверь.

ЗЛОТА. Это Виля идет, слава Богу.

РАХИЛЬ. Ша, Злота, не спеши так. Я всегда боюсь, что она упадет.

ЗЛОТА (*возвращается*). Это не Виля, это Бронфенмахер.

РАХИЛЬ (*тихо*). Вот ты имеешь гостя в задницу.

Входит БРОНФЕНМАХЕР на костылях.

БРОНФЕНМАХЕР. Добрый вечер.

РАХИЛЬ. Ой, когда я вижу его на костылях, я не могу жить. Я ж его знаю с двадцать пятого года, я его отца помню, они тогда жили на Малой Юридике. Хороший был еврей, красивый... Бронфенмахер, дай я помогу тебе сесть. (*Помогает ему, тот осторожно садится, ставит рядом костыли.*)

БРОНФЕНМАХЕР. Ничего... Гурнышт... Это оно есть... Азой идыс... Ну так, когда снимут гипс, я буду хромать... Но плохо тому, кто лежит в земле. (*Плачет.*)

РАХИЛЬ. Ой, вэй з мир. (*Плачет.*)

ЗЛОТА. Беба стоит мне перед глазами. (*Плачет.*)

СУМЕР. Так ты на больничном, Бронфенмахер?

БРОНФЕНМАХЕР *(вытирает глаза платком)*. Я совсем ушел из горкомхоза. Человек нужен, пока он здоров.

РАХИЛЬ. У каждого свое горе... Ты хоть знаешь, на тебя и на Беба, пусть земля ей будет пух, наехала машина, а моя Рузя... Ой, Боже мой... Так она должна была попасть в руки этих Тайберов...

БРОНФЕНМАХЕР. Что я, Тайберов не знаю?.. Это одесские воры... Они перед войной переехали в Бердичев, потому что на отца в Одессе готовилось дело.

РАХИЛЬ. Воры хоть должны иметь деньги... Мне говорили, что у них много денег... Где же эти деньги? Раньше они работали на Лысой горе в воинской части, теперь их оттуда выгнали... Так Миля пошел фотографом на завод «Прогресс», а сделалась реформа, так их деньги стали вообще, извините за выражение...

БРОНФЕНМАХЕР. Ничего, пусть развяжут чулок, у них еще должны быть золотые пятерки от Николая... Как тебе нравится, Сумер, у Тайберов нету денег? Не смешите меня... Другое дело, что это большие копеечники.

РАХИЛЬ. Ой, если б только копеечники. *(Плачет.)*
Моя дочь не успела...

БРОНФЕНМАХЕР. Ты сама виновата. У меня для Рузи был хороший жених, товарищ моего сына, тоже инженер... Рузя жила бы в Москве.

РАХИЛЬ. Кто же знал, Бронфенмахер, что такое получится?.. Разве человек хочет себе плохо? *(Плачет.)*

БРОНФЕНМАХЕР. Зачем тебе было спешить с замужеством Рузи?

ЗЛОТА. Рузя вышла замуж в семнадцать лет. (Плачет.)

БРОНФЕНМАХЕР (к Рахили). Тебе самой, Рахиль, надо поспешить.

РАХИЛЬ. Мне? Куда мне спешить? Сумасшедший. Я уже свое отспешила. (Смеется.)

БРОНФЕНМАХЕР. Ты слышишь, Сумер, она уже отспешила. Сорок пять — баба ягодка опять.

РАХИЛЬ. Мне всего только сорок два. (Смеется.)

ЛЮСЯ (смеется). Мама невеста, мама невеста...

РАХИЛЬ (смеется). Они мне не позволяют... Дети...

БРОНФЕНМАХЕР. Всю жизнь строить на детях? Надо жить для себя тоже. Вот у меня в Москве сын, так я вижу, как он любит папу, который инвалид и ничего не может ему дать больше.

СУМЕР. А кто тебя обслуживает, Бронфенмахер?

БРОНФЕНМАХЕР. Тут одна женщина заходит, она каждый день едет из Семеновки в Бердичев мыть полы. Покупает то, что мне надо... Валя ее зовут.

РАХИЛЬ. Если она недорого берет, пришли ее ко мне. У меня сил нет мыть полы, а Рузя сейчас беременная, а Злота больная... Если бы был хороший зять, так он бы был хозяин в доме. А это пустое место. И он недоволен. Я устроила свадьбу за свой счет, я им отдала ту комната с мебель, купила новую никелированную кровать, дала радиоприемник, простыни, наволочки. Что у меня было. Так он недоволен. Он хочет, чтобы мы перебрались в маленькая комната, а ему от-

дали большая. *(Сгибает локоть, выставляет его перед собой и ударяет себя ладонью по локтю.)* О, фын дым бейн... Из кости он может у меня иметь... И еще он говорит, что ему здесь скучно... Ему здесь скучно... Если ему здесь скучно, пусть полезет Пайдуцеру в задницу...

С у м е р *(смеется)*. Люся, ты знаешь, кто такой Пайдуцер? Это был знаменитый еврейский музыкант, он всегда играл веселую музыку.

Р а х и л ь *(смеется)*. Пусть полезет Пайдуцеру в задницу. Он хочет у меня большую комнату...

З л о т а. Это не может быть. А где мне работать? А если ко мне приходят заказчицы?

Р а х и л ь. Ша, Злота, ты не кричи... Большую комнату он хочет у меня получить... Хочет, пусть делает губами.

Л ю с я *(открывает и закрывает рот, смеется)*. Мама, я делаю губами.

Р а х и л ь *(смеется, целует Люсю)*. Сладкая моя девочка... Хочет, пусть делает губами. Если я вижу какую-нибудь вкусную еду, но это не мое, я могу только делать губами.

Б р о н ф е н м а х е р *(смеется)*. Рахиль если скажет, так это сказано.

Р а х и л ь. Бронфенмахер, он кричит, что Рузя дает нам его деньги. *(Плачет.)* Чтоб он имел столько денег себе на похороны, сколько он нам дает.

Стук в дверь.

З л о т а. Это Виля. *(Уходит и возвращается с Вилей.)*

Р а х и л ь (плачет). Мои дети остались без отца. (Показывает на Вилю.) Этот парень остался круглый сирота, сын нашей покойной сестры... Так он нам дает...

З л о т а. Виля, будешь ужинать? Я сейчас нагрēju котлеты с квасоля...

Р а х и л ь. Что у нас есть, это для детей... Сумер, помнишь, до революции, когда мама сварила суп из картошки, так у нас был веселый день... Но чужого мы не брали. (Плачет, показывает на Злоту.) Она такая больная...

З л о т а (плачет). Я должна каждая копейка зарабатывать своими пальцами.

Р а х и л ь. Так он нам дает... Чтоб Бог дал ему болячку в лицо... Чтоб Бог дал ему кольку в бока... Чтоб упало дерево и его покалечило... Чтоб наехала машина и разрежала его на кусочки... Я если проклинаяю человека, так это еще то проклятие...

Б р о н ф е н м а х е р (начинает кашлять). Я пойду...

Р а х и л ь. Куда ты спешишь, Бронфенмахер? Дай я тебе помогу подняться.

Б р о н ф е н м а х е р. Ничего, ничего, я сам. (Встает, опираясь на костыли, и выходит.)

З л о т а (всплескивает руками). В моей жизни...

Р а х и л ь. Злота, что ты плещешь в ладони? Я хотела, так я так сказала... Ты думаешь, я не помню, как два года тому назад он хотел носить через моя кухня помой? Как он подбежал и стучал в стенка, чтоб поломать и сделать на моя кухня своя дверь?.. Ты думаешь, я не помню?

С у м е р *(смеется)*. Но он же пришел, чтоб свататься к тебе...

Р а х и л ь *(смеется)*. Мне нужен этот старый инвалид, чтоб он мне навонял в кровати... *(Стук в дверь.)* Ша, вот они уже идут... Чтоб было тихо, чтоб никто не отзывался...

Рахиль идет открывать. Входит М и л я с упрямым крепким бритым затылком. Стрижен под бокс. Р у з я беременная, с большим животом. Оба, ни слова не говоря, проходят через большую комнату к себе и закрывают дверь. Слышно, как они там шепчутся. Рахиль прикладывает палец к губам. Злота ставит перед Вилей тарелку и сама садится к столу со своей тарелкой.

З л о т а *(тихо)*. Виля, хочешь колбасу? *(Берет кусочек колбасы, приставляет к нему нож острой стороной, пальцем упирается на нож сверху и стучит ножом вместе с колбасой по столу.)*

Р а х и л ь *(тихо)*. Ну, я этого еще не видела, Сумер... Злота, что ты делаешь? Чтоб рубить колбасу, как рубят сахар?

З л о т а. Как мне удобно, так я и делаю.

Р а х и л ь. Люся, подвинься, дай им поужинать.

С у м е р. Я пойду.

З л о т а. Сиди, куда ты спешишь? Хочешь колбасу?

Открывается дверь, на пороге появляется М и л я, смотрит, как ужинают Злота и Виля.

М и л я. Я уже вижу, куда денежки мои идут... На кормление тетушки и племянника.

Ру з я (*сердито*). Закрой дверь! (*Подходит, втаскивает Милю за руку и закрывает дверь.*)

Ра х и л ь. Ну, Сумер, ты слышал?

З л о т а. Ша, тихо...

Ра х и л ь. Что значит — тихо... Он нас кормит. Мы всю жизнь сами кормили своих детей... И Люся, и Рузья, и Виля...

М и л я (*резко открывает дверь*). Дядя Сумер, вот вы из их семьи, скажите честно, у меня здесь жизнь? В этой комнатухе?..

Ра х и л ь. Ну, другой у меня нет... Твоя мама богатая, а я бедная... Я вдова...

М и л я. Моя мама не богатая, она просто добрый человек, она гуманный человек... Если мы будем жить у нас, никогда к Рузе не будет такое отношение, как здесь ко мне... Здесь вообще невозможно жить... Тетушка, племянник, крики, скандалы...

Ра х и л ь. Кроме тебя, здесь никто не кричит.

М и л я. Вы слышите, дядя Сумер, кроме меня, здесь никто не кричит?.. Скажите честно, разве здесь у меня жизнь?

С у м е р. Он таки прав.

М и л я (*Рахили*). Вот ваш родной брат со мной согласен.

Ра х и л ь. Что ты говоришь, Сумер? Он прав? Он нас кормит?

С у м е р. Когда я служил при Николае, так один солдат сказал на другого, что тот съел его порцию каши... Тогда унтер велел тому сесть на параша и как скоман-

довал: «Надуйсь!», и тот таки сделал больше, чем от одной порции каши. (Смеется.)

М и л я. Ваши семейные анекдотики мне надоели. (Кричит.) Я вам не мальчишка, который учится в седьмом классе... Я вам не мальчишка!

В и л я. Заткнись!

М и л я (заходит в комнату). Я тебе дам заткнись, сопляк... Я тебе так дам, что месяц лечиться будешь...

Р а х и л ь (загораживает дорогу к Виле). Миля, если ты тронешь сирота, так что у меня есть в руке, я тебе дам по голове.

Р у з я (кричит). Миля, иди сюда!

С у м е р. Дай-ка я уйду. (Встает и быстро уходит.)

М и л я. Видишь, Рузя, даже их родной брат не выдерживает... В общем, так. Я здесь жить больше не могу... Одевайся, пойдем к моим родителям, будем жить там...

Гаснет свет.

Р а х и л ь. Вот как раз электричество потухло. Это знак, что Рузе никуда не надо идти. Она беременная, куда она пойдет! (Выглядывает на улицу.) На всей улице темно. Только в военном доме есть свет. Сволочи, эта электростанция, то она дает свет, то выключает. Злота, где свечи?

З л о т а. На кухне, за печкой.

М и л я. Одевайся, Рузя.

Р а х и л ь (входит с зажженной свечой). Куда она пойдет беременная, в темноту?.. Ты хочешь, иди... Тому, кому тесно, тот уходит...

М и л я (к Рахили). Я не с вами разговариваю.

Р а х и л ь. Я с тобой тоже меньше всего хочу говорить... Рузя, ложись спать, уже поздно.

М и л я. Рузя, так я ухожу...

Р у з я. Иди, иди. *(Кричит.)* Иди!

Миля молча одевается, проходит через большую комнату и в передней сильно хлопает дверью.

Р а х и л ь. А чтоб ему стучало в голове, как он хлопнул дверь... Давайте ложиться спать, света нету, надо спать... А он пусть идет. Но чтоб он туда не дошел и назад не вернулся. Виля, ну-ка положи книгу, у меня нет откуда платить за свечи... Надо спать... Злота, стели... *(Продолжает говорить все время, пока стелется постель.)* Пусть он идет... Ребенка мы сами воспитаем... Когда я спросила на свадьбе: «Рузичка, но он тебе нравится?», она говорит: «Ничего паренек...» На Миличку она говорит: ничего паренек... Почему он не сдох до того дня, как я его узнала?

Р у з я *(из соседней комнаты)*. Мама, замолчи.

Р а х и л ь. Теперь она говорит: замолчи, а тогда она сказала: ничего паренек... Если б она хорошо училась в техникум... Я б ее так рано не выдала замуж... Но она ж была двоечница...

Р у з я *(кричит из соседней комнаты)*. Мама, замолчи, слышишь!

Р а х и л ь. Что ты кричишь? Я тебя боюсь?

З л о т а. Рухл, дай спать. Ты ж сама говорила, что пора спать.

Рахиль. Пора спать... Как будто я могу спать... Ему здесь скучно... Пусть залезет Пайдуцеру в задницу... Он хочет — пусть делает губами...

Рузя (кричит). Мама, замолчи! (Выбегает босиком в рубашке, садится на пол и начинает бить себя кулаками в беременный живот, кричит.) Замолчи, замолчи, замолчи! (Кричит в такт ударам кулаками в живот.)

Рахиль пытается схватить Рузю за руки. Между ними борьба. Люся начинает плакать. Все мечутся в белье по темной комнате.

Рахиль (кричит). Злота, зажги свечу... Свечка на кухне... Ой, она бьет себя кулаками в живот...

Виля. Не надо, Рузя... Я за тебя, я за тебя...

Злота. Ой, мне плохо... (Идет на кухню.)

Рахиль. Рузя, не бей себя. (Слышен звук рвущейся материи.) Ой, она порвала на мне рубашка! Ой, она порвала на мне рубашка! Ой, она порвала на мне рубашка! Ой, она порвала на мне рубашка!

Злота (кричит на кухне). Свечка упала у меня из рук... Ой, пожар, пожар!

Рахиль. Гвалт! Пожар!

Отсвет дрожащего на кухне пламени освещает комнату. Виля хватает с тумбочки какое-то одеяло и бежит с ним на кухню.

Виля. Сейчас я наброшу одеяло на огонь, сейчас потушу... Ой...

На кухне еще большая вспышка огня.

З л о т а (*кричит*). Вата горит! В одеяло была завернута вата... Я не могу жить... Пожар... Гвалт!

Р а х и л ь. Пожар! Сы брент!

Люся плачет. Рузя сидит молча на полу. Сильный стук в дверь.

Подождите открывать, я в порванной рубашке.

На кухне слышна суета и голоса соседей. Рузя быстро уходит к себе и закрывает двери. Появляется Б р о н ф е н м а х е р. Он в кальсонах, валенках, телогрейке. Прыгает на костылях.

Б р о н ф е н м а х е р. Я думал, у вас убийство.

Р а х и л ь (*в пальто поверх белья*). У нас пожар... Мальчик бросил одеяло на огонь, а там была Злотина вата, что ей принесли заказчики...

Б р о н ф е н м а х е р. Разве можно так кричать? Пожар, значит, надо тушить. Вот уже потушили... Вот горелая вата валяется, соберите...

Р а х и л ь (*садится на стул, начинает громко плакать*). Ой, у нас пожар, ой, у нас пожар, ой, у нас пожар...

Л ю с я (*плачет*). Мама, не надо...

Б р о н ф е н м а х е р (*Виля*). Мальчик, дай своей тете воды, чтоб она успокоилась. Уже ночь, люди должны спать.

Виля приносит воду, Рахиль пьет и затихает, сидя на стуле. Рядом с ней садится Злота, держась за сердце.

В тишине и полумраке ползет занавес

КАРТИНА ПЯТАЯ

В большой комнате опять перестановка. Очевидно, недавно был ремонт. Под потолком новая люстра, железные койки исчезли, нет старого, продавленного дивана, в углу трехстворчатое зеркало. Рядом со старым буфетом новый зеркальный шкаф, книжный шкаф, на котором по-прежнему старый гипсовый бюст Ленина. Осень. Там, где был огражденный колючей проволокой пустырь, теперь двухэтажное здание в духе архитектуры 50-х годов, закрывающее перспективу, так что за ним виден только верх водонапорной башни в центре города. Р а х и л ь сидит за столом в очках, перед ней счеты, на которых она перебрасывает костяшки и что-то записывает Тут же куча накладных. За столом спит С у м е р в кепке и синем китайском плаще. З л о т а примеряет перед зеркалом платье жене полковника Делева.

З л о т а (поет). «Тира-ра-рой, птичечка, пой...» Поднимите руку... Не тянет?

Д е л е в а. Нет, хорошо.

Р а х и л ь (снимает очки). Товарищ Делева, что вам муж говорит насчет венгерские события? Все-таки он большой человек, Герой Советского Союза, хоть у него нет один глаз.

Д е л е в а. Глаз он под Кенигсбергом потерял.

Р а х и л ь. Ах, чтоб эти контрреволюционеры уже голову потеряли... Я говорю, была такая война, ваш муж потерял глаз, а мой муж потерял жизнь... В нашей семье столько убитых... Так теперь в Венгрии контрреволюционеры должны такое вытворять... И эта Надя, Надя... Там что, женщина — главный враг народа?

Д е л е в а (смеется). Имре Надь... Это мужчина.

Р а х и л ь. Мужчина? Что-то у них все наоборот.

З л о т а. Уже, наверно, будут присылать посылки из Венгрии.

Р а х и л ь. Вот, пожалуйста, она скажет. При чем тут посылки, когда убивают людей?.. Столько честных коммунистов убили, столько чекистов убили...

З л о т а. Когда началась польская война в тридцать девятом году, так присылали посылки. Хорошие польские материалы мне заказчики приносили... Креп-гранат, креп-жоржет... И после этой войны тоже присылали посылки из Германии...

Д е л е в а. Ну, войной это назвать нельзя, но жертвы есть.

Р а х и л ь. Вы говорите, есть много жертв? Я сегодня смотрела газеты, как лежат убитые люди и как нож торчит во рту и рядом разбитый портрет Ленина... Что я, не понимаю? Я с двадцать восьмого года в партии... И, говорят, среди бердичевских военных есть убитые...

Д е л е в а. Полковника Вшиволдина вчера привезли... Завтра хоронить будут.

Р а х и л ь. Я ж его знала, мы виделись на партконференции... Такой человек... Ой, Боже мой, Боже мой... Злота, это ж твоей заказчицы муж...

З л о т а. Вшиволдина? Ой, я не могу жить...

Д е л е в а. Какой-то мальчишка его в Будапеште застрелил.

З л о т а. Ой, я не могу жить...

Д е л е в а. Весь гарнизон по тревоге подняли, как раз кино было... Думали, учебная тревога, а как вы-

дали каски, гранаты, боевые патроны, сразу заску-
чали.

З л о т а. Ой, я не могу жить... Когда стало немного
легче, так опять началась война...

Д е л е в а. Ну, войной это нельзя назвать, скорей
контрреволюционный путч.

Р а х и л ь. Как вы сказали? Пуч? А я вам скажу, в чем
дело... *(Понижает голос.)* Во всем виноват этот куку-
рузник. Сначала ездили по всему миру эти Хрущев и
Булганин, а теперь сидят дома и не знают, что делать.
Сталин никуда не ездил, но у него был порядок. Гово-
рят, культ, культ, а он у меня висит. *(Показывает на
портрет Сталина в кабинете.)* Взяли и демобилизова-
ли старых полковников, что они таки давали польза...

Д е л е в а. Это верно. Наш знакомый полковник Ма-
матюк вполне мог бы еще служить, а его в отставку.

Р а х и л ь. Что я, не знаю Маматюка? Товарищ Мама-
тюк теперь на сахарном заводе работает. Его жена
всегда со мной здороваается...

Сумер начинает храпеть.

З л о т а. Сумер, разденься, ляжь на тахта.

С у м е р *(сквозь сон)*. Ай, чепе мех ныт... Не трогай
меня...

Д е л е в а *(смеется)*. Да, есть такие мужчины, я тоже
знаю таких...

Р а х и л ь. Нет, он раньше таким не был. Ну я вам ска-
жу, уже годы... Я сама устала... Вот должна дома де-
лать отчет.

Д е л е в а. А сколько вам до пенсии?

Р а х и л ь. Я еще должна поработать четыре года... Как раз моя младшая дочка кончит пединститут. Она в Житомире учится. Отличница... Мы хотели поступать в Винницу в мед... Но не приняли... Ладно... Так она будет учительница, а не доктор...

Д е л е в а. Она замужем?

Р а х и л ь. У нее есть один... Он сам из Житомира. Тут у нее было много женихов, но она никого не хотела.

С улицы вбегают двое мальчишек-подростков и начинают со смехом гоняться друг за другом.

Тут у Люси много было, но она никого не хотела. (*К мальчишкам, кричит.*) Марик и Гарик! Это старшей моей дочки Рузички дети.

Д е л е в а. Они близнецы?

Р а х и л ь (*смеется*). Нет, этот старше... Скажи тете, как тебя зовут.

М а р и к (*хохочет*). Звать — разорвать, фамилия — лопнуть.

Р а х и л ь (*смеется*). Это Марик... А тот Гарик... Чтоб мне было за их кости.

З л о т а. Один второго старше на год.

М а р и к (*запрокидывает голову, закрывает глаза и открывает рот*). Я жертва венгерской контрреволюции. (*Хохочет.*)

Д е л е в а. Как тебе не стыдно, над чем ты смеешься... Ты пионер или комсомолец?

Р а х и л ь (*Мариду*). Вот я маме скажу, так она тебя так налупит, что задница красная будет.

М а р и к. А в чем дело?

Г А Р И К. В шляпе.

М А Р И К. А шляпа?

Г А Р И К. На папе...

Р А Х И Л ь (смеется). Ну, бандиты. Что вы скажете, товарищ Делева?

Г А Р И К (толкает Сумера). Сумер, проснись, дай на мороженое.

С У М Е Р (просыпается). Иди к своему папе проси...

Р А Х И Л ь. Вы уже уроки выучили? Выучите, я вам дам... От папы они дождутся... Я дам... Ты же знаешь, что если баба сказала, так это сказано...

Г А Р И К. Я выучил... Часть речи, которая упала с печи и ударилась об пол, называется глагол. (Хохочет.)

Р А Х И Л ь. Я тебе дам такие слова говорить при постороннем человеке.

М А Р И К (Рахили). Заткнись, баба... Закрой пасть...

Р А Х И Л ь. Я тебе дам — заткнись... Вот так, как я держу руку, так я тебе войду в лицо... Собака такая... Я маме скажу...

Марик и Гарик убегают.

Теперешние дети разбалованные, у них все есть. Мои дети если имели кусок хлеба, так они были рады. Вы ж помните, товарищ Делева, как было после войны. Но мои дети никогда мне плохого слова не сказали. Ни Люся, ни Рузя, и здесь жил у нас племянник, что он теперь на Урал... Никогда плохого слова не сказали... Боже паси!

С У М Е Р (проснувшись, улыбается). Это как раз так, она права...

Р а х и л ь. Вот брат мой подтвердит... Ни Рузя, ни Люся, ни Виля никогда мне плохого слова не сказали.

Д е л е в а. Да, теперь дети балованные растут, в роскоши. А дочка с вами живет?

Р а х и л ь. Нет, она живет с родителями мужа, но дети все время здесь. И они тоже часто здесь бывают. Оба они работают на заводе «Прогресс», так им на обед далеко идти домой. Так они варят обед здесь и на перерыв приходят сюда. Что мать не сделает ради своего ребенка? Вот Миля скоро должен прийти сюда обедать, у них на заводе в час начинается перерыв.

Д е л е в а (смотpит на часы). Ой, уже скоро час, мне пора... Когда на примерку, Злота Абрамовна?

З л о т а. Через три дня. (Провожает Делеву, та переодевается в соседней комнате и уходит.)

Р а х и л ь (надевает очки и считает, потом снимает очки, говорит тихо). А как тебе нравится Виля?

С у м е р. Где он сейчас?

Р а х и л ь. Где-то Нижний Тагил. Ай, он никогда человеком не был. Но нельзя сказать, Злота кричит... Да, кончил, так работай, женись... Нет, он бросил работа... По-моему, он вообще не работает, где-то ездит... Ой, Боже мой, что мне про него думать, у меня есть свои дети... Но Злота переживает... Она такая больная, послала ему посылку.

З л о т а (входит из кухни, кричит). Думаешь, я глухая? Сумер, она рвет от меня куски... А ты своим детям не посылаешь, что они устроены и в тепле... Ты Люсе посылаешь каждую неделю, а я Виле тоже пошлю, когда смогу... А Рузе ты не даешь? Ты ей дала ме-

бель, и купила ковер, и кормишь ее детей, а я за ними убираю и варю Рузин обед...

Р а х и л ь. Злата, чтоб ты таки стала немая и глухая, как ты кричишь.

З л о т а (*Рахили*). Чтоб тебе самой рот набок вывернуло, если ты на Вилю плохо говоришь. (*Плачет.*) Люди еще лопнут, когда посмотрят на него... Он будет большой человек.

Р а х и л ь. Да, большой человек он будет... Пусть он хотя бы женился и имел собственную крышу. (*Плачет.*)

З л о т а. Когда он прошлый год приехал такой худой и бледный, как мертвец, я неделю плакала. (*Плачет.*)

Ой, там Рузин суп кипит.

Р а х и л ь (*Злоте*). Сиди, я сама посмотрю... Слышишь, Сумер, мы еще должны варить Миле обед и убирать за ним, за этот подлец... Ему далеко от работы ехать домой, что ты скажешь. Миле далеко, он на диете... Сы тит им вэй дер бух... Ему живот болит... Сейчас я посмотрю суп, и я тебе расскажу про Милю, так ты будешь смеяться. (*Уходит на кухню.*)

З л о т а (*Сумеру тихо*). Она рвет от меня куски... Чтоб я не посылала Виле посылки... Что я ему посылаю? Немного перетопленного сала, коржики... Ему так плохо. (*Плачет.*)

С у м е р. Ай, что ты, Рухеле не знаешь?

Р а х и л ь (*возвращается из кухни*). Слышишь, Сумер, Миля прошлой зимой ехал в Кисловодск лечить живот. Так он там жил в одной комнате с несколькими гоем. Так ночью, чтоб не выходить на холод, он себе имел бутылочку, и он туда писял... Эр от гепышт ин

дым флешеле... (Смеется.) Ты ж понимаешь, Сумер, гоем любят, когда при них писяют в бутылочку... Он думает, что это он здесь садился на ведро, так можно было задохнуться...

З л о т а (смеется). Но он и Рахиль друг друга ненавидят.

Р а х и л ь (смеется). Так когда эти гоем увидели, что он писяет у бутылочку, они взяли его вещи и выбросили их на улицу... Так он быстро приехал назад... Но почему он не попал под паровоз, когда он ехал назад?..

З л о т а. Зачем ты так говоришь? Он отец двух детей...

Р а х и л ь. Отец... Хороший отец... Храбрец большой... Ты знаешь, что он подал заявление, чтоб ехать как доброволец воевать против Израиль... Он же знает, что его не возьмут, так он подал, чтоб заслужить авторитет... Хороший коммунистический доброволец с язвой желудка.

С у м е р. А что, принимают такие заявления? Куда же он подал?

Р а х и л ь. В военкомат, как офицер запас... Ты, Сумер, как будто на небе живешь... Ты что, не читаешь... Ты что, не читаешь газеты, что сейчас делается в Венгрии, какая там контрреволюция?.. Так надо, чтоб евреи тоже выступили... Эти сионисты... Иделе-как... Так был митинг на завод «Прогресс» два дня назад, и молодежь, комсомольцы, коммунисты, начали подавать заявления, чтоб ехать добровольно защищать Египет от сионистов... Это не только в Бердичеве, это по всему Союзу, так Миля тоже подал заявление. Ой, Рузя переживает, она так плачет. А я ей говорю, кто

его возьмет, кому он нужен? Когда была та война, так он был на Урале... Мой муж таки погиб на фронт, а он был на Урале. Я говорю, Рузя, что ты волнуешься про Милю, он никуда не поедет. Туда, где стреляют, он не идет.

З л о т а. Ой, Сумер, ты знал Вшиволдина? Его жена была моя заказчица.

Р а х и л ь (*перевивает*). Так его убили в Венгрии... Сыцицы им гоешер шейгец ын от им дараргет... Подбежал в Будапеште гоешер пацан, его убил... Как тебе это нравится?.. А я слышала, за то, что евреи напали на Египет, арабы в Израиль устроили такие погромы на евреев, что дым шел... А я рада... Гит... Пусть сидят тихо... Иделе-как...

С у м е р. Ой, Рухеле, да быст клиг зейве ман бобесциг... Ты умная, как моей бабушки коза...

Р а х и л ь. Ничего, зорг сех... Беспокойся про мой ум...

Вбегают М а р и к и Г а р и к.

Г а р и к. Сумер, дай три рубля на мороженое.

С у м е р. Я тебе уже давал... Теперь я дам Марику.

Сумер достает мешок килограмма на два, в котором хозяйки держат крупу, и вытаскивает из битком набитого мешка пачки денег, дает три рубля Марику.

Р а х и л ь. Сумер, что это за мешок с деньгами у тебя?

С у м е р (*смеется*). Ты что, не видела мешок с деньгами, ты думаешь, что это мои? Это из артели выручка. Но когда я его беру домой, так я его должен прятать...

Если Зина хочет идти на базар и видит у меня этот мешок, так она сует туда руку и сколько денег может набрать в кулак, столько берет. *(Смеется.)*

МАРИК *(смеется)*. Чем торгуешь?

ГАРИК *(смеется)*. Мокрым рисом.

МАРИК. Чем страдаешь?

ГАРИК. Сифилисом.

РАХИЛЬ. Вот как я держу руку, так я обоим войду в лицо.

МАРИК. На... *(Дает Рахили дулю.)*

РАХИЛЬ. Чтоб тебе рука отсохла...

ЗЛОТА. Смотри на эти проклятия... Баба так может проклинать своих внуков?

РАХИЛЬ. Хорошие внуки... Миличкины дети... Детей надо иметь? Камни надо иметь.

ГАРИК. Баба, закрой пасть...

РАХИЛЬ. Подожди, я маме скажу, она вам морду побьет...

ЗЛОТА. Ой, я не могу видеть, когда Рузя их начинает бить.

РАХИЛЬ. Подожди, я маме скажу.

ГАРИК. Баба, заткнись...

МАРИК. А в чем дело?

ГАРИК. В шляпе.

МАРИК. А шляпа?

ГАРИК. На папе.

МАРИК. А папа?

ГАРИК. На маме.

РАХИЛЬ. Ах ты, сволочь, какие слова говоришь... Я тебе дам — мама на папа...

МАРИК (хохочет). А мама?

ГАРИК (хохочет). На диване.

МАРИК. А диван?

ГАРИК. В магазине.

РАХИЛЬ. Уйди, чтоб тебе не видать.

МАРИК. А магазин?

ГАРИК. В Берлине.

ЗЛОТА (Гарику). Марик, не прыгай в лицо.

ГАРИК (хохочет). Я Гарик, а ты, Злота, заткнись.

МАРИК. А Берлин?

ГАРИК. В Европе.

МАРИК. А Европа?

РАХИЛЬ (встает). Уйди, чтоб тебе не видать...

Гарик и Марик, хохоча, бегают вокруг стола.

ГАРИК (кричит, хохочет). А Европа в жо... в жо...
Желудь зеленый...

МАРИК (поет, бежит вокруг стола). Я сегодня был в садок, соловей мне сел на бок, я хотел его поймать, он удрал к Бениной матери...

РАХИЛЬ. Ну, что ты скажешь, Сумер? (Смеется.)

Одесские воры. Этот младший типичный зейделе...
Это дедушка, Григорий Хаимович... А это Миличка с костями... Это отец... Миличка...

МАРИК. Заткнись!

ГАРИК. Закрой пасть... (Убегает.)

РАХИЛЬ. Ну что ты скажешь, Сумер? Потом Рузя имеет ко мне претензии, что они здесь во дворе учатся от хулиганов. У нас таки жуткий двор. Тут есть Колька Дрыбчик и Витька Лаундя, как тебе нравятся эти име-

на? Так сколько есть тюрем, они уже в них были... А тут внизу есть Стаська, полячка, так она ночует теперь на чердаке... И соседи имеют ко мне претензии, что я ее пускаю на чердак... Как я ее не пущу? Чтоб она мне разбила окна? Вызовите участкового и не пускайте ее сами.

З л о т а. Ой, эта Стаська мне так жалко.

Р а х и л ь. Отц а клоц... Ей жалко... Эта Стаська завербовалась на Донбасс, получила подъемные и уехала. Так в ее комнату поселили другую семью. А теперь она приехала, она удрала оттуда, но комнаты нету. Так она ночует на чердаке. Когда холодно, так она лежит возле труб.

С у м е р. Что мне эта Стаська? Ты лучше про Люсю расскажи. Она таки выходит замуж?

З л о т а. Я скажу... Я Доня с правдой... Рахиль ее держала возле себя, а всех, с кем она ходила, выгоняла.

Р а х и л ь. А что ж, мне нужен второй Миличка?

З л о т а. А теперь Люся поехала учиться в Житомир и сразу там познакомилась с парень.

Р а х и л ь. Его фамилия Лейбензон... Петя Лейбензон. На Октябрьские они уже должны были расписаться. Так Рузя сказала...

З л о т а. Какая Рузя?

Р а х и л ь. То есть Люся... Так Люся сказала, что она не хочет брать фамилию Лейбензон, она хочет быть Капцан. Тогда Петя говорит, если тебе не нравится моя фамилия, так, значит, я тебе тоже не нравлюсь. В общем, они поругались. А теперь они уже опять помирились.

С у м е р. Но он тебе нравится?

Р а х и л ь. Ой, кто может знать. Так ничего парень, но он некрасивый... Большой нос...

З л о т а. Я не люблю, когда так говорят... Он тебе должен нравиться? Он должен нравиться Люсе.

С у м е р. А какая у него специальность?

Р а х и л ь. Он по истории... Кончил во Львов университет... Но пока работает физкультурником по баскетбол... Ты ж понимаешь, а ид... Еврей, так он не может устроиться по истории...

З л о т а (возле окна). Вот Миля уже идет на обед с каким-то товарищ.

С у м е р (встает). Я уйду. Я не хочу его видеть... Я к нему ничего не имею. Он обыкновенный солдат по характеру... Простой солдат. Он должен кушать кашу из котелка, а ты ему варишь куриный суп.

Р а х и л ь. Что ты скажешь, Сумер? Мало того что мы его должны обслуживать, так он еще товарища ведет. Отраву чтоб он ел, чтоб его вырвало кровью...

З л о т а. Ах, Боже мой, Боже мой, что ты его так проклинаешь?.. Он нехороший, но он отец двух детей.

Р а х и л ь. Давай-ка я тоже выйду, мне надо вынести ведро.

З л о т а. Рухл, убери свои бумаги со стола. Мне ведь надо им дать обед. (Надевает передник.)

Р а х и л ь (убирает бумаги и счета). Я б ему дала обедать помои. Чтоб его уже черви ели.

Уходит с Сумером. Злата суетится на кухне, гремит посудой. Входит М и л я. Он несколько постарел, но по-прежнему стрижен под бокс. Молча проходит мимо Злоты, не поздоро-

вавшись, ставит на стол бутылку водки, две банки овощных консервов, колбасу. Злата осторожно переступает вывернутыми от плоскостопия ногами, держа обеими руками полную тарелку супа, ставит этот суп перед Милей.

М и л я (*сердито глядя на Злоту*). Вы мне обед не подавайте. Я сам себе возьму. Мне противно, когда вы мне подаете. У вас всегда пальцы в супе вымазаны.

Хватает тарелку супа и уносит ее назад на кухню. Злата молча подымает руки к голове и торопливо уходит к себе в комнату.

(*Открывает балконную дверь, кричит.*) Толик, сюда... Во двор и на второй этаж по деревянной лестнице... Ну хорошо, я тебя встречу. (*Уходит.*)

Приходит Р а х и л ь, гремя пустым ведром.

Р а х и л ь. Он привел сюда какого-то пьяницу, я его видела во дворе, возле туалета. Я Рузе скажу. Привести в дом пьяницу...

З л о т а. Бог чтоб спас. Ты хочешь крики. Мне Миля сказал: вы мне не подавайте, мне противно, когда вы мне подаете.

Р а х и л ь. Болячка ему в лицо. Я Рузе скажу.

З л о т а. Ты хочешь, чтоб тут было убийство... Я тебя прошу, ша, вот они идут... Давай немного выйдем на балкон, я сейчас одену платок.

Входит М и л я, ведя за плечи выпившего м у ж ч и н у спортивного вида.

М и л я. Толя, ты легко нашел?

Т о л я. Туалет? Запросто. Только он у вас весь в поносе. (*Хохочет.*) Анекдот слышал: один пьяный спрашивает у другого пьяного: почему у тебя журчит, а у меня нет? Тот отвечает: потому что ты писаешь на панель, а я на твою шинель. (*Хохочет. Видит Рахиль и Злоту, которые проходят на балкон.*) Здравсьте, девушки.

Рахиль и Злота проходят мимо.

М и л я (*тихо*). Не обращай внимания... Две обезьяны...

Т о л я. Хороший был митинг на заводе против израильской агрессии... Макзаник хорошо выступил из отдела технической информации.

М и л я. Борис? Это из нашего отдела. Я не знаю, почему над ним смеются, почему говорят, что он сумасшедший. Этот город — одни сплетники. Беркоград.

Т о л я. Беркоград. (*Смеется, разливает водку.*) А приятно, когда еврей все-таки за советскую власть... В защиту Египта. Макзаник хорошо выступил. Я, говорит, советский гражданин, готов плечом к плечу со своим арабским братом... Хорошо... Ну, пошли... (*Чокаются, выпивают.*)

М и л я (*торопливо грызет колбасу*). Над этим Макзаником в городе все время смеются. Сами идиоты, а смеются над хорошим парнем. Кричат ему: Пушкин, Пушкин... Ну и что, если он пишет стихи? У него таки есть неплохие стихи. Вот сегодняшняя многотиражка «Прогрессивец». Смотри карикатуры и

стихи Макзаника к ним... «От священных основ ленинизма рушатся стены капитализма. От пролетариата всего мира мечутся в тисках железных банкиры...» Смотри, молотом по шляпе (*хохочет*), клещами за горло.

Т о л я. Это кабачковая икра?

М и л я. Хорошая икра.

Т о л я. Я раньше за команду житомирского «Динамо» играл, левым крайком. Крепко я по краю тянул. А потом нас вместо черной икры начали кабачковой кормить. Я говорю: какая икра, такая игра. (*Хохочет.*) Выпьем...

Чокаются, выпивают, Толя целует Милю. С балкона в свою комнату проходят Р а х и л ь и З л о т а.

Р а х и л ь (*Злоте, тихо*). А гой, а хозер...

Т о л я. Миша, что она сказала?

М и л я. Не обращай внимания.

Т о л я. Она меня выругала. Что такое гой, я понимаю. Сказать на русского «гой» — все равно что сказать на еврея «жид»... Нехорошо так, мамаша, у нас все нации равные.

М и л я. Не обращай внимания на этих старух, они уже отжили свое.

Р а х и л ь (*из соседней комнаты*). Я еще тебя переживу.

З л о т а. Рухл, ша...

Т о л я (*смеется*). А мне нравится, боевая мамаша... А вот ты мне скажи, что товарищ Дзержинский чекистам советовал?

М и л я. Что? Быть преданным своей родине.

Т о л я. Быть преданным родине... Что это, пионеры или школьники, чтоб им детские советы давать? Товарищ Дзержинский чекистам советовал: берегите нервы... берегите нервы... Я когда за житомирское «Динамо» играл, наш тренер всегда перед игрой нам говорил: что товарищ Дзержинский чекистам советовал? Берегите нервы... Но ты не обижайся, ты молодец, записался добровольцем...

Р а х и л ь (из соседней комнаты). Хороший доброволец... Туда, где стреляют, он не идет...

З л о т а. Рухл, ша...

Т о л я (целует Милю). Молодец...

Р а х и л ь. Ман тухес ин дер мытен... Моя задница посередине...

Т о л я (жует колбасу). И Макзаник хорошо сказал... Плечом к плечу...

М и л я. Стихи он хорошие на митинге прочитал, свои стихи из многотиражки... Здорово он написал о палестинском мальчике, в сердце которого целит сионистский штык... Я, Борис Макзаник, прикрою тебя, мальчик...

Т о л я. Он прикроет... Мы пахали, но плуга не видали, мы стояли на подножке и толкали паровоз... Борис Макзаник прикроет... Русский солдат, вот кто прикроет... Что Суворов говорил? Где олень не пройдет, там русский солдат пройдет. Кто Европу от Гитлера прикрыл? А какая нам благодарность?.. Венгерская контрреволюция голову подняла... Мне друг рассказывал... Подъехали на танке — выходи... Стре-

ляют... Дали раз из пушки — вышли... Мал мала меньше, пацанва... Эх, правильно маршал Жуков говорил: закрасить все страны народной демократии в красный цвет.

М и л я. Ничего. Есть Киевский обком партии, есть Житомирский обком, есть, к примеру, Новосибирский обком... Когда-нибудь еще будет существовать Палестинский обком партии.

Т о л я. Во главе с товарищем Тайбером... Твоя фамилия Тайбер? Миша, ты только не обижайся...

М и л я. Я не обижаюсь... Найдется поумней меня человек в Палестинский обком.

Т о л я. Миша, я тебе честно по-русски сказал: выступил ты правильно, а стихи — дерьмо...

М и л я. Так это ж не мои стихи, это стихи Макзаника Бориса.

Т о л я (*хохочет*). Писать на стенах туалетов, увы, мой друг, немудрено. Среди дерьма мы все поэты, среди поэтов мы дерьмо... (*Хохочет.*) Вот я тебе лучше про Хаз-Булата прочитаю... Или спою... Вот это толковые стихи. (*Начинает петь.*) «Хаз-Булат удалой, бедна сакля твоя...» (*Замолкает, сидит некоторое время молча.*) А дальше как? Ты не знаешь, Миша?

М и л я. Нет...

Т о л я. Как же так, я ведь вчера эту песню весь вечер пел...

М и л я. Толя, ты не расстраивайся, я тебе другую песню спою. (*Начинает петь.*)

Когда немцы на Бердичев наступали,
В Биробиджане был переворот,

И жиды с чемоданами бежали,
И кричали: «За Родину, вперед!»

(Смеется.)

Рахиль (из соседней комнаты). Ды цейн зол дир аройс... Чтоб тебе зубы выскочили...

Злата. Рухл, ша...

Толя. Мамаша опять нас ругает... Может, пойдем?

Миля. Сиди, сиди, не обращай внимания, я тебе сейчас мясо принесу... (Уходит и возвращается с мясом.)

Толя. Свинина? Ничего. Но я больше вареную свинину люблю... Как говорил один знакомый белорус: сварыл. Сало обрээзал и в холодильник.

Миля. Я тоже сало люблю, но мне нельзя.

Толя. Брось, плюнь на докторов. (Поет.) «Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов...»

Миля (подхватывает). «Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров...»

Толя. Чуть приморозит, пойдем на реку. Я тут секцию моржей организую, купанье в ледяной воде. Лучше любого курорта, про все болезни забудешь.

Миля. Да, эти курорты... Я в прошлом году был в Кисловодске, так я оттуда раньше срока убежал.

Рахиль (из соседней комнаты). Конечно... Аз мы пышт ин флешеле, ыз а гитер курорт... Если писяешь в бутылочку, так хороший курорт. (Смеется.)

Злата. Рухл, ша...

Миля. Что-то Рузя задерживается... Рузя должна прийти...

Т о л я. Ладно, пора уже... Мне что-то опять хочется.
(Хохочет).

М и л я. Проводить тебя?

Т о л я. Сам найду... Я тебе только по секрету... (Громко говорит на ухо, почти кричит на ухо.) Скоро Израилю крышка, поставят со всех сторон «катюши»... Понял? Все самолеты, которые им американцы дали, уже сбиты... Там новые летают... И их собьем...

М и л я. Ну ты, Толя, иди. Я тебя сейчас догоню.

Т о л я (встает, шатаясь, идет и поет). «В огонь и дым стальным ударом, грозой зовут тебя недаром». Я брюки хочу купить. Третий рост, шестое место... (Выходит.)

М и л я (поворачивается в сторону соседней комнаты). Что вы все время говорите: гой, гой. Вам же не нравится, когда вас зовут «жид». Что ж вы других зовете «гой»? Он вам правильно сказал: все нации одинаковы. Главное, какой человек.

Р а х и л ь. Что ты меня учишь политику партии ыв национальный вопрос. Я член партии с двадцать восьмого года.

М и л я. Гнать надо таких из партии.

Р а х и л ь. Таких, как ты, надо гнать. У тебя стаж три года, ты еще в яслях. А ну-ка, зайдем в горком к Свинарцу, кого больше уважают? Ты думаешь, если ты выступил сегодня на митинге против сионистов, так ты уже большой человек? Мы, старые коммунисты, еще двадцать пять—тридцать лет назад боролись против сионизм...

З л о т а. Рухл, ша... Я тебя прошу...

Т о л я (с улицы). Миша! Миша! (Поет.) «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня. Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня».

Р а х и л ь. Вот иди, тебя твой пьяница зовет.

М и л я. Это не ваше дело. Вы не стоите мизинца этого человека. Старая карга...

Р а х и л ь. Чтоб ты не дожил до моих лет... Ну, до моих лет тебе десять лет осталось. Ты ведь уже старый...

Т о л я (с улицы, поет). «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная червонцев и рублей. Самая нелепая ошибка — то, что ты по паспорту еврей». (Хохочет. Кричит.) Мишка, давай быстрее...

М и л я (Рахили). Не хочется с вами заводиться. (Быстро уходит, хлопая дверью.)

Р а х и л ь. А чтоб тебе ударило в голове, как ты бросил дверь... Он думает, что это ему сорок седьмой год, когда он бросил Рузя, беременная Мариком... Поэтому Марик такой прибитый... Злота, ты помнишь, как Рузя себя била кулаками в живот? Она Марика прибила в животе...

З л о т а. Я не понимаю, зачем тебе надо спориться? Уже было немного тише...

Р а х и л ь. Тебя я не спрашиваю, это ты его боишься... Она ему дает суп, он ей говорит: вы мне противны. Привел сюда алкоголик, поют здесь...

З л о т а. Как писяют на жесь, так они пели. (Смеется.)

Р а х и л ь. Чтоб им зубы вылезли...

З л о т а (смотрит в окно). Ша, вот они идут назад, зайдем-ка к себе.

Р а х и л ь. Опять мыт дым гой?

З л о т а. Нет, гоя не видно... Только Миля и Рузя...

Входит Р у з я и ведет М и л ю, который держится обеими руками за глаз.

Р у з я. Сволочь этот Толя, ударил Милю в глаз... Сядь. *(Кричит.)* Пусти руки, надо посмотреть, может, кровоизлияние... Надо в поликлинику...

М и л я *(морщится от боли, кричит)*. Лучше намочи быстрее в холодную воду полотенце.

Р у з я *(Рахили)*. Я иду, я вижу: этот Толя, этот алкоголик, лежит на земле, а Миля его поднимает. Зачем он тебе был нужен? Зачем ты его поднимал?

М и л я. Зачем, зачем... Я его поднимал, чтоб он не лежал на сырой земле... Можно быть умным... Раз он со мной пришел, значит, я за него отвечаю... Пусть он будет свиньей...

Р у з я. Пусть бы он сдох там, зачем ты его поднимал? Он его поднимает, а тот не хочет подниматься... Тогда Миля его силой хотел поднять, а он вдруг при мне ударил Милю в глаз... Чтоб ему рука покорчилось... Он его ударил в глаз... Чтоб этому гою рука отсохла...

Р а х и л ь. Ну что же я могу сделать?.. Бывает...

М и л я *(кричит Рузе)*. С кем ты разговариваешь? Кому ты рассказываешь? Почему мы вообще ходим сюда, почему здесь торчат дети? Что у нас, дома нет? Чтоб они больше сюда не смели ходить, в этот хулиганский двор к Дрыбчикам и Лаундям...

Р у з я. Миля, не кричи...

М и л я. Не кричи... Ты намочишь полотенце или я ослепну?..

Рузя уходит на кухню. Вбегает Г а р и к, за ним гонится
М а р и к.

Р у з я (с мокрым полотенцем в руках). Что? Что такое?.. Марик, Марик! (Марик догоняет Гарику и ударяет его. Гарик плачет.)

З л о т а. Ах, Боже мой, я не могу жить...

Р у з я. Ты чего его бьешь? (Ударяет Марика, Марик плачет.)

З л о т а. Боже мой...

Р а х и л ь. Злата, ша...

М а р и к (плачет, Гарику). Я тебя убью!

Г а р и к. Козел... Казлык...

Р у з я (Гарику). Ты чего его дразнишь? (Ударяет Гарику, тот плачет.) Это из-за тебя все дети Марика дразнят. Ты его назвал: козел, и вся улица его зовет: козел.

М а р и к (плачет). Я его сейчас убью!

Р у з я (не пускает Марика к Гарику). Тише, Марик...
Замолчи, Гарик... Вы что, не видите, что папа заболел?
Папа упал, ударился...

М и л я (держит полотенце у глаза). Вот я сейчас обним так дам, что их надо будет водой отливать... Почему вы сюда ходите? У вас своего дома нет? Я вам запрещаю сюда ходить...

Р а х и л ь. Я их не заставляю. Наверное, им здесь больше нравится.

М и л я. Больше нравится... Они здесь окончательно распустились... Ну-ка немедленно домой.

Р а х и л ь. Пусть идут... Тому, кому тесно, тот уходит... Баба с воза, коньям легче...

М и л я. Ты идешь, Рузя? Марик и Гарик, ну-ка домой...

Выходят с детьми.

Р у з я (Рахили). Мама, что ты ехидничаешь? Что ты радуешься чужому горю?

Р а х и л ь. Зачем мне думать про чужое горе, у меня свое есть...

Р у з я. Мама, ты всегда была людоед... (Выходит, сильно хлопнув дверью.)

Р а х и л ь. В голове чтоб тебе стучало, как ты бросила дверь...

З л о т а. Ах, Боже мой, разве так говорят на свою дочку?

Р а х и л ь. Дочка... Хорошая дочка... Когда я ее на свадьбе спросила: ну, Рузя, он тебе нравится? Она ответила: ничего паренек... Ничего паренек... Миля ничего паренек... Угробила свою жизнь и мою жизнь... Я людоед... Пусть я буду людоед. Они ж хотели жить у его мамы, пусть там живут. Мне сейчас меньше всего надо про них думать, мне надо про Люсю думать, она студентка... Да... (Подходит к столу.) Набросали, и убирай за ними... Я людоед... Рузя, наверно, думает, что это сорок седьмой год, когда она порвала на мне рубашку. (Вместе с Злотой убирает грязные тарелки.) Но этот гой стоит миллионы. (Смеется.) Чтоб этому Толе никогда рука не болела за то, что он Миле вошел в лицо... (Убирают объедки, грязную посуду.)

Занавес

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Часть бульвара в центре Бердичева. У входа на бульвар гранитный обелиск и горит «вечный огонь». У «вечного огня» два пионера с учебными автоматами. Вдали крыши домов, шпиль церкви и над всем — водонапорная башня. Через бульвар — лозунг-транспарант: «Привет ветеранам Бердичевской дивизии. 1944—1969 гг.». И второй лозунг: «Да здравствует 9-е мая — День Победы». Теплый солнечный день, на каштанах бульвара свежая майская листва. Бульвар полон пожилыми людьми, бряцающими орденами и медалями, и прочей празднично одетой публикой. Слышна музыка. Среди гуляющих Рахиль и Злата. Рахиль сильно постарела, Злата постарела меньше, выглядит почти так же, как и тринадцать лет назад, но двигается еле-еле, опираясь на руку Рахили.

Рахиль. Ну, Злата, как ты себя чувствуешь?

Злата. Ой, что-то мне кружится голова. Зачем ты меня вытащила? Лучше б я сейчас сидела себе на балкон.

Рахиль. Злата, ты делаешь уже свои номерочки? Ты ведь сама хотела идти...

Злата. Я хотела, но у меня нет здоровья. Дай Бог, чтоб мне конец был хороший... *(Всхлипывает.)* Я раньше так хорошо ходила.

Рахиль. Ша, Злата, люди ведь смотрят... Чтоб ты онемела... Вот она сейчас сделает мне праздник... Ну, сядь на скамейку, давай посидим. Хорошая скамейка. *(Садятся.)* Отсюда мы всех будем видеть.

У обелиска выступает культмассовик.

К у л ь т м а с с о в и к. Товарищи, сейчас наш заводской поэт Борис Макзаник, инженер отдела технической информации, прочтет свои стихи, посвященные Бердичевской дивизии. Рахиль (Злоте). Как тебе нравится, Макзаника назвали: инженер. Какой он инженер, он же машиностроительный техникум кончил.

З л о т а. Я к Макзанику ничего не имею. Он, когда меня видит, всегда говорит: здарсьте, тетя Злота, и всегда про Вилю спрашивает, как он.

М а к з а н и к (читает).

Приказом Сталина ты возвеличена,
Сияет солнце на орденях,
Моя дивизия у стен Бердичева
Себя прославила в грозных боях...

Аплодисменты.

Р а х и л ь. О, вот же его тоте и моме... Йойна Макзаник и Соня Макзаник. Смотрите, как они радуются, что их сын выступает... А ыц ин паровоз... Духота в паровозе.

Проходит низкорослый, лысый м у ж ч и н а с медалями и орденом Красной Звезды и маленькая, подслеповатая
п о ж и л а я ж е н щ и н а.

Смотри, как они радуются, как будто их сын работает в ЦК.

З л о т а. Ты радуешься за своих детей, так и они радуются. Я не люблю, когда говорят...

Р а х и л ь. Здравствуй, Макзаник, здравствуй, Соня. Ну как хорошо ваш сын выступает.

Макзаник. О, Рахиль. Поздравляю с праздником. Главное, чтоб войны не было.

Соня Макзаник. Народ не допустит... Народ не допустит... (Смеется.)

Народ проходит к обелиску.

Рахиль. Народ не допустит... Что ты скажешь? (Всхлипывает.) Но мой муж таки лежит в земле, а этот Макзаник был политруком в госпитале, а теперь ходит по бульвару с медалями... У меня тоже медали. (Показывает себе на грудь, где висят две медали.) Макзаник теперь тоже человек. Кто он такой? Он сторож на заводе «Прогресс». Стоит в проходной.

Злата. Йойна Макзаник имеет образование. До войны, когда я работала в артель, когда начались эти большие налоги и я ушла в артель, так Макзаник у нас читал лекции о международном положении на еврейском языке.

Рахиль. Это я помню. Он был инструктором райкома партии. Но когда он начинал лекцию, он не мог ее закончить. (Смеется.) По-еврейски он читал хорошо, но когда он хотел сказать что-то по-русски, так он не мог. Он хотел сказать про положение Китая и Германии, так он сказал: «Катай Германия, Германия в положении». (Смеется.)

Злата (тоже смеется). Вот идет Йойна и Быля... Йойна Шнеур...

Рахиль. Смотри, какую он одел шляпу. Его шляпа держит меня в Бердичеве. А Быля идет и дует от себя.

Конечно, если ее муж заведует буфетами на железной дороге, то можно быть большой у себя.

З л о т а. Я Былю очень люблю...

Р а х и л ь. Сейчас я их позову, и ты сможешь наговорить на меня.

З л о т а. Я еще такого человека, как ты, не видела.

Подходят Б ы л я и Й о й н а. Он в орденах и медалях.

Й о й н а. С праздником. *(Здоровается с Рахилью и Злотой за руку.)*

Б ы л я. Злотка, ты вышла немного на бульвар, Злотка?.. Слава Богу... Надо немного проветриться...

Р а х и л ь. Она вышла... Это я ее вывела. Так она уже устроила мне концерт, почему я ее вывела. Ой, Быля, я имею от нее отрезанные годы.

З л о т а. Ну, она любит на меня наговаривать. Мне кружится голова.

Р а х и л ь. Ой, что я от нее имею. На прошлой неделе, после майских праздников, когда стало тепло, она мне говорит: я хочу в баню... Гит, ты хочешь, идем... Пока мы раздевались, все было хорошо. Но как только мы разделись и вошли в самую баню, ну, уже где моются, как она села, и все... И ей плохо...

З л о т а *(сердито)*. Это какой-то жид не вир. Да, мне стало плохо... Этот пар, эта духота, эти голые женщины...

Р а х и л ь. А что ж ты хотела? Ты ж пошла в баню. *(Смеется.)*

Б ы л я. В нашей бане здоровому человеку может стать плохо, может стать... А Злотка ведь сердечница...

З л о т а. Я такая больная, еле живу...

Р а х и л ь. В общем, я должна была взять ее на руки, как ребенка, зейве а кынд, и вынести из бани. (Смеется.)

З л о т а. Хороший смех, я могла там кончиться. Я такая больная...

Р а х и л ь. Я тоже больная, и все-таки я хожу и таскаю такие сумки на лестницы... Ой, Быля, с тех пор как я на пенсии, я особенно тяжело работаю.

З л о т а. Кто тебе виноват, что ты едешь каждую неделю в Житомир и таскаешь там сумки с продуктами? Ей нельзя. У нее астма, но что можно сделать, она такая...

Р а х и л ь. А как же... Это ж мои дети... У Люсиньки после родов что-то с желчный пузырь... Ой, горе... Когда она родила Аллу, так ей сказали, что больше рожать нельзя... А Петя хотел еще ребенок, он хотел мальчик, так родилась Эллада... Чтоб мне было за каждую их косточку...

Й о й н а. А сколько младшей?

Р а х и л ь. Ладушке... Ей уже три года, чтоб все, что должно быть плохого у нее, было б мне... Как она поет песня про колокольчик и вот так делает ручками. (Показывает ладонями.) Дилинь-дилинь... Ой, чтоб мне было за нее... А Алла тоже хорошая девочка, учится музыке. Она хочет быть балерина. Ну, Люся тоже красиво танцевала. Это у нее от папы. Ой, папа... Когда наступает День Победы, я всегда плачу. (Плачет.)

Й о й н а. А как зять?

Р а х и л ь (вытирает глаза). Зять ничего, Петя ничего... Он Люсю любит. Он считает, что она самая краси-

вая. Люся в Житомир пользуется большой авторитет. Есть полковник, есть врачи, есть один, что он работает в юстиции, есть подполковники. Все они уважают Люсю. Но Петя всех их ревнует. Он говорит: моя жена самая красивая... Ну, все-таки Люся учительница по математике, чтоб мне было за ее кости...

Б ы л я. Рахилька, а к тебе он хорошо относится, к тебе он?

Р а х и л ь. Ко мне? Ничего... Он только сказал: теща, когда вы у нас жили, у нас ушло много картошка. (Смеется.) Ты ж понимаешь, я оставила там всю свою пенсию...

Б ы л я. А как Рузя?

Р а х и л ь. Ничего. Они живут у его мамы. Отец умер, Григорий Хаимович... Ничего... Умер, так на здоровье... Ребята большие... Марик в армии, Гарик тоже должен быть в армии, но он получил отсрочку по болезни. Ой, сколько мы переживали, когда прошлый год, в август месяц, началась эта война в Чехословакии. Рузя чуть с ума не сошла. Марик ведь в Чехословакии.

Б ы л я. Я знаю. Моя Мэра переписывается с ним. Слава Богу, он работает телефонистом, и в таком месте, где не очень опасно.

Й о й н а. Кто боится пыли, грязи, приходите в роту связи.

З л о т а. Мэра уже большая девочка. Ой, я помню, как ты была беременна. Мэра ведь с Мариком однолетки.

Р а х и л ь. Извините, Марик моложе на год, извините... Ой, когда его послали в Чехословакию, я неделю

не могла спать. А про Рузю я уже не говорю. Мне за нее болит сердце. Ты думаешь, ей там легко жить с его мамой, в этих маленьких комнатках?

З л о т а. Ты знаешь, Быля, к чему она это ведет? Чтоб они назад к нам перебрались... Этого не может быть... Дус кем ныд зан...

Р а х и л ь. Азой... Я тебя буду спрашивать... Это ведь мой ребенок... Я им отдам большую комнату, а мы с Злотой будем в маленькой. Что нам, не хватит? Люся имеет, слава Богу, хорошую квартиру в Житомире, а Рузю я хочу обеспечить.

З л о т а. Ты уж забыла, как вы дрались, когда жили вместе?.. Я Доня с правдой. Когда вы жили вместе, было убийство. Я с ним не спорилась, это ты с ним спорилась.

Р а х и л ь. Он должен лежать парализованный. Я не про него думаю, я про дочь мою думаю. Броня Михайловна ее там съедает.

З л о т а. Это Миля хочет сделать ради Брони Михайловны, ради своей мамы, чтоб две комнаты поменять на одну в центре, против башни. Чтоб они перебрались к нам в большую комнату, а квартиру поменять. Это не может быть. А если ко мне приходят заказчицы?

Р а х и л ь. Ничего, придут заказчицы, так они будут с нами в маленькой комнате... Что ты скажешь, Быля? Рузю мой ребенок, не так ли, Йойна? Что ты скажешь? Й о й н а. Рахиль права. Дочка — это дочка.

Р а х и л ь. Я им всю свою жизнь отдала. Я свою жизнь ради них потеряла. Я после Капцана осталась вдовой в тридцать семь лет.

Й о й н а. Вот это ты напрасно сделала. Кстати, ты знаешь, Исак Бронфенмахер приехал.

Р а х и л ь. Что ты говоришь?

Б ы л я. И как приехал, на своей машине из Москвы... На «Волге»... Вместе с женой. Он ведь там женился, взял жену с большими деньгами.

Р а х и л ь. Ничего... У меня никогда не было больших денег, я всю жизнь работала, чтоб иметь лишнюю копейку для детей.

З л о т а. Сколько ж его жене лет?

Б ы л я. Шестьдесят. А ему шестьдесят пять.

З л о т а. А как ее зовут?

Б ы л я. Вера Эфраимовна.

Р а х и л ь. Она Вера Эфраимовна, а я у себя Рахиль Абрамовна.

Б ы л я. Фамилия ее Овечкис. Очень хорошая женщина. Ей шестьдесят, но выглядит она на сорок пять, красиво одевается, туфли на шпильках, как девушка. И брат с ней приехал, научный работник.

З л о т а. Наш Виля еще когда-нибудь будет научный работник.

Р а х и л ь. О, вот ты имеешь. Кто бы что ни сказал, она с Вилей.

Б ы л я. Как у него?

Р а х и л ь. Ничего... Тяжело... Ой, цурес... Ой, горе...

Б ы л я. Он не женился?

Р а х и л ь. Нет... Ой, горе...

З л о т а (*сердито*). Что за горе?.. Он должен учиться.

Р а х и л ь. До скольких же лет учатся?

Й о й н а. Вечный студент. (*Смеется.*)

Рахиль. Да, вечный студент. Что ты скажешь, Йойна? А? Лишь бы она посылает ему посылки.

Злата. Это не твое дело... Ты своим детям все отдаешь, ты Рузе хочешь отдать большую комнату, и Петины родители построили им с Люся квартиру, а я не могу послать посылку с перетопленным салом? Я не твое посылаю.

Рахиль. Ша, Злата, не кричи... С ней же нельзя начинать... Ой, я от нее не могу выдержать.

Злата. Она хочет быть надо мной хозяйкой. Она хочет меня взять себе под ноги.

Рахиль. Ша, Злата, сегодня же праздник, День Победы. Может, ради праздника мои уши от тебя отдохнут?

Мимо проходит с песней группа молодежи.

Быля. Вот же Мэра пошла, вот же... Мэра, подойди сюда, поздоровайся с Рахилькой и с Злоткой, поздоровайся... Она, наверно, не услышала. Молодежь, им весело.

Рахиль. Пусть им будет весело. Ничего. Мы со Злотой обойдемся без ее «здрасьте».

Злата. Я еще такого человека не видела.

Быля. Рахилька, чтоб ты мне была здорова, вечно ты недовольна, вечно ты...

Рахиль. Чего мне быть довольной, если все ходят с медалями по бульвару, а мой муж лежит в земле где-то под Харьков?

Быля. Только он один лежит?

Рахиль. Мне от этого не легче.

Й о й н а (смотрит на часы). Ну, пойдём, Быля. У нас возле башни встреча с Исаком Бронфенмахером.

Б ы л я. Мы ещё увидимся. (Они идут дальше.)

Р а х и л ь (смотрит им вслед). А если нет, так тоже не страшно.

З л о т а. Боже мой, Боже мой... Как мухи в уборной, так ты шумишь...

Р а х и л ь. Ша, Злота, закрой пасть... Мне нужна эта Быличка... Ходит и дует от себя. А Йойна в шляпе. Если б не его шляпа, я б давно уехала из Бердичева. Его шляпа держит меня в Бердичеве... (Смеется.) Ты ж понимаешь, ее Мэра переписывается с Мариком... Рузе как раз нужна для Марика такая жена, как Мэра...

З л о т а. Что ты смеешься над Мэрой? Она учится в зубо­врачебный институт, она будет зубной врач.

Р а х и л ь. В институте она учится? В Житомирском училище по зубным протезам она учится. Зубной техник. Быля ее устроила, чтоб она имела золото... Хорошо она прошла мимо и даже не поздоровалась... Так мне кисло в заднице... Ты ее видела? Разве это Мэра? Это петух. (Смеется.) Одно горло, а больше ничего ни спереди, ни сзади...

Мимо навеселе проходят в е т е р а н ы.

П е р в ы й в е т е р а н. Самая легкая деталь танка весит шестьдесят четыре килограмма.

В т о р о й в е т е р а н. А ты обмотки носил?

Т р е т ь и й в е т е р а н. На фронте мы раз в пять дней ели... Газы распирают... Просто схватишься за живот и по земле катаешься.

ПЕРВЫЙ ВЕТЕРАН. Из-за живота я раз чуть к немцам не попал. Во время отступления приступ аппендицита. Санитар подбегает: ты ранен? Нет, живот болит. Ах, живот, ну, это ерунда, сам иди. А меня скорчило, идти не могу.

Проходят ветераны, среди которых полковник Маматюк и полковник Делев, без глаза, со Звездой Героя. Рядом с ними жены. Увидав Злоту и Рахиль, Делева поздоровалась.

ЗЛОТА (*кричит*). Мадам Делева, вам завтра можно на примерку.

РАХИЛЬ. Ты уже совсем сумасшедшая. Какая мадам, если она член партии, а ее муж Герой Советского Союза? И что ты кричишь, чтоб все знали про твою работу? Чтоб тебе рот скривило, как ты кричишь.

ЗЛОТА. Ой, ой, я не могу жить...

РАХИЛЬ. Тише, немая и глухая чтоб ты стала. Люди смотрят. Еще схватись за свои косичечки, начни танцевать перделемешке.

Проходят четвертый и пятый ветераны.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВЕТЕРАН. Израиль насыпал стену песку перед окопами. Но наши огненный луч применили...

ПЯТЫЙ ВЕТЕРАН. Я положительно относился к еврейскому вопросу, пока не узнал, как после революции евреи разрушали русские церкви. Каганович руководил. Ворошилов Климентий Ефремович, как уз-

нал, к Сталину кинулся. Сталин Кагановича вызвал, тот ему глаза замазал... Знаешь, они умеют.

Ветераны поют: «Непобедимая и легендарная, в боях познавшая радость побед...»

К у л ь т м а с с о в и к. Товарищи, на этот мотив наш заводской поэт Борис Макзаник сочинил новый текст... Песня называется «Марш Бердичевской дивизии». (Поет.) «Приказом Сталина ты возвеличена, сияет слава на орденах, моя дивизия у стен Бердичева себя прославила в грозных боях».

М и л и ц и о н е р в е д е т К о л ь к у Д р ы б ч и к а.

К о л ь к а (п о е т). Братцы, за що я воював? Тільки спрыгнув я в окопу, навернулы мэнэ...

М и л и ц и о н е р. Я тебе наверну...

К о л ь к а (х о х о ч е т). Три часа без памяти лежав... Я здесь хочу идти...

М и л и ц и о н е р. Пойдешь куда положено.

К о л ь к а (в ы р в а л с я). Здравствуйте, Рахиль Абрамовна, здравствуйте, Злота Абрамовна.

Милиционер хватает его и уводит.

З л о т а. Ой, я так спугалась...

Р а х и л ь. Испугалась, держись спереди... Он поздоровался, что ты испугалась? Даже Колька поздоровался, а Мэра прошла мимо.

Проходит г р у п п а к о м с о м о л ь ц е в в униформе защитного цвета, которые поют: «Когда суровый час войны настанет и нас в атаку партия пошлет...»

П О Л К О В Н И К М А М А Т Ю К (*кричит, покраснев, дергая головой*). Неправильно поют. Надо петь: «Тогда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет...» Почему слова переделали?

Ж Е Н А М А М А Т Ю К А. Идем, Харлампий, идем. (*Уводит его.*)

По бульвару идет Б Р О Н Ф Е Н М А Х Е Р, сильно поседевший. Одет он по-столичному. Рядом с ним полная молодящаяся С Т А Р У Х А с крашеными волосами и м у ж ч и н а средних лет в очках.

Р А Х И Л ь. Злота, вот же Бронфенмахер. А это, наверное, его жена. Смотри, как они одеты, как большие профессора. (*Кричит.*) Бронфенмахер!

З Л О Т А. Ша, что ты так кричишь?

Р А Х И Л ь (*кричит*). Бронфенмахер!

Б Р О Н Ф Е Н М А Х Е Р. Ой, это же Луцкая... (*Подходит, целуется с Рахилью и Злотой.*) Ты, Рахиль, потолстела... А Злота не изменилась... Ты потолстела...

Р А Х И Л ь. Старость.

Б Р О Н Ф Е Н М А Х Е Р. Я тоже так говорил, пока не женился. Познакомься, это моя жена.

В Е Р А Э Ф Р А И М О В Н А. Овечкис Вера Эфраимовна.

Р А Х И Л ь. Луцкая Рахиль Абрамовна. А это моя сестра Злота.

З Л О Т А. Я Злота Абрамовна. (*Смеется.*) Я тоже у себя большая.

Б Р О Н Ф Е Н М А Х Е Р. Молодец, Злота Абрамовна. Вы же старше Рахили на семь лет, а выглядите моложе.

ЗЛОТА (обиженно). Почему я старше? Я еще хочу жить.

БРОНФЕНМАХЕР. Живите до ста лет, я просто помню, что вы девяносто восьмого года, а Рахиль — пятого.

ЗЛОТА (обиженно). Зачем считать чужие годы?

РАХИЛЬ. Вот пожалуйста... Ой, Бронфенмахер, я железная, что я от нее выдерживаю.

ВЕРА ЭФРАИМОВНА. Злота Абрамовна права, если она выглядит молодо, значит, она молодая.

ЗЛОТА. Правильно, я не считаю себя бабушкой. (Смеется.)

БРОНФЕНМАХЕР. Когда человеку хорошо на душе, он всегда молодой. Как вы тут живете? Как дети?

РАХИЛЬ. Дети уже имеют детей, чтоб мне было за их кости. У Рузи двое мальчиков, так это золото, а у Люси двое девочек, так это бриллианты.

БРОНФЕНМАХЕР. А как они живут?

РАХИЛЬ. Замечательно... Рузя в Бердичеве, а Люся в Житомире.

БРОНФЕНМАХЕР. А как ваш брат Сумер? Где он?

РАХИЛЬ (вздыхает). Где Сумер... Сумер в тюрьме...

БРОНФЕНМАХЕР. Что вы говорите?.. И по какой статье?

РАХИЛЬ. Не за воровство. Ты же знаешь, Бронфенмахер, что вором он никогда не был. У нас в семье это не принято. Мы всегда жили бедно, но честно. Когда до революции наша покойная мама сварила суп из картошки, так у нас был веселый день.

З л о т а. Что ты рассказываешь? Что мы были нищими? Какие булки мама пекла.

Р а х и л ь. Булки мама пекла на Пасху. А сколько раз она ставила в печку горшки, налитые водой, чтоб соседи думали, что у нас варится обед, чтоб мне было столько радостных известий... Но ворами мы не были, Боже паси...

Б р о н ф е н м а х е р. За что же все-таки сидит Сумер?

Р а х и л ь. За халатность.

О в е ч к и с. Плохо спрятал. *(Смеется.)*

Р а х и л ь. Зачем вы так говорите, извините, не знаю, кто вы?..

В е р а Э ф р а и м о в н а. Он шутит. Это мой брат.

Б р о н ф е н м а х е р. Извините, совсем забыл познакомиться. Это брат Веры Эфраимовны, научный работник. А это Рахиль Абрамовна и Злота Абрамовна.

О в е ч к и с. Овечкис Авнер Эфраимович.

Р а х и л ь. Товарищ Овечкис, наш брат всегда работал на ответственной работе, он всегда был заведующий, но государственную копейку он никогда не брал.

Б р о н ф е н м а х е р. Как же все-таки получилось?

Р а х и л ь. Зашел один, чтоб он ходил на костылях, и заказал себе в артели у Сумера, чтоб ему уже заказывали гроб, этому гою, заказал костюм... Так ему костюм испортили... Бывает. Так он написал в газету, и была проверка, и Сумеру дали три года... Ему еще три месяца сидеть... В прошлом году он заболел. *(Плачет.)* Еще хорошо, что здесь знакомые, так его на час привезли домой, чтоб никто не знал... С конвойным... Его сначала хотели отправить под Винницу, но, слава

Богу, он тут на сахарном заводе... Ты думаешь, это так просто?

БРОНФЕНМАХЕР. Я понимаю.

РАХИЛЬ (*плачет*). Все деньги, которые были, уже ушли. Мы помогаем чем можем, но у меня самой нету и у нее нет.

ОВЕЧКИС. Не расстраивайтесь, три месяца не такой уж большой срок, тем более здесь, в Бердичеве. Люди сидели в Сибири по семнадцать—двадцать лет в концлагерях... Здесь у вас, в Бердичеве, как я заметил, вообще любят все преувеличивать, здесь все громко... Говорят громко, смеются громко и вообще бердичевские нервы.

РАХИЛЬ. А мне Бердичев нравится. Мы здесь родились.

ЗЛОТА. Зачем ты так говоришь? Мы родились в Уланове, в местечке. Я Доня с правдой.

РАХИЛЬ. Вечно она меня перебьет. Мы родились в Уланове, но нас маленькими детьми привезли в Бердичев.

ОВЕЧКИС. Да, здесь очень любопытно. Я решил, проедусь на праздник с сестрой. Когда говорят: Бердичев, все равно что говорят: еврей... Слышишь, Бердичев, Бердичев, а что такое Бердичев, не знаешь. У Чехова в «Трех сестрах» один из персонажей говорит, что Бальзак венчался в Бердичеве.

ЗЛОТА. Чьи сестры?

РАХИЛЬ. Она совсем глухая.

ЗЛОТА (*обиженно*). Почему я глухая? Она любит на меня наговаривать.

РАХИЛЬ. Товарищ Овечкис говорит, что в книге у Чехова... Что я, Чехова не знаю, это такой писатель...

Когда моя Люся, чтоб мне было за ее кости, окончила восемь классов, так ее премировали книгой Чехова за то, что она отлично училась и хорошо танцевала в самодеятельности. А если б вы знали, товарищ Овечкис, как ее отец танцевал... Так к чему это я говорю?.. У этого Чехова написано про Бердичев, что здесь женился один большой человек...

З л о т а. Я когда-то читала книга про Бердичев. Я раньше очень любила читать, а теперь у меня глаза болят. Так там описано, какие в Бердичеве были погромы. Но зачем мне читать, что, я это не видела, эти погромы стоят у меня перед глазами.

Р а х и л ь. Что ты говоришь, Злота, при чем тут погромы?

О в е ч к и с (смеется). Ничего, ничего, очень интересно. Мне рассказывали, что как-то недавно сюда приезжали французы, чтоб узнать, где венчался Бальзак. Так они зашли в башню в центре города, а это, оказывается, водонапорная башня... В Париже Эйфелева башня, а Бердичеве — водонапорная. (Смеется.) Там сидел водопроводчик, который понятия не имел, кто такой Бальзак. Он думал, что Бальзак — это какой-то бердичевский еврей, к которому приехали родственники. (Смеется.)

Р а х и л ь. Эта башня уже стоит девяносто лет.

О в е ч к и с. Сейчас мы шли мимо дома, где венчался Бальзак. Бывший костел святой Варвары... Возле двери большая вывеска: «Детская спортивная школа», рядом поменьше: «Этот дом посетил Бальзак». Когда он его посетил, по какому поводу — неясно. Создается

впечатление, что Бальзак в детстве посещал Бердичевскую спортивную школу.

БРОНФЕНМАХЕР (*Рахили, тихо*). Клигер ид... Умный еврей...

РАХИЛЬ. Ну, у вас в больших городах все по-другому.

ЗЛОТА. А с Былей и Йойной вы виделись? Они шли вас искать.

БРОНФЕНМАХЕР. Мы, наверно, разминулись. Они нас на обед сегодня пригласили.

ЗЛОТА (*Вере Эфраимовне*). А какие фасоны теперь носят в Москве? Я про свое спрашиваю. (*Смеется.*)

БРОНФЕНМАХЕР (*Рахили, тихо*). Рахиль, я тебе честно скажу, я раньше не знал, что такое жена... Пусть Бебе земля будет пухом, но я не знал, что такое жена. Был молодой и не знал. А теперь, когда я женился на Вере, я понял, что такое жена.

ВЕРА ЭФРАИМОВНА. Ну, мы пойдем.

РАХИЛЬ. Идите здоровые.

БРОНФЕНМАХЕР. Мы еще увидимся. (*Уходит.*)

РАХИЛЬ (*вслед, тихо*). Если нет, так тоже не страшно... Ты думаешь, я забыла, как он хотел пробить в моей стене дверь и носить через меня помои... На обед они идут... Он уже забыл, как ходил на костылях, и его жена и ее брат тоже будут ходить на костылях... Москвичи... (*Смеется.*)

ЗЛОТА. Зачем ты проклинаешь людей?

РАХИЛЬ. Ничего, он над Бердичев смеется, а эта жена Бронфенмахера одела туфли на тонкий каблук и думает, что хув-сим будет ей шестнадцать лет... Как тебе нравится, он раньше не знал, что такое жена... Кава-

лер, хороший кавалер у своей Верочка. Сразу видно, что в молодости эта Верочка была глухая. Мужчина ей говорил: садись, а она ложилась.

З л о т а. Я помню, как до войны носили фасон, который назывался «мужчинам некогда»... «Молния» спереди от верха платья донизу. (*Смеется, потом хватается за сердце.*) Ой-ой-ой...

Р а х и л ь (*испуганно*). Что такое?

З л о т а. Что-то сердце колет.

Р а х и л ь. Злата, я железная, что я от тебя выдерживаю... Идем-ка домой. (*Встают и идут к выходу с бульвара.*)

На бульваре продолжается гулянье, песни, смех.

З л о т а (*подносит ладонь ко лбу*). Это Гарик идет навстречу?

Р а х и л ь. Ой, я не могу выдержать... Гарик опять ходит с Лушиной Тинкой... Если Рузя узнает, она ему побьет морду... (*Кричит.*) Гарик, иди сюда... Гарик...

Г а р и к (*подходит*). Что ты кричишь, баба?

Р а х и л ь. Гарик, ты уже забыл, как тебя мама и папа били? Что ты ходишь с этой шиксой... этой гойкой?.. Ты хочешь горе?..

Г а р и к. Баба, закрой пасть... А с кем чтоб я ходил? С толстой маланкой?

Р а х и л ь. Ах ты, сволочь. На еврейку он говорит: маланка. Так твоя же мама тоже маланка. Вот так, как я держу руку, так я тебе войду в лицо.

Г а р и к. Заткнись, дура. (*Подходит к Тине, берет ее об руку.*) Баба, слышишь? (*Поет.*) «Скажите ей, что я

еврей, что я женюсь, женюсь на ней». (Гарик и Тинка, хохоча, уходят.)

Р а х и л ь (кричит вслед). Гарик, я маме скажу...

З л о т а. Боже мой, Боже мой... Тинка очень вежливая, хорошая девочка... Красивая, кончила медучилище...

Р а х и л ь. Вот вторая сумасшедшая... Пусть она будет красивая, но не для нашего Гарика... Валя, которая ездит к нам из Семеновки мыть полы, говорит, что Луша имела Тинку от немца... Она при оккупации жила с немцем.

З л о т а. Тише, вон Рузя и Миля идут... Чтоб ты не сме-ла им говорить про Гарика.

Р а х и л ь. Боже паси. Что, мне нужен крик. Ой, горе, горе! Где только есть горе, оно цепляется к нашей семье... А Миличка тоже в шляпе. Теперь где кусок, извините за выражение, так оно носит шляпа... Смотри на Милю, его шляпа держит меня в Бердичеве.

М и л я (Рахили). С праздником.

Р а х и л ь. Тебя тоже... Ты в Житомире купил эту шляпу?

М и л я. Глину меси, а шляпу носи. (Смеется.)

Р у з я. Вы Гарика не видели?

Р а х и л ь. Нет, он, наверно, с товарищами.

Р у з я. Если я его увижу с Тинкой, так я ему разобью морду при всех людях.

М и л я. Тише, Рузя, не кричи.

Р у з я. Ты мне брось тише... Отец... Я б на твоём месте давно бы пошла к этой Луше и ей устроила черную жизнь.

Рахиль. При чем тут Луша, Луша мне сама говорила, что это ей не нравится, она не хочет иметь еврейского зятя, тем более что Тинка старше нашего Гарика на пять лет.

Злата. Рузя, ты видела Бронфенмахера?

Рузя. Ай, зачем мне этот Бронфенмахер, мне Гарика найти надо.

Рахиль. Ну где ж я тебе его найду? Что ты имеешь ко мне претензии? Что, это я его сосватала с Тинкой?

Рузя. Ай, мама, с тобой говорить, так надо гороху накушаться... Идем, Миля. *(Уходят.)*

Рахиль. Что ты скажешь, Злата? Горох она хочет кушать... Я тебе скажу, Злата, она хуже Мили... Он не такой плохой, как она его делает плохим... Это та еще Рузичка. Она думает, что я не помню, как в сорок седьмом году она порвала на мне рубашку.

Злата. Ты же хочешь опять с ними жить.

Рахиль. Подожди, я еще не решила... Чуть что, они прыгают мне в лицо... Чтоб из них душа выпрыгнула...

Злата. Боже мой, Боже мой, эти проклятия... *(Они идут по бульвару.)*

Макзаник *(читает у обелиска нараспев, подражая московским поэтам).*

Тонны камня и металла бросив ввысь,
Обелиски, как по команде «смирно!», поднялись.
Они стоят, как символы отваги, как символ
непокорности людей,
Защищавших родину когда-то от армии, в которой
главный был злодей...

БЕРДИЧЕВ

Отстояли! Но какой ценою! Сколько не вернулось
назад!

Именно для них, как по команде «смирно!»,
Обелиски эти и стоят...

Аплодисменты.

К обелиску подходят полковник Маматюк и полковник Делев с женами. Они обнажают головы, смахивают ладонями слезы.

Маматюк (*Делеву*). Здесь лежат похоронены все нации, защищавшие родину... Все нации, кроме жидов...

Рахиль (*Злоте*). Ты слышала, что он сказал?

Злота. Идем домой, Рахиль, что-то мне колет сердце...

Рахиль. Нет, ты слышала, что он сказал, этот гой? Чтоб его гром убил и второго тоже вместе с их женами и детьми.

Злота. Идем домой, он же не тебе это сказал.

Рахиль. Ничего... Мой муж убит, а он будет говорить такие слова... Я ему морду побью...

Злота. Ой, я не могу жить. Она хочет иметь горе... Вот они уже ушли.

Рахиль. Ничего, я пойду за ними... Я не посмотрю, что Делева твоя заказчица, а Делев Герой Советского Союза... Мой муж убит, а он так будет говорить... (*Плачет.*) Ты здесь стой.

Злота. Ой, мне плохо...

Рахиль. Ничего, теперь всем плохо... Я сейчас приду. (*Уходит.*)

Проходят Овечкис, Бронфенмахер, Быля и
Йойна.

О в е ч к и с. Город мне нравится. Много старых красивых домов, как где-нибудь на Западе. Напоминает австрийские или польские города.

Й о й н а. Ну, здесь же была когда-то Литва, а потом Польша.

О в е ч к и с. Да, приятно погулять под каштанами Бердичева. Если б только бердичевские евреи все время не кричали... Сплошные скандалы... Бердичевские нервы... Вот опять скандал, опять кричат...

Б ы л я. Злотка, что ты плачешь, Злотка? Ой, вэй з мир... Что случилось, где Рахилька?

З л о т а (давясь слезами). Она пошла... Я не могу жить... Она пошла спориться с полковник...

Б ы л я. С каким полковником? Что случилось?

З л о т а (плачет). С полковник... Ой, ее же могут арестовать...

Входят полковник Маматюк и полковник Делев с женами. За ними Рахиль.

Ж е н а М а м а т ю к а (Рахили). Что вы ходите за нами, базарная баба?.. Что вы к нам привязались?..

Р а х и л ь. Ваш муж будет говорить, что здесь лежат все нации, погибшие за родину, кроме жидов... Негодяй... Мой муж убит, а он будет так говорить. (Плачет, кричит.) Негодяй. Контрреволюционер...

М а м а т ю к (побагровев, дергая головой). Бы... Жи... Сионистка!

Ж е н а Д е л е в а. Замолчи, Харлампий, пойдём...

Р а х и л ь. Я сионистка?! Сморкач... Я член партии с двадцать восьмого года... Мой муж типографский

рабочий, член партии с тридцатого года... Убит на фронт. Так ты говоришь, что я сионистка?..

З л о т а (плачет). Быля, Йойна, заберите ее... Я вас умоляю...

О в е ч к и с (Йойне). Жуткая сцена... Когда евреи, особенно бердичевские, начинают реагировать на слово «жид», это еще хуже, чем когда это слово говорят... Это так скандально...

Й о й н а. Да зачем она связалась?.. Он же хочет уйти, а она ему не дает.

О в е ч к и с. Оба стоят друг друга.

Р а х и л ь (плачет). Ах ты, Гитлер... Ты думаешь, я тебя боюсь, что ты бросаешь головой...

М а м а т ю к (хрипит, дергает головой). Спекулянтка... Бы... Жи... Я из тебя мясо сделаю...

Р а х и л ь. Ты из меня сделаешь мясо?.. Вот так, как я держу руку, так я войду тебе в лицо...

Ж е н а М а м а т ю к а. Харлампий, уйдем... Я тебя прошу... (К Делеву.) Филипп, помоги его увести, у него рана в голове может воспалиться. (К Рахили.) Ты, базарная скандалистка, мой муж имеет пять ранений за родину...

Р а х и л ь. А мой муж совсем убит за родину... Так твой негодяй будет говорить, что в братской могиле все похоронены, кроме жидов... Он мне будет кричать — сионистка... Чтоб упало дерево и убило вас обоих... Чтоб наехала машина и разрезала вас на кусочки... Ты блядюга...

Б р о н ф е н м а х е р. Да, Рахиль ничуть не изменилась... У нее рот как помойная яма... Уйдемте отсюда, здесь неприятно находиться...

Й О Й Н А. Идем, Быля, идем...

Б Ы Л Я. Но ведь Злота тут... Ой, Злотка, сколько она от этой Рахильки терпит, сколько... Злотка, иди сюда... Злотка...

З Л О Т А *(плачет)*. Куда я пойду, когда здесь моя сестра. *(Подходит к Рахили.)* Рухл, идем домой, мне плохо.

Рахиль, ничего не отвечая, плачет. Полковник в отставке Делев, его жена и жена Маматюка уведут дергающего головой полковника в отставке Маматюка.

Рухл, идем домой, я тебя прошу.

Р А Х И Л Ь. Иди, я тебя не держу. Иди с Былечкой, с этой блядюгой...

З Л О Т А *(хватается за лицо)*. Ой, Боже мой, люди ведь смотрят...

Р А Х И Л Ь. Пусть смотрят, это ты их боишься, я не боюсь. *(Плачет.)* Я сейчас пойду за этим Гитлером, возьму камень и ему разобью голову... Одер ойт, одер тойт... Или кожа, или смерть...

Возвращается полковник Делев, поблескивая Звездой Героя. Подходит к Рахили.

Д Е Л Е В *(Рахили)*. Товарищ Капцан, Маматюк неправильно поступил, я ему сделал внушение. *(Рахиль стоит молча, ничего не отвечая. Делев уходит.)*

З Л О Т А *(тихо)*. Рухл, идем домой... *(Берет ее об руку, и обе сестры медленно идут с бульвара.)*

По бульвару идет группа ветеранов и немзыкально поет: «Моя дивизия у стен Бердичева себя прославила в грозных боях...»

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

В большой комнате тесно от мебели. Старая мебель Рахили зажата новой полированной мебелью Рузи. Появилась тумбочка с телевизором, раскладная диван-тахта, крытая ковром, холодильник. Бюст Ленина по-прежнему стоит на книжном шкафу, но портрета Сталина уже нет. Зимнее утро. М и л я, седой, полуголый, с распаренным потным телом, играя мышцами, в спортивных штанах и тапочках делает зарядку. Из соседней комнаты изредка выглядывают то З л о т а, то Р а х и л ь. Злата смотрит исподтишка, с улыбочкой, а Рахиль смотрит прямо и беззвучно смеется. Сделав приседания, Миля начинает выбрасывать вперед поочередно то левую, то правую руку, сжимая при этом пальцы. После этого выбегает полуголый на кухню. Слышно, как хлопает входная дверь.

Р а х и л ь (хохочет). Ну, так можно жить? Голый он побежал на улицу тереть тело снегом. Может, с Божьей помощью он уже начнет бегать по улицам и бить окна? Может быть, его увезут в Винницу в сумасшедший дом и мы от него избавимся?

З л о т а (продолжая улыбаться). Ах, Рухл, что ты говоришь?.. Ну, он физкультурник...

Р а х и л ь (смеется). Хороший физкультурник... Бегает с гоями купаться на речку в проруби... Физкультурник... И Рузе не стыдно перед городом за такого мужа... Физкультурник. Вот так вот он делает. (Выбрасывает вперед руки и сжимает пальцы, кривит лицо,

надувает щеки.) Вот так вот... Хопт ды флиген... Вот так вот... Ловит мух...

З л о т а. Ша, Рухл, зайди-но сюда... Вот он уже идет назад.

Рахиль заходит в маленькую комнату. Слышно, как хлопнула дверь, и вбегает М и л я с красным, мокрым телом. В руках его комки снега, которыми он трет тело, кричит и поет: «Румба, закройте двери, румба, тушите свет, румба, да поскорее, румба, терпенья нет...»

Р а х и л ь. Злота, не смотри, а то ты простудишься.

З л о т а. Ша, Рухл...

Миля выбежал на балкон и поет там.

Р а х и л ь. Злота, что ты скажешь... А лиделе... Песенка... У него нет терпения...

З л о т а. Перестань, Рухл. Это песня такая.

М и л я вбегает, покосился на дверь в маленькую комнату, но ничего не сказал. Звонок.

Р а х и л ь. Вот я открою. (*Идет и возвращается с Гариком.*) Ну где ты был, Гарик?

Г а р и к. Какое твое дело?

Р а х и л ь. Что мне до тебя за дело... У тебя есть папа и мама... Если они тебе ничего не говорят, так что я буду говорить.

Г а р и к. Баба, закрой пасть.

М и л я (*продолжает делать зарядку*). Гарик, перестань грубить.

Г а р и к. А чего она лезет?

Р а х и л ь. Зачем ты мне нужен, чтоб я лезла? Лучше выйди-ка и раздень в передней пальто и шапку. Чего ты идешь в комнату в пальто?

Г а р и к *(кричит)*. Это не твоя комната, твоя комната та маленькая, иди туда и закройся.

Р а х и л ь. Закройся сам... Ты ж понимаешь, это его квартира.

Г а р и к *(кричит)*. Баба, заткнись!

М и л я. Гарик, я тебе сейчас дам по губам. *(К Рахили.)* А вы тоже не вмешивайтесь, вы же видите, в каком он состоянии.

З л о т а. Рухл, я тебя прошу, иди сюда...

Р а х и л ь *(шепчет, произнося громко только вторую половину фразы)*. ...так было бы хорошо... так было бы хорошо... *(Уходит в маленькую комнату.)*

Г а р и к. Ну, как зарядка, батя?

М и л я. Полный порядок. Вот снегом натерся. Я тебя тоже в это дело втяну. Сразу другим человеком станешь. Я ведь помню, как раньше себя чувствовал, мышцы как кисель, желудок больной. Это лучше любого курорта — зарядка, зимнее купание. *(Кряхтя, вытирает тело махровым полотенцем, надевает майку, спортивный свитер.)* Пойди, сынок, раздень пальто, я тебе кое-что подарить хочу.

Гарик уходит на кухню, раздевает пальто и возвращается.

(Садится к столу.) Сядь, сынок, я тебе фотографии хочу подарить зимнего купания. *(Достает пачку фотографий.)* Вот видишь, я в плавках и купальной шапочке на снегу босыми ногами. Вокруг народ в тулу-

пах мерзнет, а мне не холодно. На этой фотографии я тебе делаю такую надпись: «Здоровье на снегу не валяется, его надо укреплять». И расписываюсь. А вот другая. Я по горло в ледяной воде. Пишем: «Не холодная вода страшна, а страшно, когда об этом рассуждают». Понял, сынок? А вот я с Мариком. Это когда Марик был в отпуску. Видишь, он в шинели, в шапке и сгорбился, а я в одних плавках, даже купальную шапочку снял, и ничего, прямо стою... Пишем: «Оттого, что ходишь босой по снегу, насморка не будет! Скорей бывает наоборот». А я вот стою голыми ногами на льду у проруби и держу в руках кусок льдины, как букет. Пишем: «Я люблю физическую культуру, она мне отвечает взаимностью». Подпись... Вот так... Начнешь заниматься физкультурой, все свои глупости забудешь... Сейчас мы с тобой на речку пойдём... Одевайся...

Рахиль *(высовывается из маленькой комнаты)*.
Что значит на речку? Он же еще не завтракал...

Гарик. Баба, закрой пасть...

Рахиль. Сам закрой пасть. Что мне за дело до тебя...

Злата. Рухл, ша...

Миля. Ты голодный, сынок?

Гарик. Нет, батя, я пил чай и ел хлеб с маслом.

Миля. Ну, тогда одевайся потеплей. *(Уходит и возвращается в полушубке и шапке с каким-то приспособлением в руках.)* Это, сынок, для разравнивания сугробов... Похоже на сачок для ловли рыбы, но вместо сетки решетка... Возьми там в передней топор...

Топором рубят майну, ну, прорубь, а сеткой вытаскивают обломки льдин... Понял, сынок, ну, пошли. (Они уходят.)

РАХИЛЬ. Путь идут, что мне за дело... Рузя будет кричать, что он Гарика взял с собой на речку, но при чем здесь я?..

ЗЛОТА. Ша, Рухл, зайдем-ка к себе... Вот они возвращаются, дверь хлопнула.

Входит СУМЕР с кошелкой.

СУМЕР. Что у вас дверь открыта?

РАХИЛЬ. Почему ты заходишь и никогда не здороваешься?

СУМЕР (смеется). Слышишь, Злота? Рухл уже хочет со мной ругаться... Я спрашиваю, почему дверь открыта?

РАХИЛЬ. Физкультурник ушел. Он же ходит на речку и раздевается голый и бегаёт там, как сумасшедший, по снегу. И купается в прорубь. (Смеется.) Пусть он купается, но зачем он ребенка берет с собой, зачем Гарика берет с собой?..

СУМЕР. А что слышно у Гарика?

ЗЛОТА. Ой, несчастье... Он только хочет жениться на Тинке...

РАХИЛЬ. Ой, Сумер, я железная, что я все это выдерживаю. Лучше находиться в тюрьме, где ты был два года, чем это выдерживать.

СУМЕР (смеется). Ты хочешь в тюрьму? У меня там осталось много знакомых. Даже попки, что сидят на вышке с оружием, мои знакомые. У меня там был

швейный цех. Мы шили мешки, спецодежда, все, что надо, мы шили. Баланду я не ел, у меня всегда был лишний кусок балясины.

Р А Х И Л Ь. Сумер, вус эйст балясина?

С У М Е Р (смеется). Воры на колбаса говорят: балясина.

Р А Х И Л Ь (смеется). Сумер, ты ж в тюрьме стал настоящий гонепф... Настоящий вор...

С У М Е Р (смеется). В тюрьме я тоже был заведующим. А ты помнишь, когда во время войны меня мобилизовали на трудовой фронт и послали в Киров на лесоразработки? Так меня там тоже сделали заведующим. Мне выдали хорошие валенки, хороший полушубок, сани с лошадьё, возчика... Я пользовался авторитетом.

З л о т а. Сумер, что ты стоишь в дверях, сядь к столу.
С у м е р (садится к столу прямо в пальто и шапке, рассказывает очень громким, веселым голосом). Слышишь... Так среди мобилизованных был на моем участке один еврей... Мне его стало жалко, думаю, пусть сидит в тепле и топит печки в бараках и конторе. Так этот еврей начал лениться, начал мне грубить и вообще так себя вести, будто я ему что-то должен. Ды гоем приходят с работы, бараки не топлены, в конторе не топлено, грязно... Я ему говорю: чего я тебя взял? Что ты мне Грыцько за кум, а Мыкита за сват... Я вместо тебя возьму гою, так он мне будет благодарен, и я буду уверен, что он меня не подведет. Будет чисто, вытоплено всегда. Я с этим

евреем год мучился, пока меня на другой участок не перевели.

Р а х и л ь. Есть евреи, что они должны харкать кровью. В прошлом году, когда ты, ой, вэй з мир, сидел в тюрьму, так на День Победы мы с Злотой немного вышли на бульвар... Ты же знаешь, в День Победы я всегда плачу, ибо муж мой лежит в земле.

С у м е р. Ну дым шпыц... Конец...

Р а х и л ь. Ничего... Мы выходим, а Злота еле идет... Ты же знаешь, как Злота ходит и какая она хорошая, ты тоже знаешь.

З л о т а. Вечно она на меня наговаривает. Я такая больная. С тех пор я еще ни разу не была на улице. (Плачет.)

Р а х и л ь. Вот она уже плачет. Ничего... Было гуляние... Йойны Макзаника сын вышел читать стихи, так его объявили: инженер Макзаник... Какой он инженер, если он кончил Бердичевский техникум?

С у м е р. Дым шпыц... Конец... Конец рассказывай...

Р а х и л ь. Так приехал Бронфенмахер из Москвы с новой женой.

С у м е р. Красивая жена?

Р а х и л ь. Как моя жизнь, красивая. Ты любишь, когда старуха надевает туфли на тонкий каблук?

З л о т а. Она очень красивая дама... Я не люблю, когда говорят.

Р а х и л ь. Сумер, ты меня слушай... И с ней приехал ее брат, который очень большой из себя... Московский еврей... Так он над Бердичевом смеялся... Я ему

говорю, что вы смеетесь?.. Да, ты же знаешь, что я могу сказать.

С у м е р. О, попасть в твой рот...

Р а х и л ь. Ничего, беспокойся про свой рот...

С у м е р. Так ты расскажешь конец?

Р а х и л ь. Подожди, а что я делаю, к чему я веду? Была вышла с Йойной, который носил такую шляпу, что она меня держит в Бердичеве... И Миля тоже одел шляпу... Ты понимаешь, Миля одел шляпу... И они все идут... А в это время подходит к братской могиле Маматюк... Ты знаешь Маматюка?

С у м е р. Отставник, это он работает на сахарном заводе?

Р а х и л ь. Этот, этот... Так Маматюк подходит и говорит Делеву... Знаешь Делева? Герой Советского Союза...

С у м е р. Знаю, дым шпыц...

Р а х и л ь. Подходит Маматюк и говорит: здесь, в братской могиле, лежат все нации, погибшие за родину, кроме жидов... Так я ему дала жида... Он стал у меня синий... И этот Герой Советского Союза потом подошел и извинился передо мной.

З л о т а. Его жена была моя заказчица. Но с тех пор она у меня больше не шьет.

Р а х и л ь. Вот ты имеешь... Так, по-твоему, я должна была молчать?.. Этот Маматюк мне кричал «сионистка», и какие только ни хочешь плохие слова он мне кричал. А я должна ему молчать?.. Мой муж убит на фронт, а он будет так говорить? (Плачет.) Так все евреи на бульваре говорили, что я скандалистка. Что я

не должна была отзываться, когда этот Гитлер, чтоб он уже лежал и гнил вместе со своей женой, этот Гитлер кричал «сионистка»... Этот, что он приехал из Москвы, и Бронфенмахер, который хотел носить через моя кухня помои, и Быля, которая дует от себя... Чтоб я молчала, когда этот подлец сказал, что здесь закопаны все нации, кроме жидов...

С у м е р (*Рахили*). Ты помнишь, где в восемнадцатом году в Бердичеве было ЧК?

Р а х и л ь. А что ж, я не помню?.. Возле нас, там, где мы жили по Житомирской улице.

З л о т а. Что ты говоришь... По Житомирской улице был Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

С у м е р. Злата лучше тебя помнит... А ЧК было возле еврейского кладбища, из которого потом сделали городской сад имени Шевченко.

Р а х и л ь. Недалеко от базара...

С у м е р. Да, там базар... И там на углу есть дом точно такой, как этот, в котором ты живешь, такой же серый кирпичный и с такими же пузатыми буржуазными балконами.

Р а х и л ь. Что я, не знаю?.. Это доктор Шренцис построил. Он построил городской театр и несколько таких домов.

С у м е р. Так в этом доме было ЧК, а во дворе этого дома были сараи. И тех, кого ЧК расстреливало, оно закапывало в те сараи. Теперь братская могила на бульваре, а тогда была братская могила в сарае... Когда

в город вошли петлюровцы, так стало известно, где ЧК расстреливало.

З л о т а. Что я, не помню?.. Я помню... Йойна первый комсомолец... Раньше он был портной, а потом стал чекист... Жена у него была такая грязная, паршивая... Его в тридцать седьмом году самого убили... И еще был Срулык, что у него на глазу было бельмо... Его все звали Срулык Слепой... Тоже чекист...

Р а х и л ь. Срулык потом стал не только слепой, но и хромой, но пенсию он не имеет. *(Смеется.)*

С у м е р. Вы дадите мне рассказать?.. Когда вошли в город петлюровцы, так они ловили евреев и посылали их выкапывать убитых... Так меня тоже поймали...

З л о т а. Я помню... Ой, как мы все переживали тогда... Мы были маленькие дети. *(Смеется.)*

С у м е р. Когда мы выкапывали, вокруг нас собрались православные бабы и плакали, и кричали, что всех нас, евреев, которые выкапывают, надо убить... А тех, кого ЧК расстреляло, хотели хоронить с хоругвями... Так среди расстрелянных нашли не только православных, но и евреев... Этот Йойна родного брата расстрелял, который имел магазин... Его тоже там нашли. И других... Так петлюровцы не знали, что делать... Перед нами, правда, не извинились, как перед тобой, Рухл, сейчас, но зато нас отпустили... Так что тогда говорили, что в братской могиле закопаны все, кроме евреев, и теперь так говорят. *(Смеется.)*

Звонок телефона.

З л о т а (берет трубку). Что? Кто? Кто? Кто?

Р а х и л ь (подбегает, вырывает трубку). Да, девушка, я заказывала Житомир... Хорошо, я подожду. (К Сумеру.) Слышишь, Сумер, как курица кудахчет, когда за ней бежит петух, так Злота говорит по телефону.

З л о т а. Боже мой, Боже мой, все время она меня перекривляет. Я имею от нее отрезанные годы...

Р а х и л ь. Ша, Злота, я ведь ничего не слышу... Да, девушка, я жду... По талону... Куплен на Бердичевской городской почт... (К Сумеру.) Я звоню каждый день, если я Люсе не позвоню, я не могу. Ой, эти Алла и Лада — я без них не могу.

З л о т а (смеется). А сюда они редко звонят.

Р а х и л ь. Ну что делать... Петя очень бережливый. А мне не жалко. Полпенсии у меня уходит на телефон... Да, девушка... Я слушаю... Это Алла? Люся... У вас один голос... Здравствуй... Как вы живете? Ну, вчера я звонила вчера, а сегодня — это сегодня. Я здесь вам купила мешок картошки, я приеду, так я привезу. Неужели Петя не может подъехать? Где? В командировка? На соревновании в Днепропетровск... Ну, пока он вернется в Житомир, я привезу... Возьму такси и привезу картошка, мне не тяжело, ты же знаешь... Как Лада рука? А Алла? Ой, Боже мой, у Аллы есть чирий... У моих детей никогда не было чирий... Ладочка... Где Ладочка, чтоб мне было за ее кости... Я приеду, я привезу ей киевский торт. Чирий надо лечить, это может стать фурункул... Как Лада кушает? Я ей куплю торт за три рубля... Если она не будет ходить боса по полу, я ей куплю. А кефир вы покупаете? Не надо его искать,

надо идти и купить. Я имею еврейскую привычку не искать. Вэй з мир... Масло ты кушаешь, колбаса? Словом, я сказала, я приеду, я привезу киевский торт и мешок картошки... Рузи нет... Миля на речке, купается в ледяной воде. *(Смеется.)* А с Гариком несчастье. Он только хочет жениться на Тинке. Ой, я не живу... Здесь Сумер... Привет тебе. И от Злоты... Я завтра опять позвоню... Зай гезынт... Будь здорова... *(Кладет трубку, радостно улыбается.)* Ты слышишь, Сумер? Лада сидит и плачет. Алле на именины я купила большой торт, а ей я купила маленький торт... Ой, чтоб мне было за каждую ее косточку... Ой, это сладкая девочка...

С у м е р. Ничего, пусть она только станет чуть постарше, так ты начнешь с ней ругаться. *(Смеется.)*

Р а х и л ь. Ой, я до этого не доживу. *(Вздыхает.)* Но когда я там жила, мой зять сказал мне, что я у них съела много картошки... Это Миля номер два... Я нянчила ребенка, я варила обед, я ходила на базар... Но ничего, надо молчать... Для своих детей я должна быть хорошая, а для всех остальных я не хочу быть хорошая... Пусть про меня говорят что угодно, мне кисло в заднице... Это Злота хочет для всех быть хорошая...

З л о т а *(смеется)*. Вот так она ко мне цепляется.

С у м е р *(смеется)*. Я тоже хотел быть хорошим... Когда я служил при Николае, так унтер выстроил нас, вызвал одного жлоба из строя, а потом он вызвал меня и говорит: Луцкий, дай ему в морду... Я не хотел... Тогда он говорит жлобу: ты дай ему в морду... И что ты дума-

ешь, он дал мне в морду. *(Смеется.)* Но так дал, что я на всю жизнь запомнил.

З л о т а. Ой, что я, не помню, как ты рассказывал?.. Когда началась война, это еще до революции, так ты качался по земле, качался, и так по земле ты домой прикачался с фронт. *(Смеется.)*

Хлопает дверь.

Р а х и л ь. Это Рузя, у нее ключ.

Р у з я *(входит сердитая, испуганная, встревоженная)*. Гарик дома?

Р а х и л ь. Его твой муж забрал с собой на речка...

Р у з я. Я ему дам водить Гарика на речку! Гарика надо раздеть, разуть и посадить дома. Ты знаешь, Тинка приехала из Винницы?..

З л о т а. Ой, я не могу жить...

С у м е р *(достает из кошелки сверток)*. Рузя, смотри, какое я мясо купил. Правда, хорошее? Я стоял в очереди, но я был первый.

Р у з я. Ай, Сумер, отстань со своим мясом. Я сейчас зайду к Луше, так я ей устрою черный день...

Р а х и л ь. Боже паси, при чем тут Луша? Луша сама плачет. *(Стук в дверь.)*

Р а х и л ь *(заходит на кухню)*. Вот она сама идет. *(Возвращается с Лушей.)*

Р у з я *(кричит)*. Луша, я вас предупреждаю.

Л у ш а. Что вы кричите?

Р у з я *(кричит)*. Я не кричу, я предупреждаю. Если я увижу вашу Тинку...

Л у ш а. Следите за своим Гариком.

Р у з я (кричит). Если я увижу вашу Тинку с Гариком, я ей голову поломаю.

Л у ш а (кричит). Я тебе поломаю, что своих не узнаешь... На кой хрен мне нужен в доме твой еврейский сопляк...

Р а х и л ь. Ша, Луша, ты так не говори... Что значит еврейский сопляк... Ну-ка выйди-но отсюда. Уйди, чтоб тебе не видеть... Гарика мы разденем и разуем, и он будет дома сидеть... Он не женится на твоей Тинке.

Л у ш а. Рахиль Абрамовна, дай вам Бог здоровья, если вы так сделаете. (Плачет.) Эта Тина у меня все силы отняла. (Уходит.)

С у м е р. Что это за Луша?

Р а х и л ь. Луша — это одна из нашего двора, что она спала с немцами... Тинка ведь от немца... Валя, которая едет к нам из Семеновки мыть полы, говорит, что эта Луша при немцах голая танцевала на столе...

З л о т а. Ай, то, что тебе Валя скажет...

Р а х и л ь. Вот ты имеешь защитника...

С у м е р. А что это за Тинка?

З л о т а. Тинка хорошая девочка... Она окончила Бердичевский медтехникум, а теперь она учится в Виннице в мединституте на доктора.

Р а х и л ь. Что ты скажешь, Сумер?.. Мою Люсю в Винницкий мединститут не приняли, а Тинка, которая родилась от немца и что мать у нее безграмотная уборщица, так та учится... Гой всегда имеет счастье... Тинку взяли, а Люсю нет... Что это за власть?.. Это-таки гонейвише мелихе... Воровская власть.

С у м е р (смеется). Разве член партии так может говорить?..

Р а х и л ь. А что, я тебя боюсь?.. Ты кому-нибудь расскажешь?..

Р у з я. Давно ушел Миля с Гариком?

Р а х и л ь. Не очень... Ты иди за ним, а я тоже пойду в одно место... В общем, я знаю, куда мне идти.

Рузя уходит.

Злота, давай я тебе включу телевизор, ты же любишь. (Сумеру.) Это их телевизор, так мы его можем смотреть, пока Мили нету дома. Ничего, я еще куплю телевизор. Зайду к Балиной в «Культтовары», так я возьму в рассрочку... Мне дадут... Ты думаешь, этот телефон ему дали? Это мне дали... Еще слава Богу, что меня в Бердичеве уважают. (Включает телевизор.) Слышишь, Сумер, Миля не дает Злоте смотреть телевизор... Это что, Киев показывают? Это площадь Богдана Хмельницкого... Вот он сидит на лошадь.

С у м е р. Когда я был в Киеве, так я подошел к памятнику Богдана Хмельницкого и плюнул, только чтоб никто не видел, и сказал, только чтоб никто не слышал: идешер койлер... убийца евреев...

Сумер и Рахиль уходят. Злота наливает себе чай, садится перед телевизором, берет нож и рубит кусочек сахара, приложив нож к сахару и стуча ножом вместе с сахаром об стол. Входит М и л я и какой-то п а р е н ь спортивного вида. Миля выключает перед Злотой телевизор. Злота молча встает, берет стакан чаю и уходит в свою комнату.

М и л я (парню). Андрей, посиди.

А н д р е й. Нет, Миля, мне пора. Дай мне фотографии, и я пойду.

М и л я. Вот они, твои фотографии. (Достает пакет.) Вот ты в проруби, вот вылезает на лед, вот массовый заплыв моржей... Видишь — это я, это ты, это Дзивановский... С тебя пятерка... (Включает телевизор.) Посиди...

А н д р е й. Ну ладно... Толковая передача?

М и л я (смотрит телевизор). Балет. (Пауза.) Танцуют. (Пауза.) Ушли. (Пауза.) Занавес. (Пауза). Дикторша... Светочка, здравствуй... Хорошая баба...

А н д р е й. Баба ничего, а балет я не люблю... Если б хоккеей показывали... Ну, я пойду, будь здоров.

М и л я. А я хоккеей не люблю, я футбол люблю... В хоккее мяч маленький, следить трудно, куда он летит... Хоккеей у нас вчера на льду был, медсантруд и кожзавод.

А н д р е й. Какой счет?

М и л я. Два — ноль в пользу бедных. (Смеется.)

Андрей уходит. Миля молча смотрит телевизор. З л о т а осторожно выходит из своей комнаты, наливает еще один стакан жидкого чая и осторожно уходит. Шумно и быстро входит Р у з я.

Р у з я. Гарик дома?

М и л я. Нет...

Р у з я. Он же пошел с тобой?

М и л я. Так пока я переодевался для купанья, он куда-то делся.

Р у з я (*кричит*). Чтоб ты провалился со своим купаньем! Зачем ты взял с собой ребенка?

М и л я. Рузя, не кричи... Рузя, Рузя... Пока я переодевался, он был с Колей Рабиновичем.

Р у з я (*кричит*). С Колькой Рабиновичем?! Чтоб он сдох, этот Колька... Ты разве не знаешь, что у этого Кольки Рабиновича Гарик встречается с Тинкой?

М и л я. Рузя, не кричи...

Р у з я (*кричит*). Чтоб ты пропал, а не Гарик... Гарика нельзя было выпускать на улицу, зачем ты взял его с собой?.. Сволочь! Негодяй!

М и л я. Рузя, замолчи...

Р у з я. Сам замолчи... Хватит... Двадцать три года я живу по выражению твоего лица... Сволочь! Одевайся и иди искать Гарика!

Быстро входит Р а х и л ь.

Р а х и л ь. Я только что была у Раи из загса. Гарик подал заявление, чтоб его расписали с Тинкой.

З л о т а. Ой, я не могу выдержать...

Р у з я (*Миле*). Одевайся, и идем искать Гарика... Я его закрою дома голого...

З л о т а (*смотрит в окно*). Ой, вот он сам идет.

М и л я. Тише, только не кричите на него, я сам с ним поговорю.

Входит Г а р и к, бледный, возбужденный.

Р а х и л ь. Где ты был, Гарик, что мы тебя все искали?

Г а р и к. Не твое дело.

М и л я (*Рахили*). Вы не вмешивайтесь. (*К Гарику*.)
Разденысь, сынок, сядь, я с тобой поговорю.

Г а р и к. Говорить нечего. Мы с Тиной подали заявление в загс... Я люблю ее, она любит меня...

Р а х и л ь. Но ведь она старше тебя на пять лет... Папа ее был немец, что он убивал евреев, а мама ее уборщица, что она здесь во дворе мало разве кричала: жиды!

Г а р и к. Баба, закрой пасть.

Р а х и л ь. Закрой пасть... Сморкач... Подожди, Тинка еще тебе крикнет: жид... И Луша тебе крикнет: жид... Луша тебя ненавидит...

Г а р и к. Я женюсь на Тине, а не на тете Луше.

Р а х и л ь. Тетя Луша... Злота у него не тетя Злота, ей он кричит: заткнись, а Луша, что она ненавидит евреев, у него тетя... Луша, что она при немцах танцевала голая на столе.

М и л я (*Рахили*). Зачем такое говорить при молодом парне?.. Вы это видели?

Р у з я (*Миле*). Ты еще будешь Лушу защищать! Отдай Гарику в ее руки, отдай! Гарик, я тебя голого раздену. (*Хватает его, тот пытается вырваться, борьба. От толчка падает с книжного шкафа и разбивается бюст Ленина.*)

Р а х и л ь. Осторожно, сейчас вы разобьете зеркало... Взяли и разбили... Этот Ленин у меня с сорок пятого года стоял и был целый.

Р у з я. Молчи, мама... Людоед... Я тебе заплачу за бюст Ленина... Гарик, стой, Гарик... Миля, что ты сидишь?..

М и л я. Сядь, сынок, поговорим...

Г а р и к (*плачет, кричит, хватая хлебный нож, приставляет его к запястью*). Я себе удеры перережу... Вены вспорю...

Р а х и л ь (*кричит*). Заберите у него нож... Ой-ой-ой...

З л о т а. Ой, мне плохо...

Миля и Рузя хватают Гарика, забирают у него нож, стаскивают с него пальто, раздевают один ботинок. Он вырывается, брыкает ногой, не дает Миле снять второй ботинок, попадает ему пониже живота ногой.

М и л я (*хватается за пораженное место руками*). Ой... Темно в глазах...

Р у з я (*кричит*). Что ты скорчился! Держи Гарика!

М и л я. Не могу... В глазах темно... Он мне попал ногой...

Гарик отбрасывает Рузю, бежит к дверям в одном ботинке, но Рахиль успевает подбежать, тяжело, астматически дыша, и загородить дорогу. Гарик толкает ее в грудь. Она пошатнулась, но устояла. Тогда он хватается за халат у горла, но в это время Рузя и оправившийся Миля вцепились в него. Слышен треск материи.

Р а х и л ь (*кричит*). Ой, он порвал на мне халат! Ой, он порвал на мне халат! Ой, он порвал на мне халат! Ой, он порвал на мне халат!

*Под крики, плач, звон разбивающейся посуды
ползет занавес*

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

В большой комнате стало гораздо свободнее, исчезла Рузина полированная мебель. Вместо старого телевизора стоит телевизор другой конструкции. Майский теплый вечер. Дверь балкона приоткрыта. За столом сидит Р а х и л ь, совсем уж сильно растолстевшая, обрюзгшая, но по-прежнему с живым, острым взглядом. Рядом сидит полный бородатый человек, в котором с трудом можно узнать В и л ю. З л о т а у зеркала примеряет платье Б ы л е. Злата с жидкими седыми волосами, с выцветшими, слезящимися глазами. Тонкие косички торчат у нее, как козлиные рожки. Двигается Злата совсем медленно. Быля еще молодится, но старость уже явно проступает на ее лице и еще больше подчеркивается пудрой и крашеными губами.

З л о т а (*поет слабым голосом*). «Тира-ра-рой, птичечка, пой...» Здесь будет встречная складка...

Р а х и л ь. Слышишь, Быля, так я пошла и дала за ковер задаток три рубля... Мне дадут в рассрочку, чтоб повесить над Злотиной кроватью вместо ее тряпки... Что ты скажешь, Виля, я правильно сделала?

З л о т а. Я тебе свою стену не дам. Ты потом отдашь ковер детям, а я останусь с голой стеной. У меня тряпка как тряпка...

Р а х и л ь. Ой, она кричит... Виля, у вас в Москве тоже так кричат?

В и л я. Ты имеешь от нее отрезанные годы? (*Смеется.*)

З л о т а. Она потом отдаст ковер Рузе, а я останусь с голой стеной.

Б ы л я. Ну, как Рузя, довольна квартирой Рузя?

Р а х и л ь. Ничего. Они получили там, где был раньше роддом. Однокомнатная, зато есть удобства — уборная, отлив... У меня уже нет сил таскать с лестницы ведра, особенно зимой.

Б ы л я. Так Рузя довольна, Рузя?

Р а х и л ь. Им хватает... Ей и Миле... Ребята уже женились... Марик в Ленинграде, а Гарик в Минске... Ничего...

Б ы л я. А кто их жены?

Р а х и л ь. Кто они? Марикина жена учительница, ее зовут Надя... А Гарикина жена еще студентка, вместе с ним учится в строительном институте, но ее тоже зовут Надя... Ничего. Она будет экономист, а он будет строитель.

З л о т а. Я к Марикиной Наде ничего не имею и к Гарикиной Наде ничего не имею... Они очень хорошие.

Р а х и л ь. У тебя все очень хорошие... Ничего. *(Вздыхает.)* Как бы там ни было, но таки плохо тем, кто лежит в земле. *(Начинает плакать.)* Как говорят ды гоем: колы нэ умыраты, то треба дэнь тэряты...

Б ы л я *(вытирает глаза)*. Я слышала, что Сумер умер на улице, я слышала... Так говорят...

Р а х и л ь. Чтоб у того выкрутило рот, кто так говорит... Что он, нищий, чтоб умереть на улице...

Б ы л я. При чем тут нищий, при чем тут?.. Слушай — но... При чем тут нищий?.. Каждый может умереть где угодно... Даже царь может умереть на улице, даже царь...

З л о т а *(плачет)*. Он стоит мне перед глазами... Он был такой хороший брат... Он недостает мне в каждом уголочке... Уже пять месяцев скоро, как он умер...

Рахиль. Чтоб у того выкрутило рот, кто говорит про нашего Сумера, что он умер на улице... Он умер не на улице, а в этом новом универмаге, что построили возле церкви. *(Плачет.)* Слышишь, Виля, двадцать шестого января, ой, я хорошо запомню это число, он пошел покупать ведро в универмаге. Я его встретила на улице и говорю: Сумер, зайти к нам... Он говорит, я сейчас пойду, куплю ведро в универмаге и на обратном пути зайду к вам... Так он только поднялся на лестницу, чтоб войти в универмаг, сразу упал... Тогда какие-то люди его занесли внутрь, потому что на улице мороз... А эти гойки, продавщицы, сейчас же продавщицы все гойки из села у нас, евреев сейчас в торговой сети нету, так гойки начали кричать: вынесите этого пьяницу... Но в универмаге была Векслер, что она когда-то работала со мной в торгсин... Ты знаешь, Виля, что такое торгсин? Это где дефицитный товар продавали не на деньги, а на золото и драгоценные камни... Так эта Векслер говорит: нет, это не пьяница... Это Луцкий...

Злата *(плачет)*. Он стоит у меня перед глазами... Он пережил Зину почти на год... Зина умерла от сахарной болезни...

Быля. Да, я слышала, от диабета.

Рахиль. В общем, как рассказывают, Сумер пришел в себя, сел, вынул конфетку, положил в рот, вынул платок, вытер губы... Ему говорят — позвать сестру? Это про меня... Меня ж в городе все знают... Позвать сестру, Рахилью Абрамовну. *(Плачет.)* Он говорит: не надо... Это были его последние слова... Потом я пришла

в больницу, так он лежал и спал. Но одно ухо у него было синее. Я его поцеловала... И еще один там лежал и спал. Так тот проснулся, а Сумер нет... Три дня ему не хватало до восьмидесяти лет... Мы ему устроили похороны... Но в больнице хотели, чтоб он еще лежал... Некому было копать яму... В тот день было шесть покойников... Тогда товарищ Сумера дал из свой карман двадцать рублей, и яму выкопали... Виля, ты помнишь Сумера?

В и л я. Как же... Бердичевский Вольтер...

Р а х и л ь. Что значит Вольтер? Что значит, ты говоришь на Сумера — Вольтер?.. Я не понимаю.

Б ы л я. Это такой писатель.

Р а х и л ь. Он не был писатель, но он был очень умный.

Входит шумно В а л я с половыми дорожками в руках. Одетая она в обноски, повязана рваным платком, но веселая, с маленьким носиком и круглым лицом.

В а л я. Луша каже: ты чего дорожки трепашешь?.. Пыль на ней идэ... От зараза, вредная... Кажэ: она менэ вда-рыть... (Смеется.)

Р а х и л ь. Пусть попробует... Луша думает, что это ей при немцах, когда она голая танцевала на столе... Ты знаешь, Быля, что это за Луша? Гарик ведь хотел жениться на ее дочке Тинке... Ой, тут было несчастье... Эта же Тина от немца... Правда, Валя?

В а л я. От немца... Луша кацапка с нимцами гуляла из комендатуры... (Смеется.)

В и л я. А вы откуда знаете? Вы из одного села?

В а л я. Нет, я из Семеновки. (Смеется.)

Р а х и л ь. Что, ты не помнишь Валу? Она у нас уже, может, десять лет пол моет... У нее сестра есть в Виннице, тоже уборщица, а больше никого нет... Я правильно говорю, Валя?

В а л я. Правильно. *(Смеется.)*

В и л я. Вы в колхозе работаете?

Р а х и л ь. Как же она в колхозе, если она ездит мыть полы... Ой, вэй з мир...

В а л я. Я без матэри колы зусталась, пишла на стройку подсобницей. Дали мени паспорт. А скоротылы, паспорт в мене видибралы, пишла поденно.

З л о т а. У нее в селе есть землянка... Она содержит собака, кошка, несколько куриц. *(Смеется.)* Я ей всегда для собака кости собираю.

В а л я. Собака гавкает, а кот мышей и горобцов ловит... Я иду на работу, и он идет на работу. *(Смеется.)*

Б ы л я. Сколько же вы ей платите за то, что она убирает, сколько?

Р а х и л ь. Я ей даю рубль и покушать...

З л о т а. У Вали главное картошка... Я ей покупаю тюльку, я ей покупаю капусту... Уже десять лет она моет у нас полы.

Р а х и л ь. Но у меня нет сил, я не могу согнуться.

В и л я. А сколько же вам лет, Валя?

В а л я. Шестьдесят три... Поки не хвора, то добре, а як захворю, кто мене будет годувать... Подохну. *(Смеется.)*

З л о т а. Як помрешь, то задницу не забачишь. *(Смеется.)*

Р а х и л ь. Валя, возьми дорожки, что под ноги кладут, и потрепай... Но больше их не стели возле кровати.

З л о т а. Как это не стели... Мне холодно в ноги.

Р а х и л ь. Я не имею сил трепать, а Валя вместо всех этих тряпок лучше пускай хороший ковер выбьет.

З л о т а. Но мне холодно в ноги.

В а л я (смеется). Злота хоче, щоб чисто було и щоб не трипаты... Цю Злоту треба начальником посадыты. (Смеется.)

Р а х и л ь. Да, на чужих плечах она молодец.

З л о т а. Ну, я не могу, вот так она на меня наговаривает.

Б ы л я. Злотка, не нервничай, Злотка...

В и л я (к Вале). А пенсия у вас есть?

В а л я. Нема... Ничего... Ци пенсионеры вже смердят. А я як хвора стану, краще помру. (Смеется.)

Р а х и л ь. Валя, что-то ты сегодня много говоришь... Вынеси-ка ведро. (Валя уходит.) Зи даф эсен дрек... Она должна кушать, извините за выражение, то, что в уборной... Такая грязная... и она живет, а Сумер умер. (Плачет.)

Б ы л я. Вечного ничего нет, правда, Виля? Виля очень хорошо выглядит.

Р а х и л ь. Ну что ты хочешь, научный работник.

В и л я. Я не научный работник.

Р а х и л ь. Ну все равно, большой человек... Ой, сколько мы пережили, сколько Злота плакала... Теперь уже слава Богу... Быля, ты видела, какое у него красивое пальто?

Был я. Я видела, московское... Моя Мэра тоже должна скоро поехать в Москву... У нее там знакомые, у нее там... Овечкис. Ты не слышал, Виля, Овечкис? У него труды опубликованы. Этот Овечкис тоже сейчас приехал, он у нас гостит... Ты не слышал Овечкис?

Виля. Я не слышал.

Рахиль. Откуда он знает? Что, Москва — это Бердичев?

Был я. Злотка, так когда на примерку, Злотка?

Злота. Через три дня.

Был я *(переодевается в соседней комнате, выходит)*. Когда ты едешь, Виля?

Злота. Он же только приехал.

Был я. Ну, слава Богу... До свидания. *(Уходит.)*

Рахиль. Злота, быстрее переверни стакан... Зи кен гибен а гытойг... Она может сглазить. *(Дает дули в дверь.)* На, на... Соль в глаза, камни в живот.

Злота. Зачем ты так говоришь?.. Это наша родственница...

Рахиль. Родственница. Троюродная пуговица от штанов... Виля, ты меня слушай, если я говорю, так это сказано. Ты ее Мэру видел? Петух. Одно горло, и больше ничего ни спереди, ни сзади... Когда Мэра ездила в Крым, так у нее ушло триста рублей. Но нельзя говорить. Она ходила кушать только туда, где музыка играет... Еще хорошо, что она из Крыма не привезла сифилис...

Злота. Боже мой, что она говорит?.. Мэра очень честная девочка...

Р а х и л ь (смеется). Девочка... Олте мойд... Старая дева, а не девочка... А Быля скрывает, что ее отец был простой бондарь... Всю жизнь она хотела дружить только с докторами... Она хотела мужа для Мэры доктора... Но ее Мэра поехала в Крым, и, говорят, она там жила с одним узбеком... Еще хорошо, что она не привезла сифилис, как дочка Иванова.

З л о т а. Где есть сплетня, так она приносит.

Р а х и л ь. Злата, чтоб Бог помог прекратить твои крики... Ты меня слушай, Виля... Ты Иванова знал?

З л о т а. Откуда он знает Иванова?

Р а х и л ь. Его фамилия Иванов, но он еврей... Закупщик скота... Богатый... Кооперативная квартира... А у его дочки уже ребенку десять лет. Так она поехала на курорт, познакомилась с киевлянином и привезла сифилис. (Смеется.) Ничего... Мужа у нее нет, с мужем она разошлась... Но в квартире надо делать ремонт, так пришли маляры. Так она легла с одним маляром и заразила его. А он разнес сифилис по городу. (Смеется.) Такая сволочь... А этот Иванов был при немцах...

З л о т а. Рухл, что ты рассказываешь всякая ерунда, дай ему покушать. (Ставит на стол яички и котлеты.)

Р а х и л ь. Злата, что за маленькие котлетки ты сделала? Большие люди едят эти котлеты, а ты сделала как для маленьких детей...

З л о т а. Ну, я не могу... Только она хочет быть надо мной хозяином, только она хочет взять меня себе под ноги... Виля, не бери масло из этой масленки, это Рахилино... Вот наше. (Подвигает точно такую же масленку.)

Рахиль. Виля, если я от нее выдерживаю, так я железная... Ну так что, если он возьмет немного моего масла? Что я, обеднею?

Злота. Зачем, когда у него есть свое?..

Виля. А как же вы различаете? Ведь масленки совершенно одинаковые, обе из синей пластмассы?

Злота. У моей здесь прикреплен бумажный кружочек от катушки.

Рахиль. Виля, посмотри на нее с этими косичечками. *(Смеется.)* Зи кен аф мынен... Она может пригодиться для мынен... Ты знаешь, что такое мынен? Это в синагоге нужно десять человек, чтоб состоялась молитва. Если девять, это не годится... Тогда искали десятого, кого угодно, даже идиота. *(Хохочет.)*

Злота. Если б не мое горе, я б твоего лица не видела... Я бы уехала в Москву... Что, у меня там не было бы заказчиц? *(Плачет.)*

Рахиль. Ша, Злота, дай Виле спокойно покушать... Большой деатель... Она уже пять лет не выходит на улицу, так она поедет в Москву.

Злота. Она мне не дает слова сказать, она меня все время перебивает... Я раньше так хорошо ходила, у меня были такие крепкие ноги...

Рахиль. Ты всегда имела плоскостопие, сколько я тебя помню... Виля, ты меня слушай... До революции мы жили как бедняки. Кто был наш отец? Простой шорник... Так если покойная мама сварила суп из картошки, у нас был веселый день. Боже паси, чтоб дети ели когда-нибудь яйца. Но Злоте запаривали яйца.

З л о т а. Мне давали яйца потому, что я самая первая из детей начала работать... Раньше Сумера... Мне еще было восемь лет, когда я пошла работать ученицей к портному. *(К Виля.)* Раньше портних не было, только портные... Раньше лучше одевались, а сейчас барахло... Мне лежит в памяти, когда после революции покойный Сумер держал магазин от вещи. *(Садится, наливает себе чай, берет яблоко, кусает.)* Я люблю чай пить с яблок... Так про что я говорила?

Р а х и л ь. Злота, когда пьют чай, так молчат, а то можно, не дай Бог, подавиться... Ты помнишь, как ты подавилась костью от рыбы? Ой, Виля, я железная... Если б Дуня снизу не прибежала и не начала Злоту бить по спине, так кость бы не выскочила... Ты бы видел кость... Как человек может проглотить такую кость?.. Эта кость, когда выскочила, так ударила о миску, что звон пошел.

З л о т а. Ну, она не дает мне слова сказать... Я помню, как в Варшаве была еврейская религия.

Р а х и л ь. Она помнит... Ты что, была в Варшаве? Злота, что-то с годами ты стала лыгнерын... обманщица...

З л о т а. Но она меня только хочет плохо поставить перед людьми... Я не была, но я помню, как дедушка рассказывал... Я помню нашего дедушку, он был такой красивый, у него на всех пальцах были кольца... Сколько было пальцев, столько было колец... Он имел теркешер пос... Турецкий паспорт... Так как только начиналась война, так приходили эти красные колпаки и его арестовывали... Я помню, как мы все дети сиде-

ли и обедали и пришли красные колпаки и его арестовали... Ой, мы так плакали...

Р а х и л ь. Вот она тебе скажет... Красные колпаки, это же гайдамаки, они в Гражданскую войну были... А до революции был пристав. Это пристав пришел, чтоб арестовать дедушку, что я, не помню...

З л о т а. Я лучше тебя помню... Дедушка был приказчик. Он ехал в Варшаву за товаром. Раньше евреев не пустили в Киев и Москву, а только в Варшаву. Мне лежит в памяти. О, какие платья тогда были! Теперь не платья, а барахло. Они ездили в Варшаву покупать... В Киеве жили только первогильдники, капиталисты и ремесленники... Тогда портних не было, только портные...

Р а х и л ь. Злота, что ты повторяешь одно и то же...

З л о т а. Ну, она не дает мне слова сказать... В Варшаве евреи ходили с бородами, шапки с козырьком, женщины носили парик...

Р а х и л ь. Злота, что за вареники ты сделала? Котлеты ты делаешь маленькие, а каждый вареник как Эгдешман... Тут был такой большой грузчик Эгдешман, так каждый вареник как Эгдешман.

Входит В а л я с дорожками.

В а л я (смеется). От зараза... Луша znovu каже, что мене вдарить, бо я дорожки трепая и роблю пыляку... Зараза ии мамци... Кацапка погана... Ии позавчора з церкви пип выгнав...

Р а х и л ь. Ты слышишь, Злота, что такое Луша... Валя говорит, что Луша обделалась перед попом и он велел ее выгнать из церкви.

З л о т а. Зачем такое говорить на человека?

В а л я (смеется). Я сама бачыла, як ии з церкви выгнали...

Р а х и л ь. Ну иди, Валя, здоровая... Так ты придешь в пятницу? Иди...

Валя уходит.

З л о т а (зовет). Валя... Валя... Ой, если я сяду, я уже не могу подняться. (Хватается руками за стол, поднимается, берет с подоконника газетный сверток.) Я забыла ей дать... Эти кости я собираю Вале для собаки.

Р а х и л ь. Дай-но сюда... Выброси их... Валя должна знать, что ты кушаешь курицу?

В а л я (заглядывает). Вы мене клыкалы?

Р а х и л ь. Нет, ничего, иди, Валя. (Валя уходит.) Она потом пойдет вниз и все расскажет о нас гоем, как мы живем, что мы кушаем курицу. Но у меня они могут знать, только что в заднице темно...

В и л я. А где Дрыбчик?

З л о т а. Дрыбчик? Ой, он помнит Дрыбчика... Дрыбчик еще два года назад утонул.

Р а х и л ь. Он поспорил на поллитра, что переплывет Гнилопять... Так туда он переплыл, а назад — нет... А тут был во дворе еще один бандит, Витька Лаундя, ты помнишь? Так ему отрезали обе ноги, у него гангрена... А ты помнишь муж Дуня, что они были на Рузиной свадьбе?

З л о т а. Фамилия его Евгеньевич, нет, Евгений... Чтоб я так знала про него...

Рахиль. Вот она тебе скажет... Евгеньев его фамилия... Так пять лет назад он застал у Дуни одного пенсионера, что он за этой старухой ухаживал, и так крикнул от ревности, что у него оборвалось сердце. (Смеется.)

Зло та. Зачем тебе надо смеяться? Человек умер...

Рахиль. Чтоб он раньше на тридцать лет ушел головой в землю... Это он нам порекомендовал Милю... А когда я спросила Рузю: Рузя, он тебе нравится, она ответила: ничего паренек...

Зло та. Рухл, перестань. Миля совершенно переменялся. Он теперь совершенно другой, после того как с ним случилось несчастье.

Вля. Какое несчастье?

Рахиль. Ой, ты еще не знаешь... Ему же отрезали палец...

Зло та. Боже мой, что тут было... Он ходил купаться зимой на речку, и на него упал лед... Думали, что отрежут всю руку, но отрезали только палец... Еще слава Богу...

Рахиль. Так одним пальцем он уже на том свете. (Смеется.)

Зло та. Рухл, перестань, он еще молодой... Ему недавно отметили шестидесятилетие, в прошлом месяце. Так вечеринка была здесь у нас, потому что у них негде. Он пришел и говорил со мной и говорил с Рахилей... Шестьдесят лет... Он еще молодой...

Рахиль. Молодой... Собака в его возрасте уже давно сдыхает...

Зло та. Ой, Боже мой. (Смеется.)

Р а х и л ь. Когда они здесь жили и Злота хотела смотреть телевизор, так Миля его выключал, когда она выходила, так он опять включал.

З л о т а (смеется). Ну, он такой человек... Плохого человека надо поднять...

В и л я. Что? Понять?

З л о т а. Нет, не понять, а поднять... Плохому человеку надо сделать почет, тогда ему будет приятно.

Р а х и л ь. Это ты им делай почет... Ты хорошая, а я не хочу быть хорошей... Быля, вот Злота сейчас будет кричать, но Быля теперь говорит, что ты хорошо выглядишь и у тебя хорошее пальто. А раньше она смеялась над тобой.

З л о т а. Это неправда. Она всегда спрашивала, как Виля.

Р а х и л ь. Ты меня слушай... Йойна тебя назвал «вечный студент»... Я ему говорю, что значит «вечный студент»?.. Как вы так говорите, Йойна. Вот вы сейчас смеетесь, а еще будет время и люди лопнут от зависти, когда посмотрят на нашего Вилю... Я и Злота всем так говорили... Мы наши дети не бросаем... Если надо посылка, так посылка. Сегодня мы Виле дадим, завтра он нам даст... Правильно, Злота?.. А Йойна за то, что он так говорил, теперь вырезали из носа кусок мяса.

З л о т а. Зачем ты радуешься, это же несчастье...

Р а х и л ь. Ничего. То, что я сказала Виле, так Виля никому не расскажет. Говорят, что у Йойны рак, но Быля это скрывает. Слышишь, Виля, каждый год Быля с ним едет в Киев, и у него из носа вырезают кусок мяса... Это стоит еще тех денег... Ай, я не хочу о них думать,

у меня есть про что думать. Виля, посмотри лучше на Алла и Лада, чтоб мне было за них. *(Достает с буфета альбом.)* Это Алла, ой, как она красиво танцует, она будет балерина... А это, ты думаешь, Люся в детстве? Нет, это Ладушка... Смотри, с воздушным шариком. Это я ей купила, думаешь, это Петя ей купил?

В и л я. Современный Бердичев в третьем колене.

Р а х и л ь. Чтоб мне было за их коленки... Ой, надо же позвонить Рае в загс... Алла не хочет быть Пейсаховна... Она хочет быть Петровна... И Лада тоже от нее учится... Когда Петя родился, так его родители записали не Петя, а Пейсах... А я им говорю: о чем вы раньше думали, идиоты?

В и л я. Да, проблема сложная, но временная. Это последние Пейсаховичи и Исааковичи... В жизнь вступило поколение Анатолиевичей, Эдуардовичей, Алексеевичей, Александровичей...

Р а х и л ь. А ему дали имя Пейсах... Так я зашла к Рае в загс... Ой, Рая, ей ниоткуда прожить день... Сколько у нее зарплата? Она собирает бутылки, что их оставляют пьяницы, и сдает... Так Рая мне говорит, когда Алле исполнится пятнадцать лет, надо написать заявление и пятнадцать рублей... Но я думаю, что за пятнадцать рублей я им обеим «Пейсаховна» поменяю на «Петровна». Что ты скажешь, Виля?

В и л я. Нет, за пятнадцать рублей только Алла будет Петровна.

Р а х и л ь. Ну что ж, мэйле... Возьму в кассе взаимопомощи тридцать рублей... Ради своих детей надо делать все... Кто-то звонит... Злота, забери-но свое три-

ко... Всегда она посадит свое трико на палку, что я открываю задвижку в печке, и выставит это свое трико на видное место сушить...

З л о т а. Она рвет от меня куски. *(Снимает трико с палки и уносит его.)*

Входит Б о р и с М а к з а н и к.

М а к з а н и к. Ну, где тут ваши гости?

Р а х и л ь. Какие гости?

М а к з а н и к. Где здесь знаменитый человек? Ах, вот он, бородатый... Ну, здоров...

В и л я. Борис Макзаник нас заметил и, в гроб сходя, благословил.

М а к з а н и к *(хохочет, выпучив глаза)*. Ну, как Москва?

З л о т а. Садитесь, выпейте с нами чаю... Я теперь вам не могу говорить «ты».

М а к з а н и к. Да, мы повзрослели. *(Хохочет.)* И побородели. *(Хлопает Вилю по плечу.)*

Р а х и л ь. Как папа, как мама?

М а к з а н и к. Ничего, болеют... Старшее поколение...

З л о т а. Я помню, как ваш папа, еще до войны, читал лекции о международном положении на еврейском языке.

М а к з а н и к. Отец у меня хороший, батя... Конечно, возраст, но продолжает, несмотря на пенсию, работать в области журналистики. Внештатный корреспондент «Радянської Житомирщини». Вы читали недавно его большую статью «Жертвы сионизма», про

евреев, которые уехали из Житомира в Израиль и теперь хотят вернуться назад?

Р а х и л ь. Я только местную газету выписываю «Радянський шлях».

З л о т а. А как ваш сын? Извините, я вас спрашиваю...

М а к з а н и к. Сын... Вот мой сын. *(Достает фото.)* Уже семь лет мальчику. *(Виле, тихо.)* Может, прогуляемся, а то тут тетушки.

В и л я. Нет, гулять не хочется.

М а к з а н и к. Э-э, да ты, я вижу, скис. А вот смотри фото: мы с тобой, какие молодые ребята, и вот твоя надпись: «Другу по надеждам и мечтам»... Молодость...

В и л я. Мао Цзэдун прав. В молодости человек — это чистый лист бумаги...

М а к з а н и к. Странные у вас в столице мысли... Пришел бы на завод, пообщался бы с рабочим классом, тогда и дети появятся. *(Хохочет.)* Это ведь очень просто... Не получается, передохни, погуляй немного по комнате, скушай ложку меда... Ну а если всерьез, я стихи своему сыну Саше недавно написал. Хочешь послушать?

В и л я. Прочти.

М а к з а н и к. Стихи обычно приходят вечером после трудного дня... Вот, послушай: «Сыну Саше. Эпоха целая прошла с тех пор, как мама на горшок тебя сажала, а ты кричал «уа-уа» и ничего не понимал. Теперь ты взрослый человек, не делаешь сырых пеленок, но я хочу, чтоб целый век был жив в тебе, мой

сын, — ребенок». (Последнюю фразу произносит дрогнувшим голосом.)

В и л я. Ничего. (Начинает кашлять.)

М а к з а н и к. А вот совсем другая тематика, скоро будет напечатано... «Страна советская большая, нет в ней бесчисленных врагов, живет прекрасно, расцветая среди полей, лесов, лугов. А если враг захочет снова Россию пеплом всю обжечь, не надо им влезать в Россию, им надо голову беречь». (Хохочет.) Это я по проблемам мирного существования.

В и л я. В общем неплохо. (Начинает кашлять.) Что-то я простудился.

М а к з а н и к (смотрит на Вилю искоса). Тогда, чтоб по-рабочему вылечить тебя от интеллигентской простуды, я тебе прочитаю кое-что другое... Вот афоризмы, которые, может быть, пойдут тебе на пользу... «Душа — это алмаз, а ум — это инструмент, который обрабатывает алмаз»... «Подавляя свою душу или не связывая ее с умом, с действительностью, человек углубляется в мир иллюзий и мистики, следствием чего является презрение к людям».

В и л я. Ничего. (Кашляет.) А это ты один писал или в соавторстве, как Козьма Прутков?

М а к з а н и к. О человеке можно судить не по тому, что он говорит, а какие вопросы он задает. (Вскакивает.) Ты был дурак и остался дурак, хоть что-то там вытворяешь в Москве.

Р а х и л ь. Ой, взй з мир... Что? Кому ты говоришь: дурак? Сморкач паршивый. Так, как я держу руку, так я тебе войду в лицо.

Макзаник (*кричит*). Негодяи, сволочи... У меня нервы как струны! Ты думаешь, я не видел, как ты надо мной насмеялся... Кашляет, кашляет...

Рахиль. Ты сам сволочь... Твой папа всегда имел любовниц, и ты такой же... Уйди, чтоб тебя не видеть... Кто тебя сюда звал? Ты сам звонил каждый день, спрашивал, когда Виля приедет... Что, ты нам нужен?.. Даже когда я сижу в уборной, я о тебе не думаю...

Макзаник. Когда мне надо будет, я уйду... Пусть ваш Виля не думает, что только он один человек, а все вокруг него клопы... Он был дурак и остался дурак... Вот он показал сейчас себя во всей красе. (*Быстро уходит, хлопает дверью.*)

Рахиль. В голове чтоб ему стучало... Виля, что ты ему не ответил? Он тебе сказал: дурак, надо было сказать: от дурака слышу... Что ты так побледнел, Виля, что ты переживаешь? Что, ты не знаешь Макзаника, это же идиот... Его весь Бердичев считает за идиота.

Злата. Боже мой, Виля, ты себя что-то плохо чувствуешь? Может, ты ляжешь и я тебе дам чаю в постель?

Рахиль. Такое горе... Это твоя идея, Злателе... Я сказала — он здесь не нужен, а ты говоришь, надо пригласить, неудобно... Макзаник просит... Он просит... Чтоб он уже себе смерти просил...

Злата. Она от меня куски рвет. (*Плачет.*)

Виля (*встает*). Может, действительно мне сегодня уехать? Я еще успею на казатинский поезд, а ночью из Казатина идет много поездов на Москву.

З л о т а. Как это ехать? Что-то я тебя не понимаю. Ты же только приехал, ты не был пятнадцать лет. *(Плачет.)*

В и л я. Но я вас повидал, побыл день... Достаточно...

Р а х и л ь. И за то, что Макзаник сказал тебе: дурак, так ты хочешь уехать? Смотри-ка, Злота плачет. Я тебе сейчас расскажу, так ты поймешь. Тут в Житомире есть один, так его имя Израиль. Так его все зовут «Агрессор». Так он смеется. А ты переживаешь, что Макзаник сказал тебе: дурак...

В и л я. Он смеется? Тогда другое дело, тогда я просто погуляю по Бердичеву.

З л о т а. Виля, куда ты идешь? Ведь поздно, дождь начинается.

В и л я. У меня есть зонтик. *(Выходит.)*

Р а х и л ь *(кричит вслед)*. Только не ругайся с гоем здесь во дворе... Ты себе уедешь, а нам с ними надо жить... Злота, ты не переживай, не переживай... Этот Виля всегда был раскрученный... Цыдрейтер... Мышигинер... Сумасшедший...

З л о т а *(кричит)*. Ты и дети твои сумасшедшие. *(Плачет.)*

Р а х и л ь. Злота, чтоб тебе вывернуло рот... Он ушел, так я виновата... Такое горе... Дети мои ей не нравятся... Дети... Макзаник таки прав, хоть он идиот... Что я, не знаю, что Виля смеется надо мной, над моей Люсей, над моей Рузей, над Мариком, над Гарином, над Петей, над Аллой, над Ладой, над всеми?.. Только он умный... Но где он работает — неизвестно, и какая у него зарплата — неизвестно, и кто

он такой — неизвестно... Моя Люся таки правильно про него говорит...

З л о т а. Твоя Люся такая же, как твой муж Капцан...

Она молчаливая собака, собака с закушенным ртом...

Р а х и л ь. Ты сама собака... Мой муж ей не нравится... Надо было иметь своего мужа...

З л о т а (кричит, плачет). Ты говоришь, что у тебя был муж, а у меня не было... Если б я хотела, я б имела мужа... Но я должна была кормить маму и папу, они были больные.

Звонит телефон.

Ой, что-то мне плохо, что-то мне колет сердце, что-то мне схватил живот...

Р а х и л ь. Ну, иди на ведро... Тихо, это Житомир... Немая чтоб ты стала. (*Берет трубку.*) Девушка, але... это Житомир? Да, я заказывала... (*К Злоте.*) Иди на ведро... Тихо... (*В трубку.*) Люся... Здравствуй... Ой, я без детей не могу, я каждый вечер звоню, ты же видишь... Ой, я только что имела... Виля приехал, так пришел Макзаник и сказал ему «дурак»... Что ты смеешься?.. Так Виля побелел, как стена, и хочет ехать назад в Москву... Ничего... Слава Богу... Так он хорошо выглядит, у него красивое пальто... Он привез лимоны, так десять он дал мне, а шесть я взяла так, может, я возьму еще несколько... Я приеду, так я привезу вам лимоны... Злоте нельзя, у нее кислотность... Так он хорошо выглядит, но где он работает и какая у него зарплата, когда я буду знать, так я тебе скажу. (*Смеется.*) Он пошел гулять, этот елд... А Злота на ведро... Что у вас?

Что слышно... Ты, наверно, ходишь босая... Отвари детям кусочек курицы, я приеду, я привезу еще куры... Лада, чтоб мне было за нее, как она... Но про Вилю ты не рассказывай мансы в Житомире... Дай Ладочку... Здравствуй, моя сладкая девочка... Как баба тебя учила стихи? От а ед а копелеш... Имеет дурак шляпу... Мыт ды ланге пеес... И длинные пейсы... *(Смеется.)* Вот он идет, этот ед... Целую тебя, чтоб мне было за тебя... Нет, это Рузя и Миля пришли... Я целую... Я завтра позвоню. *(Вешает трубку.)*

Входят Ру з я и М и л я. Рузя сильно поседела, потолстела и стала похожа на Рахиль. Миля, наоборот, похудел. Рука его перевязана.

Ру з я. А где Виля?

З л о т а. Он пошел немного погулять.

М и л я. В такой дождь гулять?

Р а х и л ь. Ну так он гуляет в дождь, что можно сделать? Ой, я тебе скажу, Рузя, я железная, что я это все выдерживаю...

З л о т а. Я не могу жить. *(Плачет.)*

М и л я. Не надо ругаться, главное — здоровье...

Р а х и л ь. Как твой палец?

М и л я. Какой палец? Пальца нету.

Р а х и л ь. Я спрашиваю, как рука.

М и л я. Ноет... Вот сегодня дождь, так она ноет особенно, и палец, хоть его нету, тоже ноет.

Р а х и л ь. Что пишет Марик? Что пишет Гарик? Чтоб мне было за их кости.

Р у з я. Слава Богу, все хорошо... Марик скоро должен получить квартиру, а Гарику я послала посылку.

Р а х и л ь. Злота, куда ты идешь?

З л о т а. Выйду на балкон, может, Виля надойдет.

Р а х и л ь. Сумасшедшая, хочешь простудиться... Ой, я железная, я уже не могу... Виля поругался с Макзаником, так он хочет уехать... Что я, виноватая?.. Я сказала, Макзаника не надо приглашать, а Злота хотела.

З л о т а. Ты все говоришь, как тебе выгодно.

М и л я. Этот Макзаник к юбилею прислал мне стихи... «Лично вас поздравить рад, должен вам признаться, что вам на вид не шестьдесят, а три раза по двадцать»... Так потом я выяснил, что Макзаник посылает эти стихи всем юбилярам, только меняет цифры... Так разве можно на него обижаться?..

Р а х и л ь. А что я говорю, на идиота нельзя обижаться... Так ведь Виля, Вилечка... Виля такой горький, как желчь... И нельзя сказать, Злота кричит... Он поругался с Макзаником, так он хочет уехать... А Злота плачет.

М и л я. Взрослый человек, а ведет себя, как мальчишка. Вы помните, как я однажды пришел с товарищем, а он был пьяный и ударил меня в глаз... Мало ли что бывает?..

Р а х и л ь. Это было в пятьдесят шестом году... Я хорошо помню.

М и л я. Так я с ним месяц не разговаривал, а он ходил за мной и просил прощения... Так как надо поступать.

Р а х и л ь. Ой, Боже мой... Чем дальше, тем нам труднее жить вдвоем... Две старухи... Если б уже найти какой-нибудь хороший вариант и поменять вашу комна-

ту и наши две на отдельную двухкомнатную квартиру с удобствами.

З л о т а. Я скоро умру, так тебе будет легче.

Р а х и л ь. Ша, Злота, вот Виля идет... Злота, нашлась твоя пропажа... Злота, ты сиди, я открою. *(Рахиль уходит и возвращается с Овечкисом, одетым по-столичному, в очках.)*

О в е ч к и с. Извините за позднее вторжение, мне нужен Вилли Гербертович.

Р а х и л ь. Кто?

О в е ч к и с. Вилли Гербертович.

З л о т а. Ну, Виля нужен... Он пошел погулять, заходите, пожалуйста, садитесь.

О в е ч к и с. Спасибо. Нас когда-то знакомил Бронфенмахер. Несколько лет назад, когда я сюда приезжал. Но я не знал, что вы родственница Вилли Гербертовича.

Р а х и л ь. Я помню... Вы у Были остановились?

О в е ч к и с. Да, у Были Яковлевны. Приехал в Киев в командировку, дай, думаю, навещу.

З л о т а. Хотите чаю?

О в е ч к и с. Спасибо, я чай почти не пью...

З л о т а. Что вы говорите?.. А я без чаю не могу...

Р у з я. Ой, я была в Москве, так там все ходят с собаками. Такие красивые собаки... В Бердичеве я не видела таких собак... У вас тоже есть собака?

О в е ч к и с. Есть.

М и л я. Я люблю немецкую овчарку. Боевая собака, может защитить хозяина. Ее стоит кормить... У вас овчарка?

О в е ч к и с. Нет, у меня доберман-пинчер.

Р а х и л ь. Как? Боберман-пинчер? Что ты скажешь, Злота? В Москве уже собаки имеют фамилии, как люди... У моего покойного брата была собака, так ее звали Шарик... Он с ней только по-еврейски говорил. Он ей говорил: «Шарик, штэл зех ин угол...» Значит, Шарик, становись в угол... Он шел и становился... По-русски он не понимал.

О в е ч к и с. Шарик вполне русское имя... Странно, что он понимал только по-еврейски. (Смеется.)

М и л я (смеется). Ну, теща, вы даете... (К Овечкису.) Ну, люди всю жизнь прожили в Бердичеве... А как вообще Москва?

О в е ч к и с. Стоит на своем месте.

М и л я. А как «Аннушка», как «Букашка»... Я имею в виду кольцевые трамваи.

О в е ч к и с. Скажу откровенно, я трамваем не пользуюсь, у меня машина.

Р а х и л ь. Там в Москве у многих машины... А как Вилля живет? Вы в Москве часто видите?

О в е ч к и с. К сожалению, мы в Москве не были знакомы... Действительно, нелепость: приехать из Москвы в Бердичев, чтоб познакомиться...

З л о т а. Вам про него Быля рассказывала?

О в е ч к и с. Почему Быля? Я в Москве о нем много слышал.

Р а х и л ь. А что случилось?

О в е ч к и с. Случилось? Именно случилось... Может быть, именно случилось... Поэтому мне и хочется познакомиться с этим человеком.

Р а х и л ь. Что-то я вас не понимаю! Он работает, у него хорошая зарплата? Мы же ничего не знаем, он нам ничего не рассказывает.

О в е ч к и с. Вилли Гербертович пользуется авторитетом в нашем кругу...

Р а х и л ь (*смотрит, выпучив глаза, подперев щеку ладонью, пожимает плечами*). Ну, пусть все будет хорошо.

З л о т а. Дай вам Бог здоровья за такие хорошие слова. Я всегда говорила, что люди лопнут от зависти, глядя на него. (*Плачет.*)

Р а х и л ь. Злота, что же ты плачешь? Ты же слышала, что все уже хорошо. (*К Овечкису.*) Вот так мы живем... Что делать, старые люди... Пенсионеры...

Р у з я (*медленно говорит, глядя перед собой*). Сейчас-таки много пенсионеров... Если бы я своими ушами не слышала и своими глазами не видела, я б никому никогда это не рассказала. Один лежал в больнице, так пришла комиссия и сказала, почему так много пенсионеров занимают койки.

М и л я. Я скажу честно: простому человеку, простому рабочему так плохо, пенсионер он или нет... Вот я на бюллетене... Придешь к завкому, так он тебя обругает, и ты уйдешь ни с чем.

Р у з я. Завком у нас так грубый. Я работаю в электромонтажном цеху уже десять лет, мой муж в отделе технической информации — уже двадцать лет, но что у завкома ни попросишь, он отказывает... Он говорит: откуда я возьму, что я, подоюсь?..

М и л я. Он так грубый.

Рузя. А если б вы видели жену завкома. Никто она, никто. Но она жена завкома. Пойдет в гастроном — самую лучшую колбасу, конфеты... Миля видел, какое мясо ей дали.

Миля. А он никому ничего не делает... Ну, пойдем, Рузя, уже поздно.

Рузя. Да, мы пойдем... Спокойной ночи. *(Уходят.)*

Овечкис. Я завтра утром уезжаю, а мне хочется познакомиться с Вилли Гербертовичем. Вы не возражаете, если я еще посижу?

Злата. Сидите, сидите... Может, вам включить телевизор? *(Включает.)*

Рахиль. Злата, только сделай потише, я хочу позвонить на почт. *(Набирает номер.)* Будьте добры, вчера вечером в половине двенадцатого позвонили из почты и сказали, что я два раза звонила по одному талону, номер восемьдесят четыре... Нет, дорогая моя, в половине двенадцатого я звонить не могла. Я ложусь после последних известий по телевизору, после передачи «Время»... Жалко шестнадцать копеек... А вейтек вам... Я вам не дам лишнее... Я пенсионер... У меня шестнадцать копеек — это один хлеб... Я позвоню начальнику... Что вы бросили трубку? *(К Овечкису.)* У вас в Москве тоже такие телефонистки? Ой, это ужас, что за телефонистка... Такой ужас, что нет примера... У вас тоже такие есть?

Овечкис *(улыбается)*. Всякие есть.

Злата. Вот, кажется, идет Виля. *(Входит Виля.)*

Виля. Дождь, но воздух хороший... Я обошел весь город, был за греблей... Оказывается, башню снесли... Город как без носа.

Р а х и л ь. Она девяносто лет стояла. Болячка на них...
Ее не могли снять, так военные ее взорвали.

З л о т а. Вот к тебе пришли.

О в е ч к и с. Очень рад познакомиться. Много о вас слышал в Москве, но странно, что встретились мы в Бердичеве... Овечкис Авнер Эфраимович...

В и л я. Очень приятно. *(Садится.)*

О в е ч к и с. Ну как вам Бердичев?

В и л я. Бердичев? *(Достает блокнот, читает.)* «Уездный город Киевской губернии на реке Гнилопяти. По переписи 1897 года 80 процентов евреев. Селение Беричиков, входившее в состав Литвы, упоминается в акте 1546 года. В 1793 году присоединен к России в качестве местечка Житомирского уезда Волынской губернии».

О в е ч к и с. Это словарь Граната?

В и л я. Да... Но вот я сейчас ходил в дождь, смотрел и думал... Я не был здесь пятнадцать лет, я ходил и думал, что есть Бердичев? И я понял, что Бердичев — это уродливая хижина, выстроенная из обломков великого храма для защиты от холода, и дождя, и зноя... Так всегда поступали люди во время катастроф, кораблекрушений, когда они строили себе на берегу хижины из обломков своих кораблей, во время землетрясений или пожаров, когда они строили хижины из обломков разрушенных или сгоревших зданий... То же самое происходит и во время исторических катастроф, когда людям нужно место не для того, чтоб жить, а для того, чтоб выжить... Вся эта уродливая хижина Бердичев человеку, приехавшему из столицы, действительно ка-

жется грудой хлама, но начните это разбирать по частям, и вы обнаружите, что заплыванные, облитые помятыми лестницы, ведущие к покосившейся двери этой хижины, сложены из прекрасных мраморных плит прошлого, по которым когда-то ходили пророки, на которых когда-то стоял Иисус из Назарета... В столичных квартирах вы никогда этого не ощутите.

О в е ч к и с. Все, что вы говорите, очень интересно и поэтично, день-два еще можно находиться здесь, в этой хижине, но потом хочется уйти, убежать, спрятаться. Во всяком случае, у меня такое чувство. Неужели вам не хочется обособиться от всего этого?

В и л я. Величайшее благо человека — это возможность личного обособления от того, что ему неприятно. А не иметь такой возможности — величайшая беда. Но личное обособление возможно только тогда, когда нация скреплена внутренними связями, а не внешними загородками. Русский может лично обособиться от неприятных ему русских, англичанин — от неприятных ему англичан, турок — от неприятных ему турок. Но для евреев это вопрос будущего. До тех пор покуда мы скреплены внешними загородками, а не внутренними связями, я не смогу внутренне обособиться от Макзаника.

О в е ч к и с. Кто это Макзаник?

Р а х и л ь (*из соседней комнаты*). Это один бердичевский дурак.

З л о т а. Рухл, ша... Дай людям поговорить...

В и л я. Одним из главных признаков всякой несамостоятельности, в том числе и национальной несамосто-

стоятельности, является придание чрезмерного веса чужому мнению. Отсюда панический страх перед тем, что о нас подумают в связи с тем или иным событием, что о нас скажут... Отсюда чисто мифологический страх перед детско-обезьяней кличкой «жид»... Этот страх — результат придания чрезмерного веса чужому мнению... Научиться пренебрегать чужим мнением — вот одна из основных национальных задач... Все достигшие исторической устойчивости нации в прошлом и настоящем поступали именно так.

О в е ч к и с. Говорите вы интересно, но не призываете ли вы к национальной ограниченности?.. Ведь мы с вами люди другой культуры, другого языка, другого мировоззрения...

В и л я. Можно отречься от своих идеологических убеждений, но нельзя отречься от собственного носа... И если идеологический перебежчик выглядит непорядочно, то национальный перебежчик ко всему еще выглядит и смешно. (Пауза.)

О в е ч к и с. Извините, но то, что вы проповедуете, мне глубоко чуждо... Мои родители были русские интеллигенты, мой дед был русский врач и лечил русских крестьян, за что был ими горячо любим... Я никогда не думал, что вы человек подобных взглядов... Проповедь национального обособления в сегодняшнем мире — это нелепость.

В и л я. Я ничего не проповедую... Я скорей не проповедую, а исповедую... Я считаю, что, покуда не будут восстановлены внутренние связи, не могут быть сломаны многовековые внешние загородки. Это все са-

мообман... А только когда будут сломаны внешние загородки, взойдет над нами и над народами, среди которых мы жили обособленно веками, взойдет общее солнце, и мы вместе позавтракаем крашеными пасхальными яйцами с мацой...

О в е ч к и с. Да, не ожидал, что вы человек таких взглядов... Мне всегда был чужд национализм... Но я надеюсь, что в Москве мы побеседуем менее сумбурно... Вот моя визитная карточка... Всего доброго.

З л о т а. Вы уже уходите?

О в е ч к и с. Пора... Всего доброго... *(Уходит.)*

Р а х и л ь. С этим ты тоже поругался? Что он тебе оставил за картонка? *(Читает.)* «Овечкис Авнер Эфраимович, доцент...» Духота в паровозе...

З л о т а. Почему он поругался? Я еще такого человека не видела... Ты же слышала, что этот доцент о Виле самого лучшего мнения... Он пришел и такое про тебя тут рассказывал, он говорит, что ты в Москве большой человек и он специально пришел с тобой познакомиться... Он таки умный человек?

В и л я. Он идиот...

З л о т а. Идиот? Как это идиот, когда здесь написано: доцент?.. Что значит идиот? Он о тебе такого хорошего мнения, а ты говоришь на него: идиот... Ты и Рахиль таки похожи.

Р а х и л ь. Мы таки с Вилей похожи... Это у Злоты все хорошие... Этот Овечкис приехал несколько лет назад, но я не хотела ему напомнить... Ин ди вайсе эйзеленх... В белых брючках... Да... Эпес а вейдел... Это какой-то хвост... Слышишь, это второй Макзаник, хоть он пи-

шется «доцент»... На Макзаника тоже говорят, что он инженер, а что он кончил?.. Он кончил в уборной и знает, извините за выражение... Что я, не понимаю?.. Для того чтоб писать стихи, надо кончить какие-нибудь хорошие институты, а он кончил Бердичевский техникум...

З л о т а. Ай, идут они все к черту... Давай включим телевизор и будем пить хороший чай с хорошими коржиками, с вареньем и пирогом... Хочешь чай?

Р а х и л ь. Что ты его спрашиваешь? Конечно, он хочет... Этот телевизор я взяла в рассрочку... Когда они тут жили, так Миля не давал Злоте смотреть телевизор.

З л о т а. Ты же хочешь поменять квартиру и опять вместе с ними жить...

Р а х и л ь. Ай, моя сестра, чтобы ты мне была здорова... Я железная, что я тебя терплю... Буду я с ними жить или не буду, еще посмотрим. Ты ж понимаешь, я люблю Милю... Виля, ты помнишь, как в сорок седьмом году Миля стал здесь в дверях (*поднимается, становится в дверях*) и сказал (*меняет голос под Милю*): «Теперь понятно, куда мои деньги идут. На кормление тетушки и племянника...» (*Опять садится к столу.*) Ты помнишь? Ты тогда маленький был... Ой, вэй з мир...

З л о т а. Рухл, дай спокойно попить чаю. Миля теперь сильно изменился к лучшему.

Р а х и л ь. Да, он изменился... Он должен лежать парализованный и спрашивать, что делается на улице. (*Смеется.*) Слышишь, он и Рузя неделями не разговаривали между собой... Сейчас они пришли вместе, а

на прошлой неделе они не разговаривали... Они не разговаривают, а спят вместе. (Смеется.)

З л о т а. Какой он ни есть, а Рузя его любит.

Р а х и л ь. Ой, ди шмоте кер цы дым тухес... Слышишь, Виля, эта тряпка от этой задницы... Если я скажу, так это сказано... Здесь лет восемь назад был праздник в День Победы... Так Маматюк, что он уже лежит в земле, пусть себе лежит на здоровье, так этот Маматюк начал кричать, что в братской могиле лежат все нации, кроме жидов... Так я ему дала — «жиды», он синий стал... Тогда Овечкис, что он приходил сейчас спорить с тобой, и Бронфенмахер, что он хотел носить через меня помои, и Быля, что она дует от себя, сказали на меня, что я скандалистка...

З л о т а. Давай лучше смотреть телевизор... Слушай, этот артист что-то так кричит...

Р а х и л ь. Когда этот артист приходит домой, так ему болит в горле. Правда, Виля? Ой, это тяжелая работа...

З л о т а. Что это за передача, Виля?

В и л я. Это Шекспир... Гамлет...

З л о т а. Смотри, какая рыба на столе?... (Смеется.)

Р а х и л ь. Ах, я б кушала кусок рыба.

З л о т а. Как это все составляют? Наверно, выкручивают себе голову. (Смеется.)

Р а х и л ь. Хорошая кастрюля... Тебе эта передача нравится, Виля?

В и л я. Нет.

Р а х и л ь. Ну, давай переключи на последние известия... Хороший телевизор... Миля думает, что я

ему дам этот телевизор... Я ему могу дать от раввина яйца...

З л о т а. Боже мой, какие выражения, мне темный стыд за твои выражения... Ты таки большой грубиян.

Р а х и л ь. Ничего, пусть я буду грубиян... Я ему могу дать, ты ж понимаешь... Нет, буфет я им обещала и этот шкаф, но свою кровать я им не дам... Ой, моя кровать, она стоит миллионы, когда я в нее ложусь... Я им достаточно давала, и это все равно что ничего... Они все равно неблагодарны... Было время, когда они жили у его мамы, болячка ее отцу, где он лежит в земле перевернутый...

З л о т а. Ой, вэй з мир. (Смеется.)

Р а х и л ь. Да... Так им было далеко ходить на обед с завода... Так мы им варили здесь обед... Так Злота ему подала, так он ей сказал: «Не подавайте, мне противно, когда вы подаете...» Что ты смеешься, Злота... А сейчас они с Рузей пришли, и Миля был такой голодный, я же видела... Но что значит голодный, он бы съел лошадь... Но я ему ничего не дала. И всегда, когда он придет, у меня для него стол будет голый, как задница без штанов...

З л о т а (смеется). Это с первого дня так... Они друг с другом воюют уже двадцать семь лет... Ты помнишь Рузина свадьба?

В и л я. А где Пынчик?

З л о т а. Ой, что ты вспомнил про Пынчик?... Пынчик таки был на Рузиной свадьбе.

Р а х и л ь. Что мне этот Пынчик? Я его в моей жизни, может, три раза видела... Кто он мне такой? Тройродная пуговица от штанов...

З л о т а (*тихо*). Про Пынчик нельзя говорить, он уехал в Израиль со всеми детьми... Когда ты его видел на Рузиной свадьбе, после фронт он был майор... А потом он уже был полковник и в Риге имел хорошая квартира. Так он все бросил и куда-то поехал...

Р а х и л ь. Ай, что мы будем про него говорить... Я про него не думаю, даже когда сижу в уборной... Пусть едет... Я никуда не еду... Пусть едут те, у кого большие деньги... Я люблю Бердичев... Ой, вэй з мир... (*Вздыхает.*) У меня есть моя пенсия от советской власти.

З л о т а. Ой, смотри-но, смотри по телевизору... Что это так много людей?.. Что, они что-то покупают?

В и л я (*смеется*). Это митинг показывают... Борьба за мир...

Р а х и л ь. Борьба за мир... А что нового говорят в Москве? Раньше говорили: в Москве есть три знаменитых еврея. Один молчит, другой говорит... Нет, не так... Один пишет, второй говорит, а третий молчит... Пишет Илья Эренбург, говорит диктор Левитан, а молчит Каганович... Что ты думаешь, я не понимаю, я елд?.. Я в партии с двадцать восьмого года... Я еще помню, как писали в газете: Ленин, Троцкий, Луначарский строят мир по-пролетарски...

З л о т а. Завтра на рынке надо купить два свежих бурачка, я хочу варить борщ.

Р а х и л ь. Споц с тобой... Ты мне не говори, что покупать, я без тебя знаю.

З л о т а. Так она не дает мне рот открыть... В Средней Азии я была здоровая, так я сама ходила на рынок... Я помню, там был Куриный базар, Капан базар... Когда

я подходила и спрашивала: нич пуль, мне отвечала: бир сум... Так я говорила: их зол азой высын фын дир... Чтоб я так про тебя знала. (Смеется.) Ой, Виля, в Средней Азии ты сказал, что хочешь винегрет... Я взяла карандаш и подсчитала, сколько стоят бурочки, и морква, и огурцы, и постное масло, и соль, и все вместе. И получилось, что винегрет должен был стоить пятьсот рублей. Разве себе можно было такое позволить? Но завтра я тебе сделаю хороший винегрет...

Р а х и л ь. Вот уже кончились последние известия, уже спорт. Вот уже эта женщина вышла рассказывать про спорт. Когда никого нет, мы двое, и она выходит рассказывать про спорт, или еще мужчина есть, что он рассказывает про спорт, мы выключаем телевизор и ложимся спать... Спорт меня не интересует, а завтрашнюю погоду я увижу в окно... Смотри, Злота, она в той же самой кофточке... Больше она не имеет.

З л о т а. Эта вот, что она говорит про спорт, похожа на Марикину Надю. Я к Марикиной Наде ничего не имею. И к Гарикиной Наде тоже ничего не имею.

Р а х и л ь. Все наши невестки из села, крестьянки. Ни одной, чтоб отец ее был доктор. Ах, лучше бы уже Гарик женился на Лушиной Тинке. Ты знаешь, Виля, где теперь Лушина Тинка? В аспирантуре в Москве. Мама у нее сволочь, паршивая уборщица, имела Тинку от немца, а Тинка в аспирантуре. И какая она красивая, если б ты видел... Гой все годы имеет счастье.

З л о т а. Я к Марикиной Наде ничего не имею. Она очень вежливая дама.

Р а х и л ь. Дама... А гое... Крестьянка из села...

З л о т а. Ну так что такое, она из хорошей семьи... Отец у нее очень хороший... Его зовут Иван Иванович. Когда он тут был, он сидел со мной и говорил. Он рассказал мне свою автобиография... Когда он был маленький ребенок, их было восемь детей, и его отдали пану служить во двор. Он был батрак. Потом, когда началась революция, ему уже было двенадцать — тринадцать лет. Он поступил в комсомол, но не знал ни одной буквы. Его отправили на железную дорогу. Он был способный. Его выдвинули. Он получил два ордена Ленина. И сказал: когда у меня будут дети, они получат высшее образование.

Р а х и л ь. Злота, не говори с полным ртом... Сидеть с тобой за столом, так может вырвать... У тебя все падает изо рта...

З л о т а. Ну вот так она рвет от меня куски.

Р а х и л ь. Ты слышишь, я рву от нее куски. Злота же в раю, и это для нее ровным счетом ничего. Я с астмой таскаю те еще сумки, я все заношу. Или Рузя приносит, когда у Рузи есть время... Злота в раю, ей все заносят в дом, но она это не признает, ей еще не нравится, она еще устраивает мне скандалы: почему я плохо покупаю? Почему дорого?.. Иди сама на рынок...

З л о т а. Ну вот так она на меня наговаривает... Я такая больная, я уже не могу работать... Я уже еле хожу... (Плачет.) Здесь в квартире у меня ничего нет. Я только имею швейную машину, и эти два стула мои, и кровать, и за полшкафа я заплатила. А холодильник ее, телевизор ее. Мне неудобно смотреть телевизор, я не имею, откуда дать ей за телевизор половину.

Р а х и л ь. Сумасшедшая... Что я, Миля, что он закрывал перед тобой телевизор... Я тебе что-нибудь говорю? Смотри себе на здоровье... Ой, Виля, я железная, что я от нее выдерживаю. Можно ведь прожить тихо, мирно эти немножко лет, что остались... Что бы ни было, Виля, но лишь бы ты любишь свою квартиру и свою жену... Я свою квартиру люблю, а свою жизнь я не помню. *(Вздыхает.)* Злота, ты знаешь, кто мне этой ночью снился? Цолек Мардер мыт ды крysteme фис... Цолек с кривыми ногами, что он был директор торгсина в двадцать пятом году... Почему он мне приснился? Когда я сижу в уборной, я про него не думаю. З л о т а. А мне в прошлую ночь Фаня приснилась, что она повесилась в день Рузиной свадьбы. Ты помнишь, Виля? Ее муж был гой. Он ее очень бил. Сначала он ее прятал от немцев, он ее спас, а потом он ей кричал «жидовская морда», и бил, и детям кричал «жиды». Но его тоже нет. Он ехал на мотоцикл и убился к черту.

Р а х и л ь. В день свадьбы, когда она повесилась, он прибежал голый по снегу, с ребенком на руках... Этот ребенок уже в армии. А Зоя, Люсина подруга, не за еврея замуж не хотела выйти. Тут один хороший парень за ней ухаживал.

З л о т а. Эта Фаня стоит мне перед глазами... А Стаська, ты помнишь, полячка снизу... Так пришли и ее арестовали... Она жила на чердаке, потому что квартиры у нее не было... Где-то она далеко выслана.

Р а х и л ь. Ой, что я буду про нее думать. Если мой муж лежит в земле, и младший брат наш Шлойма в земле, и Вилины родители в земле, и Сумер в земле...

Ой, Сумер... Теперь уже можно рассказать... Тут был Перель, председатель артели, так он Сумера не любил, потому что Сумер знал, что этот Перель берет взятки... Ничего... Так когда Переля сняли, Сумер купил веночек и ночью поставил его возле Переля дома. Перель вышел из дома и видит веночек и надпись: «Вечная память Арону Михайловичу». (Смеется.)

ЗЛОТА. Ой-ой-ой...

РАХИЛЬ. Что такое?

ЗЛОТА. Что-то мне стрельнуло в голову...

РАХИЛЬ. Ой, Виля, я железная... Злота, что ты держишься за голову?.. Ты мне не делай номера... Ты же видишь, что от человека ничего не остается. (Вздыхает.) Только запах, если он полежит лишний день...

ВИЛЯ. А Луша где работает?

РАХИЛЬ. Черт ее знает, где-то уборщицей.

ЗЛОТА. Луша кормит коза. Я ей всегда собираю лушпайки от картошки.

РАХИЛЬ. Злота ей собирает лушпайки, а она Злоте кричит: ты труп, и ко мне бежит с палкой и кричит: жиды... А потом она приходит мириться и говорит, что она за меня молится в церкви... Вчера она подошла ко мне во дворе, обняла меня и говорит: я больше не буду с вами спориться, в городе говорят, что вы хороший человек... Я ей отвечаю: ко мне цепляться может только сумасшедший... Она мне говорит: Рахиль, я за твоё здоровье буду молиться в церкви, потому что за врага полагается по нашей религии молиться. А я ей говорю: я в Бога не верю... Я только верю в день рождения и в день смерти.

З л о т а. Что значит она бежит к тебе с палкой... Надо вызвать милицию.

Р а х и л ь. Мне милиция не нужна, я сама милиция. Все годы я сама себя защищала. Только от детей своих я не могла себя защитить. Рузя, когда она была беременна Мариком, порвала на мне рубашку, а Гарик, когда он хотел жениться на Тинке, порвал на мне халат. А больше никогда в своей жизни я порванного белья не имела. А Быличка, что ее муж имеет все буфеты на железной дороге, когда приходит к Злоте мерить и раздевается, так у нее порванное белье. Ей на белье не хватает, такая она вонючая...

З л о т а. Она только хочет, чтоб я спорила с Былей. Кто у нас еще остался? Мало мы пережили?.. Ты помнишь, когда был погром, а мы лежали под стенкой и прятались от эти красные колпаки, и деникинцы, и другие бандиты. Тогда бомб не было, но были пули... Ой, и куска дров нельзя было достать, мы не топили, но мы все были здоровые и молодые. У папы нашего были большие ботинки, я их одела и пошла искать дрова и хлеб... Ты помнишь дедушку?

В и л я. Помню.

Р а х и л ь. Ой, когда он умирал в Средней Азии, так он был доволен, что земля эта, где он будет лежать, похожа на Палестину... Он был религиозный.

З л о т а. Пекари, которые пекли тогда хлеб, были бедные, а стали богатые, потому что хлеб стоил дорого. Даже у кого был капитал, тоже не имели где купить... Я взяла мамин платок и поменяла его на полный мешок пшено... Шлойма наш, что его потом убили на фронт в

сорок втором году, был самый меньший, маленький... Но на Песках был лес, назывался «маленький лесочек», и мы ходили все и рубили ветки, и Шлойма тоже ходил. Но мы все боялись красные колпаки. Это такие бандиты. Кроме красные колпаки, они еще пелерины носили... Это было в восемнадцатом году. Мы слышим крики, открываем ставни, смотрим: напротив вышли красные колпаки, грабили... А на другой день опять менялась власть.

Р а х и л ь. Злота, не кричи так. У тебя железный голос.
З л о т а. Ну, она не дает мне слова сказать... На Пылепылер гос, на Белопольской улице, потом на Малой Юридике, за греблей и всюду люди бегали и кричали: гвалт! Но когда вошли поляки, они резали евреям половину бороды... Все евреи ходили с половиной бороды. (Смеется.) Они хотели обрезать папе борода, я начала кричать, и поляк не обрезал, но ударил меня нагайкой... Во всем городе Бердичеве был гвалт. Этой ночью очень много убивали людей... Были богачи, что они имели деньги и удрали в Киев. Но там тоже был погром, и их всех убили в Киев. Но когда у нас наверху, там, где мы жили, был Совет рабочих и крестьянских депутатов, тогда легче стало, укрепились немного власть. Туда без мандата не пускали. Там были Фаня Ниренберг и Котик Ниренберг... Ну, его звали Котик, такое имя... Они были большие богачи, а потом стали большевики. И были Стадницкие, три сестры. Их отец держал на Житомирской фирму «Гуталин». Одна была эсерка, одна большевичка, а одну убили... Ой, как они выступали на собрании... Я по целым дням сидела на

собрании, мне было интересно все знать... Меня пропускали. Когда появился Совет рабочих и крестьянских депутатов, так уже стало немного тихо.

Р а х и л ь. Как Христос с фэрц, так она со своими историями. (Смеется.) Ты знаешь, что такое фэрц, Виля? Это когда кто-нибудь навоняет.

З л о т а. А почему нельзя это рассказывать? Что я, анекдоты рассказываю? Я это видела своими глазами.

Р а х и л ь. Я всю жизнь не любила анекдоты... Ты в Москве рассказываешь анекдоты?

В и л я. Рассказываю.

Р а х и л ь. Рассказывай, рассказывай, так ты останешься без куска хлеба... Я анекдоты не любила, но что ты думаешь, я елд, я ничего не понимаю?.. Тут у нас был в Бердичеве Свинарец, секретарь горкома, что когда была реформа в сорок седьмом году, он покрыл долг старыми деньгами, чтоб не отдавать новыми. Так теперь он на пенсии. Ты бы видел, какой у него двухэтажный дом, какая мебель из Чехословакии. И сыну он построил дом. А Ленин тащил из карманов куски хлеба и ел их... Кабинет у Ленина был красивый, но что было в этом кабинете? Он и кошка. Когда Ленин лежал больной, так Крупская читала ему детские сказки... Что ты думаешь, я глупая, я не понимаю?.. Я помню, что делалось здесь в двадцать девятом году во время коллективизации. И когда в тридцать седьмом году Капцана должны были арестовать, так он быстро уволился с работы и уехал в Чуднов. (Звонок в дверь.) Что это еще за сумасшедший идет? Злота, ты сиди... Я всегда боюсь, что она пойдет открывать дверь и зацепится и себе что-нибудь побьет.

В и л я. Я открою. (*Идет и возвращается с мальчиком, который держит в руках лист бумаги.*)

Р а х и л ь. Вусы, ингеле? Что такое, мальчик?

М а л ь ч и к. Подпишите.

Р а х и л ь. Что такое я должна подписать? Я ничего не подписываю.

М а л ь ч и к. Подпишите... Свободу патриотам Испании.

Р а х и л ь. Что, что? Что-то я не понимаю.

В и л я (*смеется*). Ты должна подписаться, чтоб из испанских тюрем выпустили патриотов.

Р а х и л ь. Так у вас в Москве тоже ходят такие мальчики? У нас первый раз... Кто тебя послал, мальчик?

М а л ь ч и к. Учительница.

Р а х и л ь. И мама тебя пускает так поздно ходить?

М а л ь ч и к. Я не успел днем собрать все подписи, я был на тренировке. Мне надо три дома обойти.

Р а х и л ь. А шейн ингеле... Красивый мальчик... Как твоя фамилия?

М а л ь ч и к. Иванов.

Р а х и л ь. Ой, это же твой дедушка работает в промкооперации заготовителем скота. (*Смеется.*) Это Хаима Иванова внук. Виля, я тебе про них рассказывала, про эту семью... Это про ту, что приехала с курорта.

З л о т а (*подходит с паспортом*). Я когда-то сама ходила на участок, а теперь мне ноги болят. До войны я в шесть часов утра уже была на участке.

Р а х и л ь. Куда ты идешь с паспортом?.. Ты думаешь, это выборы?

З л о т а. Как, это не голосование?

Рахиль (*смеется*). Она привыкла... Ей все заносят домой... Даже бюллетень по голосованию ей заносят домой и коробку, куда его надо бросить... А если бы ты жила при капитализме, об тебе бы никто не заботился. Ты сама должна была бы идти на голосование.

Злота. Смейся, смейся... Я такая больная... Я ходила на выборы, в шесть утра я уже была на участке, а теперь я не могу...

Рахиль. Нет, что-то мне эта история не нравится... Я пойду во двор к Дуне узнать, или она подписала.

Злота. Мальчик, на тебе коржики.

Мальчик (*берет коржики*). Спасибо, бабушка...

Злота (*обиженно*). Почему я бабушка? Я тетя. Что ты мне говоришь «бабушка»! Я тебе дала коржики, а ты мне говоришь «бабушка».

Рахиль (*Виле*). Вот ты имеешь... Ой, от нее невозможно выдержать... Мальчик, идем, я у соседей узнаю... Если они подписали, так и я подпишу... Идем... (*Уходят.*)

Злота (*смотрит фотографию на своем паспорте*). Ой, здесь фотография моя, может, лет двадцать назад. Я очень постарела. (*Плачет.*) Я ничего не могу кушать. Что бы я ни покушала, мне кисло во рту... Ой, если б ты мне не помогал и если б не Рахиль, я б давно была на том свете... Рахиль очень хорошая, но она слишком быстрая...

Виля. Когда она тебе покупает, как и раньше, берет лишнее?

Злота. Сколько она там берет?.. Пятнадцать — двадцать копеек... (*Смеется.*) Она иначе не может...

Иногда она мне одалживает деньги и хочет заработать на своих собственных деньгах... Колбаса стоит два пятьдесят, она говорит: два шестьдесят... Или за маргарин берет с меня лишние пять-шесть копеек... Она должна выгадать, это ей нравится... Но это же моя единственная сестра, пусть она получает удовольствие, на здоровье... (Смеется.) Она думает, что я не понимаю, сколько стоит колбаса...

Возвращается Р а х и л ь.

Р а х и л ь. Я таки не подписала... Пусть Дуня подписывает, пусть все подписывают... Откуда я знаю, что это за патриоты Испании? Пусть с этой бумагой придет кто-нибудь из исполкома, тогда я подпишу... Что ты смеешься, Виля?

В и л я. Я не смеюсь. (Смеется.)

Р а х и л ь. Смейся, смейся надо мной... Ты хойзекмахер... Насмешник... Над всеми он смеется... Смеется над Рузей, смеется над Люсей, над Петей, над Марином, над Гариком, над Аллой, над Ладой...

З л о т а. Боже мой, Боже мой, она уже опять хочет крики...

Р а х и л ь. Ша, Злота, какие крики... Кроме тебя, здесь никто не кричит... Виля, что ж ты не пьешь чай? Покушай что-нибудь...

В и л я. Я не голоден...

Р а х и л ь. Не хочешь, так не надо...

З л о т а. Он устал. Иди спать, Виля... Сделать тебе на утро котлеты из куриного бейлека?

Р а х и л ь. Разве он знает, что такое бейлек?

В и л я. Знаю. Я ведь еврей. Бейлек — это белое мясо курицы.

Р а х и л ь. Ой, он таки знает... Ты иногда берешь в столовой котлеты? Ой, я люблю котлеты из столовой.

З л о т а. Фэ, они же делаются из свиной...

Р а х и л ь. Ну, я не религиозная...

З л о т а. Я тоже не религиозная, но свиное мне воняет в нос...

Р а х и л ь. Виля, а про что ты говорил с этим Овечкисом? Что-то я не поняла.

З л о т а. Что ты вспомнила, он хочет спать... Идут они все к черту.

В и л я. Про что я говорил? Я говорил, что вы свой бердичевский дом сами себе сложили из обломков библейских камней и плит, как бродяги складывают себе лачуги из некогда роскошных обломков автомобилей и старых вывесок... А Овечкис живет в чужих мебелированных комнатах... Но скоро весь Бердичев переедет тоже в мебелированные комнаты, а библейские обломки снесут бульдозерами...

Р а х и л ь. Так вы про квартирный вопрос с ним говорили?

В и л я. Что-то в этом роде... По сути, про квартирный вопрос.

Р а х и л ь. Ты таки прав. Я таки хочу переехать. У меня нет сил таскать ведро с помоями по лестнице... Так Злота рвет от меня куски... Она говорит, что она хочет здесь умереть...

З л о т а. Ай, вечно она хочет меня плохо поставить перед людьми...

Р а х и л ь. Ша, Злота, закрой пасть... Ты же видишь, Виля спать хочет...

З л о т а (вздыхает). Ой, вэй з мир...

Р а х и л ь (вздыхает). Ой, вэй з мир... Каждый день имеет свою историю... Я тебе скажу, Виля, что год для меня прожить не трудно. Год пролетает, и его нет... А день прожить очень тяжело. День так тянется, ой как он тянется... И после каждого дня я мертвая... Спасибо моей кровати, она стоит миллионы... Я мою кровать никому не отдам... Ой, дыс бет...

З л о т а. Что ты ему говоришь, ты видишь, у него слипаются глаза. Виля, иди спать.

Виля уходит.

Р а х и л ь (выключает телевизор). Давай, Злота, подсчитаем, сколько я тебе денег потратила... Что ты вздыхаешь? Что тебе плохо? На улицу ты не ходишь. Тебе даже коробочку спичек в дом заносят...

З л о т а. Рухл, перестань меня грызть...

Р а х и л ь. Ша, Злота, голос, как у грузчика... Виля ведь лег спать... Чтоб ты онемела...

З л о т а. Она делает меня с болотом наравне...

Р а х и л ь. На рынке все так дорого, и вообще все так дорого, так я виновата. Вот сейчас я начну подсчитывать, ты опять начнешь кричать: гвалт.

З л о т а. Говорит, и говорит, и говорит... Цепляется и цепляется...

Р а х и л ь. Ша... Значит, пишем: мясо — два рубля сорок пять копеек, огурцы — шестьдесят, капуста — пятьдесят, морковь — пятнадцать, бурак — двадцать,

редька — десять, резка петухи у резника — двадцать пять копеек... Имеем четыре рубля двадцать пять копеек... Это на рынок... Потом магазин: колбаса — два шестьдесят, сегодня колбаса дороже, масло — один рубль пять копеек, маргарин — восемьдесят шесть, сыр — семьдесят, хлеб — тридцать две, молоко — двадцать шесть. Имеем пять семьдесят девять... На, проверь... За ситро я у тебя не беру... На, проверь...

З л о т а. Зачем мне проверять, у меня нет времени проверять... Я хочу сделать на утро фарш для котлеты... Р а х и л ь. Дай лучше я быстро сделаю... Я не могу смотреть, как ты поцяеся и поцяеся возле мясорубки...

З л о т а. Я не люблю мясорубку, котлеты не сочные, я буду мясо рубить секачом....

Р а х и л ь. Хочешь рубить — руби... А на первое свари бульон из гуся... Крылья, пулки, лук, морковочка, немного фасоли... Все есть... Что, тебе не нравится, какой гусь я купила? Чтоб я имела такой год, какой это гусь.

Злота идет на кухню, там слышен грохот.

Р а х и л ь (*испуганно вскакивает, бежит на кухню*). Тьфу на твою голову, на твои руки и ноги, как ты меня перепугала. Ты если не разбиваешь что-нибудь, так сама падаешь. Я тебя боюсь одну оставить дома.

З л о т а (*ее голос слышен из кухни*). Где бы взять еще, чтобы мне было пятьдесят лет, так я бы лучше ходила...

Р а х и л ь. Сделай меньше огонь...

З л о т а. Куда ты сыпешь соль? Ой, я думала, это соль...

Фридрих Горенштейн

Рахиль. Что за тряпку ты надела на голову? Вус ыс фар а шмоте?

Злата. Мне болит голова.

Рахиль. Бынд дым тухес... Когда болит голова, завязывают задницу... У меня астма, но я таскаю на лестницы каждую сумку, что дым идет...

Злата. С тобой стоять за плитой, лучше умереть... Я такая больная, что нет примера. *(Входит в темную комнату с перевязанной полотенцем головой, берет стаканы со стола и опять уходит на кухню.)* Мне надо в фарш немного молока и булку... Я всегда так делаю...

Рахиль. Ты делаешь, а Бог чтоб помог прекратить твои крики...

Злата. Смотри, молоко не свежее, а булка как камень...

Рахиль. Злата, ты, наверное, хотела бы, чтоб здесь, в квартире, стояла корова и жил пекарь. *(Смеется.)*

Злата. Эцем-кецем... Рухл, перестань ко мне цепляться... Цепляется и цепляется, как мокрая рубашка к заднице...

Большая комната — темная и пустая. Свет падает только из кухни, откуда доносятся голоса сестер.

Ползет занавес

Москва 1975

ИСКРА

1

Киносценарист Орест Маркович Лейкин ехал на своем автомобиле «Запорожец» забрать из школы сына, восьмилетнего Антошу. «Запорожец» последней конструкции был куплен недавно, но уже барахлил, мотор тарахтел, точно в него насыпали гвоздей. К тому ж видимость была ужасной и дорога скользкой, что неудивительно для холодного, сырого московского октября... Впрочем, был уже ноябрь, первое число и до праздников четыре дня, потому что уже четвертого никто работать не будет, начнется суeta и одновременно какой-то праздный покой, приятная предпраздничная обломовщина, а все дела будут откладывать на «после праздников».

В этом году долго стояла теплая зелено-золотая осень, однако девятнадцатого октября ночью внезапно ударил мороз, и листья, многие еще зеленые, не успевшие пожелтеть, дождем начали опадать с деревьев, устилая землю. Это было не увядание, а гибель, и листья не опадали, кружа, а падали тяжело, без опьяняющего сухого запаха, сопровождающего золотой осенний листопад. На следующий день, двадцатого

октября, к вечеру повалил снег, и, поскольку на деревьях еще осталось много листвы, ветви начали гнуться и многие ломаться. Снег, правда, пролежал недолго и вскоре растаял.

«Вот так и излишне молодящийся человек, — подумал Лейкин, вспоминая октябрьский листопад. — Надо готовить себя к старости постепенно. Если же молодиться, худеть, вести молодую жизнь, а время будет идти своим чередом, то с человеком может случиться то же, что и с деревьями, вовремя не сбросившими листву и не подготовившимися к зиме».

Школа, где учился Антоша, располагалась в новом микрорайоне, из давно уже взявших старую Москву в глухое кольцо, отгородивших ее от подмосковных лесов и полей. Стоило лишь отъехать от центра, как начинались и бесконечно долго тянулись окраины, так что, по сути, Москва в основном состояла из окраин или, как говорили, мест массового заселения. В нижних этажах стандартных девятиэтажных домов из кирпичных блоков или шлакоблоков во всю длину первого этажа размещались магазины. Продольная надпись из литых букв — «Продукты», такая же надпись сверху вниз, перпендикулярно, бывает часто на торце зданий. С противоположного же торца надпись поменьше, красными или зелеными — «Вино». И повсюду еще много месяцев после заселения было не убрано, лежали кучи мусора и не было удобных дорог. Но зато было зелено, просторно, и у околиц микрорайона начинались лесопарки, кое-где переходившие в леса. А зимой было много снежной

целины для лыжников и снежных горок для детских санок.

Орест Маркович, припарковав «Запорожец» у почты, через дворы пошел к школе, подняв воротник кожаного пальто, прикрываясь от ветра. Осенью и ранней весной, конечно, лучше в городе, то есть в центре, среди обжитых улиц и тесно стоящих старых домов. Здесь же непогода бушевала вольно, как в поле. Эта Москва представлялась Оресту Марковичу советским подростком, не имеющим памяти, среди этой Москвы трудно было себе представить Чехова или Ленина.

Орест Маркович часто думал об этих двух личностях, меж которыми находил внутреннюю связь. Когда за год до революции Ленина спросили: «Сколько вам лет, Владимир Ильич?» — он ответил: «Я старик, старик. Мне сорок шесть лет». Это, конечно же, чеховская фраза из «Чайки». А ведь «Чайка» пьеса салонная, семейная, написанная на некоем местном наречии определенного узкого круга. Сталин политически, а Маяковский эстетически исказили ленинский образ, поставили во главе страны Лжевладимира, и наш долг восстановить законного Ленина, ибо то, что Ленин жив, — не пустая фраза, и от того, какой Ленин будет стоять во главе страны, зависит судьба народа. Лейкин остановился, вынул блокнот и записал понравившиеся мысли. «И так ли уж важно сегодня, какой был Ленин в действительности. Это было важно для его современников, а для нас он жив сегодня как художественный образ, от которого зависит судьба народа. Поэтому сталинисты создают свой художественный образ, а

мы, демократы, должны создать свой. Те же, кто объединяет Ленина и Сталина, особенно за границей это модно, лишь укрепляют сталинизм внутри страны».

Конечно, не все в этих мыслях Лейкина было вполне легально, но намеки и подтексты вполне могли быть использованы в легальных очерках и легальных сценариях. В этом Орест Маркович убедился, став лауреатом ленинской премии женского пола, то есть лауреатом премии имени Крупской, за свой сценарий для юношества «Субботник». Речь шла не о кремлевском субботнике, а о семейном рукописном журнале, который маленькие Ульяновы издавали под руководством матери своей Марии Александровны. И вот теперь, после «Субботника», Лейкин приглашен для участия в закрытом конкурсе, посвященном супругу Надежды Константиновны. Так Лейкин иронизировал в кругу друзей, но не над супругами Лениными, к которым относился серьезно и с волнением, а над самим собой.

Лейкин считал, что единственной фигурой, способной эффективно бороться со Сталиным, был Ленин и то небольшое, что было сделано во время «оттепели», совершилось ленинским именем. В последний год своей жизни Ленин писал, пока еще мог писать, что он готовит под Сталина бомбу. Бомба оказалась невзорванной. Смерть помешала Ильичу высечь искру, нужную для воспламенения сталинизма, как он высек искру для воспламенения царизма... Вот тема сценария. Поймет ли Юткин?»

Юткин был кинорежиссер и соавтор Лейкина. Юткин Лейкина утомлял, и когда он размышлял, сидя про-

тив Лейкина, то тому казалось, будто в чугунной, поросшей курчавым волосом голове соавтора тяжело ворочаются камни-жернова, а он, Лейкин, рабочая лошадь, вынужденная ходить по кругу и вращать эти жернова, чтобы они мололи юткинскую мысль. Впрочем, иногда этот тяжелый труд даже приносил удовлетворение и из юткинской мельницы являлось нечто свежее и упругое. Хоть такие моменты скорей напоминали рыбную ловлю, а не мельничный процесс. Ловлю лещей, которых сам по себе Лейкин, при всей своей «моцартовской легкости», не схватил бы. Так они и работали вместе, чаще перемалывали чужое: первоисточники марксизма, воспоминания, дневники, протоколы, и в этом труде Лейкин был потной рабочей лошадью, вращающей жернова в голове Юткина. Но иногда охватывало вдохновение, и тогда рыбачили. Лейкин был крючком, а Юткин грузилом, без которого рыбку не поймать. Талант ли так отличал соавторов — Лейкина и Юткина,— ум ли, трудно понять, но темперамент уж точно. А темперамент человека более других его качеств связан с происхождением. Так, у многих астраханских русско-калмыцких полукровок можно было заметить веселый ленинский блеск хищника в раскосых глазах, и у многих мелитопольских мещан такие же, как у Юткина, большие, сильные, травоядные тела, напоенные соком сладких мелитопольских помидоров и арбузов. Ну а Лейкины были «те самые Лейкины», «из тех самых Лейкиных», которые занимали видное место в российско-литературной жизни конца прошлого века. Над письменным столом Ореста Марковича в его кооперативной кварти-

ре висела репродукция с карандашной зарисовки Николая Чехова, старшего брата Антона Павловича, — «Гуляние первого мая 1882 года в Сокольниках». На этой картине сам Антон Павлович — пухленький, круглолицый, с едва заметной бородкой и букетиком цветов в руках. А рядом, среди других лиц, прадед Ореста Марковича А. П. Лейкин, издатель знаменитого журнала «Осколки». Журнала, в котором сотрудничал Антоша Чехонте. А. П. Лейкин протезировал молодому Чехову и помог ему опубликоваться в «Петербургской газете». В семье Лейкиных хранилось письмо Чехова к прадеду: «Насчет «Петербургской газеты» отвечаю согласием и благодарственным молебном по вашему адресу. Буду доставлять туда рассказы аккуратней аккуратного».

Таким образом, Орест Маркович был в тени своего прадеда, а прадед в тени Чехова. И к Ленину Орест Маркович пришел через Чехова, ибо Лейкин считал Ленина чеховским персонажем. Каким? В нем было от разных, что-то от Астрова, что-то от дяди Вани... Он был несчастен в любви, и его всемирный псевдоним навеян несчастной любовью. Тургеневской любовью. Любовью на приволжских бульварах, как в пьесах Островского. Ему было семнадцать, ей двадцать три... Это была первая любовь, и она была отвергнута. Потом его любовь отвергла другая женщина, подруга жены, Надежды Константиновны. А его последнюю любовь отняла могила...

Он умел любить, но он умел и ненавидеть, умел наслаждаться своей ненавистью не хуже фон Корена из чеховской «Дуэли».

Нет, Орест Маркович не заблуждался, не идеализировал, он читал достаточно книг из «спецхрана», читал меньшевиков, эсеров и прочих ленинских недругов. Но даже если они в чем-то правы — это правда мертвых. А Ленин живее всех живых, ясный и понятный. Как сказал один из его недругов: «Он объяснил мне, почему я с ним не согласен». В этом бы направлении подумать, в этом бы направлении сосредоточиться. Но уже перебивали, уже не давали думать. Прямо по снежной целине, загребая валенками снег, бежал к отцу Антоша, весело, беззаботно крича и неся суету на своем здоровеньком глупеньком личике. Антоша внешне был удивительно похож на Ореста Марковича, точно не сын, а близнец, но уменьшенного в несколько раз размера. Он был похож и спереди, и с затылка, с затылка даже еще более. Похож был и жестами.

— Папа, — кричал Антоша, — мы сегодня в классе решили Ленина оживить.

Слова эти неприятно прозвучали для Ореста Марковича и даже его несколько напугали, как напугало бы человека любое внутреннее размышление, которое вдруг произнесено вслух. Не в мозгу, а среди вот этих глупых домов и деревьев и ставшее глупым в устах младенца, да еще собственного сына. Впрочем, удивительного тут ничего не было. Антоша слышит разговоры в доме, размышления и споры Ореста Марковича с Юткиным. А дети любят играть во взрослое, чем более подражать отцу. Но как-то неловко при посторонних слышать сокровенные свои мысли, которыми играет ребенок, выбалтывая их как семейные

тайны. Вокруг уже было многолюдно. Младшеклассники с ранцами в сопровождении родителей выходили из школы. Мать одного из мальчиков, дородная женщина с лисьим воротником, услышав слова Антоши, засмеялась и сказала:

— Вот хорошо бы было. А как же вы это сделаете?

— Очень просто, — бойко ответил Антоша, — нальем в Мавзолею на Ленина много лекарств, и все.

Женщина с лисьим воротником посмотрела на Ореста Марковича, как смотрят взрослые друг на друга, когда дети болтают милую чепуху, и Орест Маркович вынужден был в ответ улыбнуться, а чего это ему стоило, сын узнал уже в автомобиле. Всю накопившуюся горечь Орест Маркович излил на свою маленькую копию, на свою маленькую головку, с таким же, как у папы, пробором в рыжевато-серых волосах, и когда Антоша плакал, то Оресту Марковичу казалось, что это он сам вопит, размазывая по лицу слезы и сопли. Настроение было решительно испорчено, и все Оресту Марковичу не нравилось ни в себе, ни в сыне. Хотя сына он наказал, накричал на него за порванный ранец и чернильное пятно на штанишках, а вот за что хотелось наказать себя, было не ясно, и это особенно тревожило. Приехав домой, Орест Маркович, как чеховский фон Корен Лаевского и как Ленин меньшевиков, продолжал терзать свою жертву, не идя с ней ни на какие компромиссы и желая с ней раскола, по крайней мере, до вечера. Уже и жена, мать Антоши, по наущению мужа отхлестала мальчика ремнем, уже Антоша приходил два раза в кабинет просить прощения, а

Орест Маркович все не унимался, не оборачиваясь даже к сыну и глядя перед собой на ленинский портрет. Подлинную причину своего гнева Орест Маркович не решался почему-то сказать даже жене, и от этого ему было перед собой стыдно, а от стыда досадно. Чуть утихло лишь к обеду, но, когда сели за стол, жена вдруг начала рассказывать свой сон.

— Видно, оттого, Орест, что вы вчера с Юткиным допоздна говорили о Ленине, спорили и ругались, мне приснилось, будто иду я по улице, и возле молочного магазина вдруг Ленин навстречу... Представляешь, Орест? — И жена засмеялась. — Знаешь, идет навстречу точно такой, каким его изображают в кино. Он меня увидел и почему-то обрадовался, точно знает меня давно. И я обрадовалась и удивилась, даже спрашиваю: «Откуда, Владимир Ильич, вы меня знаете?» — «А мне, — отвечает, — о вас очень много ваш муж рассказывал». И в этот момент выскакивает из молочного магазина какой-то жлоб и Ленина топором по голове. Я как крикну в ужасе: «Скорая помощь!» «Скорая помощь!» — И она засмеялась.

— Что же здесь смешного, — сказал Орест Маркович и раздраженно отодвинул тарелку, — что смешного, если топором по голове?

— Так это ведь во сне, — сказала жена, удивляясь его гневу, — во сне я кричала от ужаса, а теперь это мне кажется смешным. Я не понимаю, почему ты сердишься.

— А если б при мне дедушку Ильича ударили топором по голове, я бы заплакал, — сказал Лейкин-млад-

ший, очевидно желая польстить отцу и тем заслужить поощрение.

— Ах, оставьте меня оба в покое, — сердито сказал Орест Маркович, он встал из-за стола и начал рыться в ящиках буфета. — Где у нас таблетки от головной боли? — крикнул, уже не сдерживая себя и сдавшись на волю своему гневу. — Что у нас творится в доме? Какое-то дерьмо круглосуточное.

— Дурак! — крикнула ему вслед жена перед тем, как он захлопнул двери кабинета. — Такое при ребенке говоришь. Интеллигенция!

Скандал был полный, дома оставаться было мучительно, но и бродить без цели по сырой, холодной Москве не хотелось. Правда, сегодня вечером Лейкин был приглашен в гости к художнику Волохотскому. Но до вечера было еще далеко. К счастью, зазвонил телефон, и судьба, чтоб как-то уравновесить события, голосом редакторши известного московского журнала сообщила приятную новость: очерк «Вулкан на Каменноостровском проспекте» принят к публикации.

— Но кое о чем надо еще поговорить. Когда вы можете, Орест Маркович? Сейчас? Чудно.

Очерк был написан Лейкиным в излюбленном им диапазоне — «между Чеховым и Лениным». Издатель Чехова А. С. Суворин, конкурент А. П. Лейкина, незадолго до революции изрек: «Я скорее поверю в появление на Каменноостровском проспекте огнедышащего вулкана, чем в возможность революции в России». А в 1917 году Ленин произнес речь с балкона дворца Кшесинской на Каменноостровском проспекте.

Очерк в редакции понравился, но редакторша кое-какие моменты попросила исправить. Так, например, у Лейкина было сказано, что Владимир Ильич, хорошо знавший и любивший Некрасова и Тургенева, часто использовал их образы для обличения политических противников. Многих дурных людей Ленин называл Ворошиловым. Чуть что, говорил: «Да это ведь Ворошилов».

— Но у меня речь идет о Ворошилове из тургеневского «Дыма».

— Знаете, — сказала редакторша и посмотрела в лицо Лейкину своими кругленькими птичьими глазками, — дым рассеется, а Ворошилов останется. Подумают о Климентии Ефремовиче. Зачем это нам с вами?

Редакторша была пухленькая курносая женщина, жена писателя, публикующегося, но не очень известного, и в разные времена любовница нескольких очень известных, обладавших высокими должностями. Теперь она постарела, поблекла, но свои люди, журнальный актив и члены редколлегии, ее звали не по фамилии, не по имени-отчеству, а просто Пуся. Пуся попросила также вычеркнуть фразу «Любимое дерево Ленина — липа» и цитату: «Ленин — мессия, который вывел пролетариат из египетского рабства».

— Кто автор цитаты? Вы не указываете автора, и цитата может быть использована для нехороших намеков.

Цитату Лейкин согласился вычеркнуть. Автором цитаты был Карл Радек. Впрочем, Лейкин вычеркнул и «липу», и «Ворошилова», чтоб дать возможность Пусе

пустить очерк в ближайшем номере. У Пуси было острое чутье старой охотничьей суки, и она вынюхивала даже незначительные мелочи. Говоря о большой схожести Владимира Ильича с отцом своим Ильей Николаевичем, Лейкин перечислил высокие лбы обоих, рыжеватые бороды, лысые головы и короткие ноги. Оба не выговаривали «р». «Короткие ноги» она попросила вычеркнуть, а возле «р» поставила красную птичку, на усмотрение зам. главного редактора. Кстати, зам. главного редактора скоро сам заглянул в кабинет.

— Работаете? — спросил он.

— Мы уже заканчиваем, Евсей Тихонович, — мармеладно пропела Пуся, — хочу вас познакомить с автором ленинского очерка — Орест Маркович Лейкин. Обещал нам и очерк о прадеде А. П. Лейкине, который работал с Антоном Павловичем Чеховым.

Лейкин пожал протянутую начальством руку. Рука была большая, сытая, мягкая, словно пузатая, и лицо зам. главного редактора было добродушно-сытым.

— Могу вас подвезти на редакционной машине, — сказал зам. главного Лейкину, — вы домой?

— Нет, мне еще надо по делу. — И сказал куда.

— Ничего, я подвезу, — сказал зам. главного, — я люблю те места. Там с возвышенностей вид замечательный на Москву.

По-ноябрьски рано темнело, и сырая Москва в сумерках выглядела более уютно, городские огни светили по-домашнему. Ехали и молчали.

— Мне здесь, — сказал наконец Лейкин, — мне здесь выходить.

Зам. главного вышел вслед за Лейкиным, вдохнул сырой воздух и, посмотрев вокруг, пропел умиленно:

— Москва предпраздничная, Москва октябрьская, — потом подумал и добавил: — Москва кумачовая.

У Волохотского Лейкин застал большое общество, и это его покорило, поскольку Волохотский сказал, что приглашает «избранных». Но хуже всего было, что среди «избранных» оказался Паша, Павел Часовников, черносотенец, антисемит и монархист, что не мешало ему участвовать в производстве многих революционных и даже ленинских фильмов. Впрочем, художником он считался неплохим, и Юткин даже собирался пригласить его на фильм, о чем Лейкин уже с Юткиным спорил. Когда-то, еще до ссоры с Часовниковым, Лейкин был у него дома, чтоб посмотреть коллекцию фотографий, нужных для работы. Одна такая фотография увеличенного размера — царская семья Николая II — висела у Часовникова на стене, и он рассказал, что картины, написанные по этой фотографии, весьма бойко и за приличные деньги покупают «монархисты». Кто были эти «монархисты», Часовников не сказал. Возможно, среди них даже попадались лауреаты Ленинской премии. Сам Часовников несколько лет назад выдвигался на Ленинскую премию вместе со съемочной группой очередного революционного фильма, но не получил ее — правда, может быть, по моральным соображениям и за пьянство. Пил он часто, иногда был выпивший, иногда пьян, а трезвым встречался редко. Од-

нажды Лейкин видел, как Часовников выходил пьяный, громко матерясь, из магазина подписных изданий, держа локтем свежеизданные тома собрания сочинений Лескова. Сейчас Часовников тоже был пьян и, увидав входящего Лейкина, запел: «Я к Владимиру Ильичу, здравствуйте! И лечу, вот так кричу, здравствуйте!»

— А вот и биограф вождя, — сказал Волохотский, но не зло, а добродушно, очевидно желая превратить злую выходку Часовникова в шутку.

Волохотский носил фамилию матери, может быть, чтоб его отличали от знаменитого отца, ныне покойного, действительно хорошего композитора, автора множества песен, музыки к кинофильмам и оперетт. Квартира у Волохотского была просторная, богатая, с большой кухней.

— Пойдем, Орест, — сказал Волохотский, — я хочу тебе кое-что рассказать, может, пригодится.

Видно, он хотел отделить Лейкина от Часовникова и жалел, что пригласил обоих, опасаясь, как бы это не кончилось дракой. В этой уважаемой среде, случилось, дрались, причем даже в общественных местах, где-нибудь в Доме кино или Доме творчества. Дрались, конечно, младшее и среднее поколения, старики полемизировали. Дрались с руганью и гримасами, со злым ожесточением, не уступающим дракам в сельских клубах и рабочих общежитиях, круша все вокруг. Вот почему Волохотский, опасаясь за свое дорогостоящее имущество, поспешил развести соперников.

На кухне у Волохотского остро пахло майонезом, вареными яйцами и кофе. Лейкин почувствовал голод, поскольку обеда из-за ссоры с женой не доел.

— Я сегодня был в Музее Ленина, — сказал Волохотский, — там реставрационные работы предстоят, осматривал чердак. Представляешь, весь чердак забит венками с похорон Сталина. В стеллажах укрыты. На одном даже цена сохранилась, к венку прикреплена бирка — тысяча рублей. В старых, конечно. Но если ты учтешь, какая инфляция за это время произошла, то это почти одно и то же. Как символично, весь чердак в венках Сталину, а с похорон Ленина два-три венка где-то в углу, и надписи скромные, от рабочих такой-то губернии.

Послышался шорох за спиной.

— Подслушивать стыдно, — сказал Лейкин, зло посмотрев на настойчивого от опьянения Часовникова.

— Мне стыдиться нечего, я за пепельницей пришел, — сказал Часовников, — как говорят: вы верующий? Нет, я курящий. А насчет реставрационных работ в ленинском музее я бы посоветовал добычу кирпича по способу Ильича — из церквей. Но, вообще, тема интересная, главное, как ее решить. Я, например, предлагаю эпизод: первомайская или октябрьская демонстрация, и вдруг из Мавзолея выходит Ленин, проходит мимо оторопевшего почетного караула, поднимается на Мавзолей, расталкивает членов Политбюро и произносит речь. Но для того чтоб сцена стала похожа на Великого инквизитора из «Карамазовых», члены Политбюро должны начать Ле-

нину рот затыкать и от микрофона оттаскивать. Потом поднять как бревно и во внутреннюю часть Мавзолея понести, назад в стеклянный гроб. Но тут может с треском отвалиться могильная плита с надписью «И. В. Сталин», и генералиссимус, который тоже ведь набальзамирован, из могилы появляется. Его из Мавзолея вытащили, но в могиле он нетленный лежит. От появления Сталина все члены Политбюро, включая Генсека, в страхе на землю упали и Ленина уронили, не донесли, а Сталин им пальцем погрозил и говорит: «Продолжайте субботник, товарищи».

Кто знает, как далеко завела бы Часовникова горячая фантазия и чем бы все кончилось, но тут, к счастью, раздался звонок в дверь, и пришел запоздалый гость.

2

Гость этот, по фамилии Склют, был мужчина лет шестидесяти, грузный, тяжелый, одноногий, опирающийся на палку и стучащий протезом. Когда-то в молодости он написал сценарий известной советской кинокомедии, к которой отец Волохотского сочинил ставшую крайне популярной музыку. Теперь же Склют давно уже занимался общественной деятельностью мелкого пошиба. Впрочем, для кого что мелко, а что крупно. Так, Лейкин был член художественного совета Дома кино, а Склют — член совета ресторана Дома кино. Ну и выпиливал где-то какие-то сценарии для научно-популярных и документальных фильмов.

Поздоровавшись со всеми, а с Волохотским даже поцеловавшись, Склют раздел свое просторное, старого образца пальто-реглан, снял потертую пыжиковую шапку, причесал перед зеркалом в передней остатки волос и тяжело сел на стул, мертво стукнув протезом. Тут же стул карельской березы стоимостью в сто рублей, не выдержав нагрузки, сломался. Склют упал и подбил консоль, на которой стояла ваза стоимостью в триста рублей. Ваза разбилась на голове у Склюта, а консоль, продолжая движение, разбила стекло балконной двери. Но это уже, правда, на меньшую сумму убыток. Все цены разбитого и поломанного сообщены были Волохотским позднее, здесь же даны по ходу действия для наглядности. Таким образом, менее чем за полминуты Волохотскому был нанесен ущерб более чем в четыреста пятьдесят рублей. А ведь еще и двух недель не прошло, как сантехник, вызванный Волохотским для ремонтных работ, выпил стоящий в ванной флакончик французских духов стоимостью в сто пятьдесят рублей. И снова подобный случай в ухудшенном варианте.

После случившегося гости и хозяин затихли, не зная, что говорить и что делать, так что грузный одноногий Склют, который не в состоянии был подняться сам, некоторое время продолжал лежать навзничь на полу, оглушенный ударом хрустальной вазы. Но, по крайней мере для Лейкина, это происшествие заслонило неприятную выходку пьяного Часовникова. Вообще, Лейкин очень скоро ушел, как, впрочем,

и другие гости, которых хозяин, огорченный убытками, не удерживал.

Дома на столе лежала записка жены: «Три раза звонил Юткин и один раз Сыркин». Сыркин Исаак Петрович — администратор, или, как вежливо говорят, — директор фильма. Было уже поздно, начало первого ночи, и Лейкин решил перезвонить в ответ рано утром. Он разделся, долго чистил зубы, глядя на себя в зеркало, и лег. Но не спалось. Вдруг пришла в голову дикая мысль, что сцена с выходом Ленина из Мавзолея, издевательски изложенная Часовниковым, может быть своеобразной и интересной, если сделать ее лирично, по-чеховски, а не злобно-сатирически. Но мешали члены нынешнего Политбюро во главе с Генсеком. Во-первых, как их изображать? Портретно или через собирательные образы советских руководителей? И каковы их взаимоотношения с ожившим Лениным? Если они встретят воскресшего Ленина аплодисментами, это так же банально, как если бы они встретили его возгласами: «Ленин воскрес! Воистину воскрес!» А каков другой вариант? В варианте Часовникова, при всей его злобной, змеиной ненависти, есть какая-то психологическая правда. Но разве можно доверять психологии? Психологии подчиняются только злые мелкие чувства. Добрые, лиричные чувства вне психологии. Потом в голову полезла совсем уже кисельная муть.

«— Простите, пожалуйста, вы император?»

— Да, а что?»

— Николай Второй?

— Нет, третий.

— Как третий?

— Психиатр в третьем подъезде живет.

— Хо-хо-хо-бум-дзынь... Звонкий смех».

Звонил телефон.

Лейкин с трудом выдрался из сна и сел на тахте. (После ссор с женой он спал на тахте в своем кабинете.) Сел на тахте, глядя в темное мокрое окно. За окном была бездонная мрачная ночь. Звонил телефон. Лейкин окончательно пришел в сознание, вскочил, побежал в одном тапочке к письменному столу, ибо второй тапочек второпях не нащупал, и взял трубку. Среди ночи по телефону, как по репродуктору, по-младенчески свежо зазвучал голос Юткина. Такими голосами обычно исполняли песни тридцатых годов: «Нам нет преград на суше и на море...»

— Ты Алексеева знаешь? — пел телефон.

— Какого Алексеева?

— Николая Алексеевича. Имя его во всех книгах о жизни Ленина, во всех учебниках истории. Алексеева, который встречал молодого Ленина в Лондоне. Помнишь, первая поездка Ленина в Европу.

— Как же, — речитативом Лейкин, — вот у меня даже выписано. — Он пошарил на столе в ворохе бумаг. — «Вчера получил свидетельство от местного полицмейстера». Ленин тогда в Пскове жил. «Потомственному дворянину Владимиру Ильичу Ульянову, проживающему: улица Архангельская, дом Чернова. Не имею препятствий к отъезду вашему за границу». Далее Ленин к матери. Из его письма: «Внес пошлину

десять рублей и через два часа получил заграничный паспорт».

Юткин молчал. Это значило — песенное вдохновенное рыболовство кончилось и началась работа мукомола. Лейкин чувствовал, как вращаются тяжелые жернова в голове Юткина, а он, Лейкин, рабочая лошадь, идущая по кругу.

— Этот момент нам следует опустить, — наконец смолело у Юткина, — зачем нам всякие аллюзии. Мы делаем честный, искренний фильм, без кукиша в кармане. И, представляешь, как нам повезло. Живой свидетель. Оказывается, Алексеев жив и здоров. Точнее, жив, но вряд ли здоров, потому что ему девяносто лет.

— Тот самый Алексеев, — обрадовался Лейкин. — Представитель газеты «Искра» в Лондоне?

— Да, тот самый. — Опять полегчало, опять вдохновение. — Алексеев сейчас живет в Доме ветеранов революции. Тут друзья познакомили меня вчера с Бертой Александровной Орловой-Адлер, старой большевичкой. Точнее, не друзья, а мой зять Альберт... Алик... Ты его знаешь, главный инженер табачной фабрики «Ява». Начальник Ростабакпрома, сейчас в больнице Четвертого управления Совмина РСФСР. Мировой мужик, очень Алику помогает. Алик его навестил и там познакомился с Бертой Александровной, а через Алика я с ней познакомился. Рассказал о нашей работе. Она отнеслась с большим вниманием и интересом, общила много для нас любопытного и прежде всего про Алексеева, с которым дружит. Короче, надо дейст-

воват, пока горячо. Я уже подключил Сыркина. Тебе Сыркин звонил?

— Звонил, но меня не было дома.

Разговор затягивался, а Лейкин стоял в одном тапочке, вторая нога на холодном паркете.

— Завтра в девять ты должен быть в вестибюле больницы Совмина. Пропуск тебе заказан. Берта Александровна тебя встретит, а у меня студийная машина с одиннадцати. Мы за тобой заедем. Алексеев — последний человек, у которого из первых рук можно Ленина получить. Главное, успеть к юбилею. Или мы кончим этот фильм, или этот фильм кончит нас... Ха-ха-ха... — открытым звуком в телефон.

— А-а-а-а... Ич... а-а... ич... а... ашхи! — И тоже в телефонную трубку.

— Ну вот видишь, я правду говорю.

— Ич... а-а-а... ич... ич... ичашхи...

— Ложись в постель, ты где-то простыл. Обнимаю.

«Вот тебе и один тапочек». Лег в постель. Полночи прочихал, потекло из носа, заснул под утро. Проснулся — пятнадцать минут девятого. В горле болезненно сухо, во рту липко.

— Где галстук? Не этот, темно-синий в полоску! Где крем для бритья?

— Что с тобой, — спросила жена, — шляешься до глубокой ночи, а потом к тебе не достучишься. Антошу я сама должна была в школу везти, а если гаишник остановит? Я ведь без прав.

— Ич... где запонки?

— Куда ты так спешишь? Совсем с ума сошел со своим Юткиным.

— Я работаю... Ич-ш-ш...

— Куда ты несешься простуженный и без завтрака?

— Некогда... Ашхи...

— Ну и черт с тобой.

Опять скандал на целый день.

В вестибюле больницы Четвертого управления Совета Министров РСФСР мрамор и зеркала. Предъявил в окошко удостоверение с киностудии, которое действовало лучше паспорта, — выписали пропуск.

— Вас уже ждут.

Пошел по устланной ковровой дорожкой лестнице, оглядываясь. Спросить не у кого, а обстановка роскошная, мрамор и зеркала не кончаются, и до головокружения вкусно завтраком пахнет. Не просто едой, как в столовой, а именно завтраком: свежими булочками, свежезаваренным кофе, свеженарезанной ветчиной. По сути, второй день без еды. Вчера обед не доел из-за ссоры с женой, вечером рассчитывал в гостях у Волохотского покушать, но ушел голодным из-за проклятого Часовникова, сегодня ушел без завтрака, поскольку опаздывал. И все-таки опоздал на пятнадцать, даже на двадцать минут. А они, старые большевики, привыкли к точности. Годы подполья приучили.

— Товарищ Лейкин?

Оглянулся. Навстречу ему выскочила старуха.

— Товарищ Орлова, тысячу извинений, сына в школу отвозил, и, понимаете, по дороге задержка.

Зачастил, зачастую, одно слово другое догоняет, и со стороны стал похож на Антошу, который недавно чашечку разбил. Но со стороны себя не видел, а Орлова-Адлер с Антошей сравнить не могла, поверила.

— Что ж, дети — уважительная причина.

Руку пожала крепко, по-мужски. И походка мужская.

— Чаю хотите? Или кофе?

— Спасибо... Выпил бы чаю... Или лучше кофе...

В конце коридора был небольшой вестибюль. Сели за удобный столик. Смотрит Лейкин, а вокруг полно сельских бабушек ходит в валенках, кацавейках и платочках. Лейкину и раньше одна-две бабушки на лестницах попадались, думал, обслуживающий персонал — нянечки. Пригляделся — нет, обслуживающий персонал другой. Хоть тоже сельские лица, но крепкие, молочно-молодые. Дочки. Одну такую «дочку» в белом халате Орлова-Адлер подозвала, сказала ей что-то, та кивнула головой, ушла. Не удержался Лейкин, спросил:

— Эти бабушки здесь что делают?

— Как что, — говорит Орлова-Адлер, — лечатся они, поскольку матери и родственники ответработников. Вот та, Надежда Прокофьевна, мать генерала, а та, Надежда Пантелеевна, мать замминистра приборостроения. Этот факт лучше любых трактатов доказывает, что правительство у нас народное. А то, что к валенкам своим привыкли, — не беда. Валенки вещь удобная. Я сама в девятнадцатом году летом, в июле,

в жару три дня от деникинцев в валенках по ржи бежала.

Уже позднее Лейкин узнал, что Орлова-Адлер в Гражданскую была политкомиссаршей, но потом слишком далеко не продвинулась, зато и репрессиям не подвергалась. Работала в провинции преподавателем марксизма-ленинизма. Любопытная деталь — за всю жизнь ни разу не посетила колхозный рынок, чтоб не поддерживать частный сектор.

Сочная, откормленная «дочка» принесла на подносе кофейник и чайник, две пустые чашки, свежие булочки, свежее масло, свежую ветчину — коммунистический завтрак из какой-нибудь трехсотой пятилетки. Изголодавшийся Лейкин с трудом заставлял себя есть деликатно, выпил две чашки кофе, съел два бутерброда, с сожалением глядя исподтишка на несъеденное и невыпитое. Может, это отвлекло, и он слушал Орлову-Адлер без внимания. Позавтракав, Орлова-Адлер вынула листки и начала читать отрывки из своих воспоминаний.

— Я не литератор, — предупредила она, — и у меня, не скрою, проблема с литературной обработкой. Мне как-то порекомендовали одного молодого человека, но он начал со мной спорить, будучи совершенно политически неграмотным, и мы с ним расстались.

Из воспоминаний выяснилось, что Орлова-Адлер начинала не как большевичка, а как эсерка, правда, левая, однако еще до левоэсеровского бунта перешла к большевикам.

— Знаете, увлечение крестьянством. Лидера эсеров, Чернова, называли Лениным в селянской одежде. Но когда я послушала Ленина, то поняла — нет, Ленин у нас один. Правда, я считаю и пишу об этом в своих воспоминаниях, у Чернова была важная заслуга перед революционной Россией. Чернов воспротивился назначению Плеханова министром труда во Временном правительстве. Теперь это кажется незначительным эпизодом, но тогда это было важно. Если б Плеханов с его энергией, авторитетом и эрудицией занял такой ответственный пост, большевикам стало бы гораздо труднее вести свою работу. А представляете, если б Плеханов заменил Керенского. Такого тоже исключить нельзя. Если б первый марксист России, один из создателей «Искры», стал премьером Временного правительства и начал осуществлять свою старую программу сотрудничества рабочей партии с буржуазией?

Лейкин посмотрел в высокое больничное окно. Мокрые крыши домов вызывают озноб. Лечь бы сейчас в теплую постель на правах больного, разнежиться, раскиснуть, начихаться вволю. Но надо крепиться, сдерживаться. Скорей бы приехал Юткин. А впереди еще целый день, зябкий, дождливый, и если похолодает, то снег возможен. Где этот Дом ветеранов революции? Наверно, у черта на куличках.

— Простите, Берта Александровна, где этот Дом ветеранов революции? За городом?

— Да, местность там хорошая, большой парк. Правда, сейчас погода не для прогулок. Но вы, как я понимаю, едете не гулять, а собирать материал для ле-

нинской работы. Тут вам, конечно, Николай Алексеевич Алексеев очень-очень может помочь. Я видела и слышала Ленина на митингах, но, к сожалению, никогда с Владимиром Ильичем не встречалась. А Николай Алексеевич начал свою нелегальную деятельность чуть позже Владимира Ильича, и тоже студентом.

— А как Николай Алексеевич попал в Лондон? — спросил Лейкин.

— Ну не так, конечно, как нынешние борцы за права человека. Без иностранных корреспондентов, без американских долларов. Нельзя сказать, что нынешние за права советского человека борются успешно, но за свои права и здесь и на Западе они борются хорошо. А Николай Алексеевич при нелегальном переходе через границу долго пролежал в болоте и простудился. Больной, он вынужден был заниматься физическим трудом сначала в Берлине, а потом в Лондоне. И никакие фонды, никакие американские дядюшки, никакие радиостанции его не кормили.

Орлова-Адлер с сарказмом засмеялась, а затем, пошелестев бумагами, сообщила, что собирается читать о Каплан, террористке, стрелявшей в Ленина. Новые сведения.

Действительно, интересно. Жаль, голова в тумане. Орест Маркович садится поудобней, подпирает голову рукой и старается слушать внимательно. Но ничего нового из записок Орловой-Адлер не извлекает. Человек говорит будто о лично пережитом, а такое впечатление, будто все переписано из много раз читанных книг и учебников. Единственно новое — это попытка

доказать, будто Каплан никогда не была эсеркой, как всюду о ней пишут, а всегда была анархисткой. Господи, да какое это теперь имеет значение? От скуки не удержался.

— Ич... ич... ич... вините... Ашхи!

— Оказывается, вы, товарищ, простужены... Вам дома переболеть надо. У нас здесь посетителям с насморком, а тем более гриппом вход запрещен.

Всполошилась старуха, выпроваживает. Руки не подала, лишь головой кивнула. Впрочем, в ее возрасте надо беречься. В могилу коммунистический завтрак не подадут. И тут же опомнился: «Уж как у Часовникова мысли».

Вышел на дождь, смотрит, а автомашина у подъезда, и в автомашине Часовников сидит. Значит, Юткин пригласил. Сам Юткин из автомашины выходит, улыбка в любую погоду. Тут же Сыркин и шофер Костя. Но Часовникова зачем взяли?

— Орест, вы знакомы? Паша Часовников, художник наш.

На большом лице Юткина детский ротик, аккуратненький, мокрененький, и носик детский, аккуратненький, точеный.

— Ладно, поехали, времени мало, — скороговоркой Сыркин. Понял ситуацию опытный администратор.

Только выехали из центра и углубились в окраины, как остановил гаишник. Костя выругался, выбежал, но тут же вернулся.

— Рубль отдал, — сказал он, когда свернули в соседнюю улицу, — гаишники тут за каждым углом, на

них не напасешься... Всюду деньги давай. Когда работал на такси, чтоб получить такси-пикап, дал взятку диспетчеру. То холодильник, то телевизор подвезешь — приработок. А однажды — мечта — гроб попался пустой. Гражданин попросил в Смоленск отвезти. Девятьсот рублей счетчик выбил. Назад ехал — три ГАИ останавливало. По пятерке дал. Теперь же у них еще электронные пистолеты появились, которые скорость определяют. Определил превышение — гони монету. Старшине-каптерцику, который эти электронные пистолеты выдает, все милиционеры-гаишники по двадцать пять рублей платят...

Говорит Костя, но уж осторожней едет, пока доехали, спина у Лейкина заныла, не разогнешься.

Дом ветеранов революции окружен был глухим забором. По предъявлении удостоверений машине разрешили въехать в ворота, но, чтоб войти в дом, требовались пропуски. Юткин пошел хлопотать, а Часовников предложил:

— Пойдемте туалет поищем, кто нуждается. Здесь у них в парке должен быть туалет.

Парк большой, ухоженный, с кормушками для птиц и белок. По-зимнему перекликались вороны.

— Когда-то такое заведение называлось богадельня, — сказал Часовников, — а теперь Дом ветеранов.

Часовников был трезв и делал вид, что из вчерашнего ничего не помнит. Помнил, конечно. Когда нашли туалет, расположенный на берегу небольшого озера, он сказал:

— Что-то туалет у них на шалаш Ленина в Разливе похож.

Нервная корниловская злоба бродила в нем, как сусло в самогоне. Но, честно говоря, туалет действительно был сделан в форме шалаша, остроконечный и обложен сучьями. Появился Юткин с пропусками.

— Пропускают только двоих, — сказал он, — я пойду и Орест.

— Ну и хорошо, — обрадовался Сыркин, — мы на воздухе погуляем, а вы поработайте. Хотя не знаю, что здесь можно сделать. На эту тему уже столько сделали. Вот надо бы что-нибудь историческое.

— Достоевского, например, — сказал Часовников.

— Ну, Достоевского или Толстого взять, — ответил Сыркин, — тут большого ума не надо. Там уже все готово, потому что эти книги писались по пять лет каждая. А вы возьмите что-нибудь оригинальное. Например, про Сакко и Ванцетти, двух американских революционеров, которые забастовку устроили на карандашной фабрике. Вот вам и совместная постановка, вот вам и поездка в Америку, вот вам и советский какой-нибудь Джеймс мистер Бонд. — И засмеялся Сыркин, обнажив зубы в никотине.

Здесь за городом воздух хоть тоже был сырой, но свежий, и голова у Лейкина прояснилась, а насморк утих. Больше не чхалось. Улеглось и раздражение, тем более что предстояла встреча с человеком, который не просто видел Ленина, но общался с ним.

В Доме ветеранов революции нечто было от больницы Совмина, но и нечто от изолятора. Зеркала, мяг-

кая мебель, хоть всего поменьше и победней. И обслуживающий персонал — те же откормленные «дочки» с сельскими лицами, но, пожалуй, менее любезные. В коридоре пахло сладкими лекарствами. Навстречу Лейкину и Юткину две широкоплечие «дочки» в белых халатах катили инвалидную коляску с парализованным ветераном. У ветерана нос был заострен, как у покойника, лицо мертво-лимонное, рот перекошен. Лейкину показалось, что санитарки обращались с ветераном непочтительно, говорили с ним пренебрежительно, а между собой в его адрес насмешливо. Неужели это Алексеев из учебников по истории партии? К счастью, это был не Алексеев.

— Алексеева комната в центре коридора, — ответила одна из санитарок на любезный вопрос Юткина, — я сейчас к нему постучу.

Лейкин и Юткин поспешили следом за широко шагавшей «дочкой», которая, постучав, вошла и заговорила с кем-то, очевидно с Алексеевым. И вдруг послышался старческий сердитый голос:

— Что такое? Никого не принимаю, я ведь предупредил, что никого не принимаю.

Неловкая ситуация. Юткин, стараясь скрыть растерянность, которая на его наглом лице особенно обнаруживалась, как светлое пятно на темном фоне, заговорил, заговорил, зачастил.

— Извините, Николай Алексеевич, — обратился он к закрытой двери, — режиссер Юткин Юрий Иосифович. Заслуженный деятель искусств. А это киносценарист Лейкин. Работаем над фильмом о Влади-

мире Ильиче. Любые сведения из ваших рук, человека, лично знавшего Владимира Ильича, для нас драгоценны. Привет вам от Берты Александровны Орловой-Адлер.

Имя Орловой-Адлер подействовало, но соавторам все равно не было разрешено войти.

— Пусть подождут в коридоре, — проскрипело, как плохо записанный на пленку звук.

Вышла санитарка, и в приоткрытую дверь мелькнул белоголовый, белоусый, белолицый, в белой рубашке и белых кальсонах. Призрак бродил по комнате, призрак коммуниста. А Юткин и Лейкин, как выгнанные за дурное поведение школьники, толкались перед дверьми в коридоре.

— Нет, — обиженно пробормотал Лейкин, — все эти живые свидетели великих событий только во вред работе.

— Я с тобой не согласен, — сказал Юткин, — в кино нельзя ждать милостей. Взять их наша задача.

Творческий спор соавторов был прерван Алексеевым, который вышел в черном похоронном костюме с орденом Ленина на груди. Из истории партии и прочих книг Лейкин знал, что когда-то Алексеев, молодой студент-эмигрант, проживавший в Лондоне, встретил молодого Ленина, впервые выехавшего в Европу. Два молодых человека, два русских чужака шли в английской вокзальной толпе. И вот они оба, спустя столько лет, опять появились здесь. Какой замечательный сюжет в духе чеховского «Черного монаха». Черный монах несколько тысячелетий назад шел по пустыне, но

его отражение, его мираж, из-за нарушений законов оптики продолжает неприкаянно блуждать по земле и в космосе и все не может погаснуть, не может исчезнуть. Так природа мстит за нарушение ее законов. Лейкин теперь понимал, что заболевает всерьез и надолго, а временное улучшение было обманом, к которому прибегает болезнь, чтобы сильнее скрутить, как после ленинского нэпа, потому что политика тоже поддается физиологическому анализу. Пока маленькие Ульяновы находились под надзором их мамы, Марии Александровны, они вполне соответствовали честным законам святочного рассказа. Но потом мальчик вырос... А были ли мальчик?

— Товарищи, вы не вовремя приехали, — проскрипела плохая запись голоса Николая Алексеевича. А больному, испытывающему головокружение Лейкину даже почудилось, что кое-какие слова произнес не серебряный анфас Николая Алексеевича, а позолоченный профиль Владимира Ильича. — У меня такси заказано, — проскрипела запись.

«Ни одного «р», — подумал Лейкин, — трудно понять, кто творит».

Но тут на помощь крючку устремилось грузило.

— Николай Алексеевич, у нас машина во дворе. К чему вам такси?

— Я, товарищи, всегда в предоктябрьские дни посещаю Красную площадь.

«Не картавит», — почему-то разочаровался Лейкин-крючок.

А Юткин-грузило:

— С удовольствием. Наша машина в вашем распоряжении. И не только Красная площадь, вся предпраздничная Москва встретит вас. Для нашего ленинского фильма такая поездка с человеком, лично знавшим Владимира Ильича, — огромная творческая удача.

— Что ж, товарищи, принимаю ваше предложение. Лейкину показалось, что орден тоже улыбнулся.

Дождь и ветер утихли, показалось ноябрьское скудное солнце, и те ветераны революции, которые могли самостоятельно ходить, вышли на прогулку. Некоторых санитарки везли на инвалидных колясках. Юткин бережно вывел об руку Николая Алексеевича и повел его к машине. Сыркин наблюдал за этим неодобрительно, ему машина нужна была для личных нужд.

— За что боролись, на то и напоролись, — сказал Часовников Косте, — революция пожирает своих детей.

Однако все это шепотом, а в машине и вовсе молчали. Заговорил Николай Алексеевич, да так, что Лейкин едва успевал в блокноте пометки делать.

— Встретил я Владимира Ильича на лондонском вокзале, поскольку он в английском был не силен. А на следующий день на омнибусе поехали в Примрозхилл, на могилу Маркса. И вот когда произошла в России революция, потом окончилась Гражданская война, в двадцать втором году я подал в ЦК проект о перенесении могилы Маркса в Москву на Красную площадь и о создании у Кремля мавзолея Маркса. Владимиру Ильичу идея понравилась, и ЦК ее поддержал. Послали меня в Лондон, вести по этому поводу перегово-

воры. Я обратился от имени советского правительства к английскому правительству. Мне ответили, что для них Карл Маркс лицо частное и перевоз его тела с лондонского кладбища зависит от родственников покойного. Но внук Карла Маркса Жан Лонге отказался дать такое разрешение.

Часовников хмыкнул, предвкушая, как будет рассказывать этот анекдот в среде себе подобных.

— Да, молодые люди, — продолжал Алексеев, погруженный в воспоминания и не замечая исходящих от Часовникова идеологических подвохов, — да... Приехал я в Москву расстроенный и написал большую статью, которая называлась: «Жан Лонге — недостойный внук Карла Маркса». Владимир Ильич, как мне известно, прочел и одобрил. Меня Ильич помнил хорошо, как хорошо помнится все, что было в молодости. — Алексеев чем больше говорил, тем больше словно пробуждался, в стеклянных прозрачных глазах появился темный блеск, на щеках если не румянец, то розовые пятна. — Любили мы с ним повеселиться, попеть, поесть. Помню, как-то два килограмма вишен съели в один присест. Владимир Ильич это событие даже мамаше своей в письме описал. «Вчера два килограмма вишен схрам-кал». Так и написал. Это потом у него нервы испортились, а тогда веселый был. Пели мы в два голоса. Помню, из «Фауста» Гуно... Ла-ла-ла-ла... Романсы Чайковского пели... Покуривали... Историки пишут, Владимир Ильич не курил. Да, не курил, но иногда покуривал. Раз мать, Марья Александровна, прислала Владимиру Ильичу сто рублей, большие деньги по тем

временам. Пошли вместе получать почту, поскольку я лучше заполнял бумаги по-английски, а на обратном пути купили две гаванские сигары. Накурились так, что голова кружилась. А навстречу идут две девушки, англичанки. Одна, помню, повыше, Владимиру Ильичу понравилась. Он говорит: мы все равно прогуливаемся, пойдем за ними... Ох, времена... Даже самому покурить захотелось... Был я тогда представителем газеты «Искра» в Лондоне. Идея огня, искры — основная у Ленина. Партия — искра, зажигает страну, страна зажигает Европу, Европа зажигает мир... Что? Где мы едем?

— Калининский проспект, — услужливо сказал Юткин.

— Отчего глаза краснее рожи, — продекламировал Часовников, — что с Калининым? Держится еле... В тридцать седьмом году чудом удержался. А вы, Николай Алексеевич, как в тридцать седьмом?

— Не надо задавать глупые вопросы, — сердито сказал Сыркин, — мы не развлекаемся, а работаем.

— Ну так, может быть, время перекурить, — сказал Часовников, — и нам, и вот Николаю Алексеевичу по старой памяти. Могу предложить новые сигареты — марка «Искра». — И он протянул Алексееву пачку сигарет.

— Как? — спросил Алексеев.

— «Искра».

— Как?! — уже во все стариковские легкие, по-граммофонному закричал Алексеев.

— «Искра»! — заорал в ответ трамвайным хамом Часовников. — Сигареты «Искра», московской табач-

ной фабрики «Ява». — И положил пачку сигарет на стариковские колени.

Алексеев схватил пачку и как будто даже смял ее, но тут же безвольно выпустил из рук.

— Поворачивай, — испуганно закричал Сыркин, — старик, кажется, умер...

Все были перепуганы, даже Часовников понял, что перестарался, но, когда выяснилось, что старик все-таки дышит, он осмелел и сказал Юткину:

— Спасибо за приглашение, только я в вашем фильме участвовать не буду. — И Косте: — Высади меня у метро.

Костя притормозил у метро, и Часовников вышел, попрощавшись только с шофером.

— Я тоже выйду, — сказал Лейкин и пожал ледяную руку Алексеева.

— Завтра созвонимся, — крикнул ему вслед неунывающий Юткин.

Было темно и безлюдно у этой небольшой станции метро. Лейкин ускорил шаг и догнал Часовникова у входа, потянул его за плечо. Часовников все понял и охотно пошел с Лейкиным. Когда они свернули за пустой киоск, который вместе с каменным забором создавал глухой угол, Часовников ударил первый, без предупреждения, умело, прямо в глаз. Потом он замахнулся ногой, но не попал, потому что было скользко, и Часовников лицом сильно ударился о забор. Прерывисто, негромко, как бы нехотя, затахтел свисток. Свистел не милиционер, а какая-то женщина в брезентовом плаще, видно дежурная. Оба

побежали рядом, высматривая место, где бы можно было продолжить драку.

— Тут стройка, — на бегу сказал Часовников, — на стройке никого.

Они вбежали на стройку и продолжили драку. Потом стояли, тяжело дыша, сплевывая кровь.

— Ты, Часовников, монархо-сталинист, — сказал Лейкин, пробуя пальцами, целы ли зубы.

— А ты, Лейкин, белоеврей. Есть белофинны, белополяки, а ты белоеврей-сионист... Понятно, что вам Сталин не нравится, но он свое дело сделал. Он, грузин, вернул нам, русским, нашу Россию, которую ваш Ленин отдал евреям и прочим нацменам. Мой отец, как дворянин, в двадцать четвертом году был выселен из своего дома и жил в номерах. В январе, рано утром, к нему постучала дворничиха: «Барин, жидовский царь умер». — «Какой царь?» — «Ленин». Это, Лейкин, голос народа. Учти, может пригодиться для работы над ленинским фильмом.

— А ты знаешь, Часовников, что такое по-кавказски джуга? Что такое по-мусульмански джуга или джугут? Джуга по-кавказски — еврей. Джугашвили — сын еврея. Мусульманского еврея-сапожника... Так что сдавайтесь, вы окружены.

Сказав это, Лейкин глянул в лицо Часовникова и понял, что выиграл рукопашно-идейную схватку. Решающий удар он нанес врагу его собственным, трофейным оружием.

Молча покинул Лейкин стройплощадку, не сказав более ни слова, лишь глядя время от времени через пле-

чо на стоящего Часовникова. Да, как ни опасен идейный сталинизм, с ним можно бороться. Хуже сталинизм безыдейный: омещанившийся народ, обуржуазившееся мещанство. Вспомнились сельские бабушки в дворницких валенках, по-хозяйски расхаживающие в правительственной клинике. А сыночки их тем временем, омещанившиеся и обуржуазившиеся извозчики, вершат судьбы страны и мира. А кто у них за спиной? Кто идет следом за ними?

Лейкин шел по ветру и холоду домой пешком, держась темноты, ибо в метро нельзя было войти с разбитым глазом и в истерзанном пальто. Несмотря на холод, начиналось предпраздничное гуляние. Народ валил толпами, на сооруженных временных эстрадах пели и плясали.

— Лада, — пела в микрофон какая-то самодеятельная певичка из публики. Какой-то гражданин, также из публики, взобрался на эстраду и начал плясать вприсядку, свалил микрофон и потерял шапку.

— Плясал вне конкурса, — объявил ведущий, восстанавливая микрофон, — допляшется.

Вокруг было глупо, пошло и страшно. Лейкин свернул в переулок, но там было еще страшнее. У забора ворочалась, клубилась, пыхла тесная драка. Больше друг друга остервенело валили наземь, чем били, может, из-за цепких захватов «за грудки». Все участники драки были в одинаковых кроличьих треухах и от этого казались животными одной породы. От драки долетали нечленораздельные междометия и отрывистые глаголы, произнесенные по-собачьи. От вида драки сильней

заныл подбитый глаз, точно опять бьют, но уже не в одиночку, а толпой. Метнулся назад из переулка, опять на проспект. Однако и там повсюду мелькали хищники, повсюду звериное дыхание, повсюду винные запахи. Кто способен их усмирить? Кто способен спасти от этого рогатого будущего? «Есть такая партия», — сказал Ленин. И сейчас, как и более чем шестьдесят лет назад, от этих страшных народных кулаков могут спасти только ледяные руки ленинских мертвецов.

3

С тех пор как Лейкин вернулся домой больной, избитый и пессимистически настроенный, до истерики напугав жену, прошло уже более месяца, уже торжествовала морозная зима, и до Нового года недалеко, а последствия встречи с соратником Ленина все ширились и разрастались.

В ЦК было подано письмо-жалоба, подписанное группой ветеранов революции. На первом месте подпись Алексеева, а среди иных подпись Орловой-Адлер. Письмо было рассмотрено и с соответствующей резолюцией спущено по инстанциям в Министерство пищевой промышленности РСФСР. Резолюция ЦК на письме ветеранов была столь грозной и категоричной, что министр не стал спускать письмо далее со своей резолюцией, а вызвал начальника главка Ростабакпрома и директора табачной фабрики «Ява» к себе. Но поскольку директор табачной фабрики был в Болгарии, в деловой командировке, вместо него к министру явился

главный инженер Альберт Пинхасович Злотников, зять кинорежиссера Юткина. Вот как тесен мир.

— Нам ко всем прочим заботам еще не хватало в пищевой промышленности идеологических ошибок, — сказал министр, потрясая перед подчиненными письмом ветеранов с резолюцией ЦК, — немедленно прекратите выпуск сигарет, название которых, как сказано в письме... — и он прочел: — «...кошунственно повторяет дорогое нашим сердцам название первой ленинской газеты “Искра”».

— Простите, товарищ министр, — сказал Альберт Пинхасович, — но ведь сигареты утверждены главком, они имеют знак госта, им присвоен первый класс, и для них специально заказана большая партия болгарского табака. Продукция находится на конвейере.

— Вы меня неправильно поняли, или я неправильно выразился, — сказал министр, — поменяйте этикетки.

— Но ведь этикетки оплачены бухгалтерией. Кто спишет убытки?

— Это решайте в местных, фабричных условиях, — сказал министр, — министерство не может и не должно вмешиваться в мелкие производственные вопросы каждого предприятия. И чтоб больше я к этой проблеме не возвращался.

— Вы, товарищ Злотников, не усложняйте простого и не упрощайте сложного, — сказал начальник Рос-табакпрома, — вот когда я вернулся с фронта после тяжелого ранения в сорок третьем году и работал на этой же фабрике «Ява» начальником смены, мы полу-

чили специальный заказ особого назначения — изготовить к приезду Черчилля несколько коробок наших отечественных сигар под названием «Салют». Работали день и ночь, перепортили горы дорогого табака, но изготовили к сроку. Во время встречи со Сталиным Черчилль взял нашу сигару, закурил, и вдруг из нее с шипением посыпались искры. Опыта-то у нас все-таки не хватало. Черчилль, правда, все в шутку обратил, сказал: «Вот и салют». И Сталин посмеялся. Но что такое сталинский смех в таких случаях, вы, конечно, догадываетесь. У нас на фабрике все начальство сменили. Я был раненый фронтовик и работал недавно, потому уцелел... Так что не сетуйте, Альберт Пинхасович, на нынешние трудности. Идите и работайте.

Человек, однако, живет не в прошлом, а в настоящем, и прошлые трудности его не успокаивают. Лейкин, например, был очень огорчен, когда узнал, что его ленинский сценарий Госкино не утвержден из-за каких-то идеологических ошибок. Юткин, который ранее звонил по многу раз днем и ночью, звонить перестал вовсе. Волохотский сообщил Лейкину, что Юткин теперь работает над ленинской темой с Мишей, опытным богомазом-конкурентом.

Внешне, да и внутренне Миша похож был на Григория Зиновьева, ленинского соратника и жертву сталинских чисток. Толстый зад чревоугодника, тугие ляжечки, провисающие щеки, пухлые женские губки обжоры и сластолюбца, копна седеющих черных волос. В ранний, послереволюционный период, когда не только такие блестящие личности, как Троцкий, но и местеч-

ковые талмудисты, а то и просто малограмотные сапожники становились людьми государственной важности, Миша, безусловно, достиг бы политических высот. Такова печальная логика жизни. За общую беду, за общие унижения и страдания компенсацию в первую очередь требуют и в первую очередь получают худшие. Худшие из потерпевших своими действиями и своей моралью дают возможность свергнутым преследователям и палачам оправдаться и снова вернуться к прежним замыслам. Так местечковые сапожники с маузерами опошлили муки погромов и унижения черты оседлости. И так же сменившие их вскоре сыновья и дочери сельских старух в валенках опошлили бессердечную жестокость крепостного права и унижения русского «черного» народа. О всяком явлении надо, однако, судить не по его началу, а по его концу. Евреи, которые были изгоями в царское время, естественно стремились изменить это положение революционным путем, и, когда революционная партия пришла к власти, многие из них заняли ведущие места. Но революционная партия десять лет спустя была заменена мещанской, а ленинизм — сталинизмом — джугашвилизмом, замещенным не на романтическом мессианстве, а на русском мамаевом бытии. И тогда евреи потеряли не только свои привилегии, но и покатались назад, за пределы своего дореволюционного изгойства, и к пятидесяти третьему году почти перешли на положение унтерменшей, в то время как кавказцы на деле, а русские на словах стали привилегированными нациями. И опять среди общей беды «миши» сбалансировали, худшие

удержались и перестроились. Хотя «мишам» тоже было трудно в периоды остервенелые, но в периоды более умеренные для них всегда находили зазоры. Если же говорить конкретно о данном Мише, то всю нерастраченную энергию политического функционера он сосредоточил в единственно доступном ему направлении и давно уж зарекомендовал себя твердым ленинцем на творческом поприще. Никакие чеховские соблазны его на этом поприще не подстерегали, поскольку чеховские соблазны опасны лишь таким индивидуальностям, как Лейкин. В политическом смысле к чеховским соблазнам более склонен демократический меньшевизм, чем большевистский централизм, и при государственном кораблекрушении в семнадцатом году чеховские соблазны сыграли свою роль. Но и ныне чеховские соблазны не давали покоя таким, как Лейкин.

Иногда по вечерам, когда сидел в тепле и уюте за своим письменным столом в своем любимом мягком кресле, вдруг кошмарным видением являлся тот пред-октябрьский вечер и ночная тьма казалась черной, народной ненавистью, приникшей к окнам, а обжитая кооперативная квартира и весь кооперативный дом, наполненный друзьями и сослуживцами, казалось, плыл в безднах, в пучинах этого черного народного океана, плыл, защищенный не столько своими кирпичными стенами и запираемыми подъездами, сколько своими телефонами. Когда давление черного океана становилось угрожающим, надо было лишь набрать краткий номер и связаться с поверхностью, то есть вызвать милицию.

Конечно, правительство совершает несправедливости, часто ведет себя неправильно, неумно, но другого правительства нет и не предвидится. По крайней мере, без внешнего катаклизма правительство в России заменить нельзя, как без внешнего катаклизма нельзя было заменить царское правительство. Но если произойдет катаклизм, перестанут работать телефоны, и черный океан через окна и двери ворвется внутрь дома, затопит кабинет с полками книг, спальню с широкой кроватью, столовую, детскую комнату Антоши...

От этих чеховских полуночных, туберкулезных мечтаний начинал сверлить, набухать подбитый глаз. Была повреждена роговица, и пришлось обратиться к врачу.

— Что случилось? — спрашивали друзья и соседи.

— Стал подкулачником, — пробовал шутить Лейкин, — попал под кулак.

Но дома, в любимом кресле, думал всерьез. «Только ледяные ленинские руки способны раскулачить народ, это проклятое кулачье, бьющее по живому. Если бы с целью полного разоружения черных масс был издан указ, запрещающий им сжимать пальцы в кулаки. Но такое возможно лишь в волшебных сказках.

Страх перед народом всегда прижимал в России общество к правительству, и в восемнадцатом веке это спасло страну от пугачевщины. Но когда заблуждения девятнадцатого века развеяли этот страх, общество отбилось от правительственных рук и попало в народные когти. Однако те, кто выжил, должны учесть уроки. Теперь у нас снова правительство, которое, слава

Богу, так же, как и мы, боится народа. И если это правительство по глупости своей не хочет опереться на нас, мы должны быть умными и опереться на него...»

Разумеется, этими своими мыслями Лейкин не делился ни с кем, даже с женой. Даже с лучшим другом Волохотским. «Наша интеллигенция именно так живет, но так не думает, даже наедине с собой. Думает она в противоположном направлении, для того чтоб считаться «приличным» человеком».

— Вот она, наша жизнь, — говорил художник Волохотский, которого Юткин пригласил работать над ленинским фильмом, — ничего, Орест, не поделаешь. Можно только декламировать: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья...» А больше, как я уже говорил, ничего нельзя сделать. Здесь не только больше не во что верить, но и не в чем больше разочаровываться. Слыхал, Часовников женился на Наташке Шойхет и теперь ожидает разрешения на выезд по израильской визе.

Сообщение о Часовникове подействовало на Лейкина освежающе. Он громко рассмеялся, а ночью, проснувшись, опять рассмеялся, разбудив и напугав жену и Антошу. Вообще, по натуре Лейкин склонен был к чеховскому нытью и меньшевистской панике, поскольку дела его шли не так уж плохо. В журнале очерк «Вулкан на Каменноостровском проспекте» напечатали. Вскоре позвонили со студии юношеских фильмов и попросили приехать подписать договор на сценарий «Чехонте» о молодом Чехове. Это тем более радовало, что, по неофициальным сведениям, сценарий «Сосо» о моло-

дом Сталине, предложенный одним генацвали, отклонили. Во всяком случае, в плане на ближайший год «Сосо» не было.

Слух о «Сосо», конечно же, был «не телефонный» и сообщен шепотом на ухо Лейкину в коридоре Дома кино.

Был вечер отдыха московских киностудий. На сцене юродствовал «известнейший, популярнейший», лицо которого ежедневно покупалось миллионами зрителей и читателей. На сцене он выглядел как бы старшим и более бедным братом того, с экранов и цветных фотографий, но зато «свой», но зато «по-домашнему», но зато «Леша». «Что, мы не можем повеселиться в собственном доме?» И звонко, напевно: «А сейчас выступит. Человек. О котором недаром говорят. Что он. Печет блины. Играет на тромбоне. Но в основном. Работает в кино!» Широкий жест в сторону правой кулисы, и на сцену выходит, скромно улыбаясь, тигр — патриарх советского кино, втянув когти в мягкие лапы. Мастер на все лапы, о котором известно в кинокругах, что он и кулинар отличный, и на музыкальных инструментах играет, однако, как сказал Леша, — в основном работает в кино. Лейкина, кстати, шепотом информировал, что «тигр» за «Чехонте» и против «Сосо». Лейкин об этом далее, шепотком, жене в ушко с бриллиантиком. Так что аплодировали Лейкины «тигру» от всего сердца. Вышли в антракте в хорошем настроении. На Лейкине кожаный пиджак, на жене, Жанне, блазер. Вдруг навстречу Юткин с Мишей. Оба коротконогие, низкозадые, большеголовые, жирноплечие, румяные. Юткин чуть повыше.

Хорошая пара. Эти по одному факту выуживать не будут, эти оба одинаково по вязкому дну тянут. Прошли, не заметили. Но тут же Волохотский, добрая душа:

— Сегодняшнюю газету читал?

Газета республиканская, но солидная. И в ней приятная рецензия на фильм «Субботник» по лейкинскому сценарию. Смотрит Лейкин, в той же газете некролог на смерть Алексеева. Повлияла ли на эту смерть история с сигаретами «Искра», трудно сказать, тем более что Алексееву оказалось не девяносто, а девяносто два года.

В Доме ветеранов революции вообще умирали часто, и похороны эти были для стариков чем-то вроде праздничных торжеств, позволяющих вспомнить молодость и, хоть ненадолго, заняться общественной деятельностью. Так, недели за две до Алексеева умер ветеран Хетагуров, старик сравнительно молодой, шестидесятисемилетнего возраста. Он возвращался от своего племянника, у которого был в гостях, и на улице его избили пьяные хулиганы. Вот он в красном гробу, а еще недавно пел в хоре ветеранов революции. Объявлял: «Терская походная», — и запевал вместе с Орловой-Адлер:

Газыри лежат рядами на груди,
Ярким пламенем алеют башлыки.
Красный маршал Ворошилов, погляди
На казачьи богатырские полки.

И хор подхватывал: «Красный маршал Ворошилов, погляди...»

А когда запевали:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе.
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе,

Хетагуров речитативом после каждого куплета повторял: «Смело, товарищи, в ногу! Смело, товарищи, в ногу! Смело, товарищи, в ногу!», причем так громко, на пределе голоса и сил, побагровев в песенном экстазе, и казалось, еще раз крикнет — не выдержит, упадет... И вот упал.

Было много речей, полных гневного пафоса, не меньшего, чем после террористического покушения. Но хватать людей на улице и расстреливать в отместку уже нельзя было. Возраст не тот и время не то. Поэтому говорили речи. Один из ветеранов дрожащим от гнева голосом произнес:

— Преступная рука и преступная нога поднялись на нашего боевого товарища.

Как выяснилось, хулиганы били ветерана не только руками, но и ногами. А бывший пролетарский поэт, как он о себе некогда писал: «Рядовой пролетарского строя», прочел стихи:

На старика обрушились удары.
Упал старик, ушибленный в висок.
Так погибают наши комиссары,
Когда приходит их последний срок.

Хотел выступить и ветеран Прищепенко, тот самый, которого везли «дочки»-санитарки в инвалидной коляске навстречу Лейкину и Юткину и которого соавторы

первоначально приняли за Алексеева. Но поскольку Прищепенко был почти парализован, он сумел отрывисто произнести лишь три слова:

— Ленин... Ильич... Брежнев...

Больше ему говорить не дали, по медицинским и прочим соображениям.

Ну а самого Алексеева, лично знавшего Ленина и бывшего как бы звездой Дома ветеранов, хоронили уже вовсе торжественно. Зачитали некролог, подписанный, среди прочих, несколькими членами ЦК, зачитали телеграмму-соболезнование Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, принесли венок от Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Выступила Орлова-Адлер, которая произнесла речь, полную боли и печали. В конце речи она сказала:

— Николай Алексеевич Алексеев, твердый ленинец, выдающийся деятель международного рабочего движения, навек переселился из этого мира в наши сердца.

Да, долгую жизнь прожил ветеран, но если говорить по-цыгански, то отправился он в дальнюю дорогу, оставив после себя большие хлопоты. Действительно, что делать табачной фабрике «Ява» с затраченными на этикетки средствами? Позвонил Злотников покровителю своему, начальнику Ростабакпрома.

— Посоветуйте, что делать, сам решения найти не могу.

Договорились встретиться в субботу в ресторане «Узбекистан». Время назначить дополнительно, по телефонному звонку, чтоб поспеть к свежему плову. Ибо

оба уже не раз сидели в этом ресторане, будучи любителями восточной кухни, и знали: плов сохраняет свой аромат не более двух часов с момента приготовления. После этого его уже можно скармливать тульским командировочным.

— И вот что интересно, — говорил начальник Ростабакпрома, выпив за пловом несколько рюмок узбекского коньяка специального разлива и закусив вместо лимона зеленой узбекской редькой, смоченной в виноградном уксусе, — вот что интересно, эти ветераны революции не возражают против выпуска нашей фабрикой «Ява» папирос «Беломор», не пишут жалобы в ЦК на сталинский «Беломор». А я, между прочим, — сказал он, понизив голос, — после Двадцатого съезда ставил этот вопрос. Тем более папиросы устаревшие, пятого класса. Знаешь, Алик, что мне ответили? Папиросы «Беломор» для нас такой же символ, как и Магнитка... Символ чего? У меня, между прочим, на Беломоре родной раскулаченный брат погиб.

Они выпили еще, закусили сочной редькой.

— Вот он, символ, — сказал начальник Ростабакпрома и вынул из пиджака шероховатую пачку «Беломора», — сам курю. От многого отказался, а от этого отказаться не могу. Что уж говорить о других людях моего поколения? О простых курильщиках? Наш народ, особенно послевоенное поколение, отравлен сталинизмом еще сильнее, чем правительство. А какой же народный сталинизм без «Беломора», чем же еще забавляться на перекурах?

Пачка папирос «Беломор» была сделана из грубой плотной оберточной бумаги грязновато-белого цвета, и самый вид этой бумаги напоминал тридцатые годы, нечто байковое, портяночное, рабоче-солдатское. С одной стороны пачки строго канцелярски сообщались все данные: «МПП — РСФСР. Ростабакпром. Папиросы пятый класс «Беломорканал». 25 штук — цена 25 копеек. Табачная фабрика «Ява». Москва. ГОСТ 1505-81». Но с противоположной стороны пачки была картинка. Надпись «Беломорканал» сверху по дуге белыми, снежными, ледяными буквами на синем фоне, точно ледяная накладка по посиневшему телу. А под наколкой географическая карта России, закрашенная розоватым, воспаленным. И по этому розоватому, воспаленному, пятиконечной рваной ранкой — Москва, выше — темно-синим рубцом — Беломорский, ниже рубец поменьше — Волго-Дон.

— Вот, — сказал начальник Ростабакпрома и пальцем постучал по пачке в том месте, где ее следовало распечатывать, — вот нас обязали писать здесь: «Минздрав СССР предупреждает: курение опасно для вашего здоровья». А если б с другого торца пачки писали бы: «Комитет памяти жертв Беломорстроя предупреждает: курение «Беломора» опасно для вашей совести», тогда, может, и я бы на другие папиросы перешел. Да вот не пишут, и все мы курим «Беломор», все поколение. А это ведь все равно что курить сигареты «Освенцим». И от чего отвыкнуть не можем, от папирос или от названия? Если от папирос, то почему бы не сменить этикетку? Хотя б «Волго-Дон» назвать. Все ж не так тенденциозно.

Фридрих Горенштейн

Начальник Ростабакпрома был человек не совсем типичный для подобного ранга руководителей, к тому ж в данный момент выпивший и ведущий разговор с подчиненным, которого давно знал и испытал. Но с другой стороны, не следует смотреть на этих людей как на общее серое пятно. Их мало, потому что они нынешнему времени не нужны, изменится время — их станет больше. Некоторые из них не глупы, даже умны, а многие циничны, качество, которое в данном случае должно внушать надежду.

— Борис Иванович, — спросил Злотников, когда обед закончился и он заплатил по счету, — а как же быть с «Искрой»?

— С «Искрой» все будет в порядке, — ответил Борис Иванович и посмотрел на Злотникова веселым хитрым взглядом, голубизна которого была слегка замутнена хмелем, — по поводу «Искры» примем энергичные полумеры. Ты, Алик, должен научиться читать приказы и постановления высших инстанций, иначе из тебя хорошего руководителя не выйдет. Ведь даже партийный лозунг сегодня, если его читать внимательно, имеет в конце не восклицательный знак, а запятую.

И долго еще, несколько месяцев, до самой весны, пока не кончились оплаченные бухгалтерией этикетки, в многочисленных табачных киосках нелегально распространяли «Искру».

Декабрь 1984 г.

Западный Берлин

МАЛЕНЬКИЙ ФРУКТОВЫЙ САДИК

Повесть

Садок вишнэвый коло хаты.

Т. Шевченко

Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву. (Занавес)

А. Чехов. «Вишневый сад»

I

— А это наш маленький фруктовый садик, — шутили сотрудники, когда кто-нибудь из посторонних приходил в наш отдел, — Веня Апфельбаум, Саша Бирнбаум и Рафа Киршенбаум.

Наши рабочие столы рядом, и мы всегда вместе — три друга-товарища. Всякий, кто входил в наш отдел, видел три головы — две черные, одна рыжая, Рафина, — вместе склоненные над расчетами и чертежами. Впрочем, в последние дни я, Веня Апфельбаум, на бюллетене, по причине зубной боли, воспаления и флюса. Поэтому из дому вышел не как обычно, когда шел на работу, в половине восьмого, а в одиннадцатом часу.

Было ясное, свежее, «старушечье» утро. Старушки, говорят, просыпаются рано, в пятом, в шестом рассвет-

ном, но улицы заполняют они к одиннадцати, когда все торопящееся, толкающееся, спешащее окончательно схлынет и после того минет еще полчаса-час, чтоб воздух посвежел, да пыль осела. Стариков к этому времени почти не видно и не только потому, что по статистике их меньше. Старик чаще петушится, его в суету тянет, все нервную молодость вспоминает, а старушка на молодость редко оглядывается — минула, и с плеч долой. Живет и живет неторопливо. И город нервный, визжащий, кричащий, к одиннадцати утра перейдя в старушечьи владения, распускается, расплзается. Трамваи звенят не тревожным пожарным звуком, подлетая к переполненным светливым остановкам, звенят мягко, угодливо, точно не электрическая сила в них звенит, а простой колокольчик, пружинный звонок, который дергал через коленчатый рычаг за проволоку кондуктор старушки конки. Хорошо пройтись беззаботному человеку в такое «старушечье» утро при ясной погоде.

Однако я далеко в сторону ушел от сути. Не в старушках дело, а в том, чтобы обозначить время и обстановку, когда я вышел из дома и сел в полупустой вагон метро на Преображенской площади, чтоб ехать к центру. О беззаботной прогулке речи быть не могло, ибо ночь я провел ужасную. Не буду описывать свинцовую голову на тонкой, слабой шее, не буду описывать по-температурному жарких слезящихся глаз. Скажу лишь, что ночь я провел на допросе. Допрашивали меня с применением пыток средневековых и новейших мои собственные зубы, а камерой пыток была моя собственная, однокомнатная, кооперативная квартира. На

допросе я вел себя не героически: выл, стонал и царапал ногтями стены. Не сомневаюсь, что за час покоя и сна я выдал бы все государственные тайны, если бы их знал и если б такого от меня потребовал сонм гнилостных микроорганизмов костоеды, терзающих мою воспаленную зубную мякоть. К рассвету, однако, костоеда временно помиловала. Я понимал, что временно, до следующего ночного допроса, ибо такое уже обозначилось — утром меня отпустили подумать, а к ночи опять начинали зудеть, сверлить, пилить, жечь.

Первые приступы зубной боли, случившиеся месяца два тому, я встретил, как теперь понимаю, легкомысленно, просто пополоскав рот дагестанским коньяком «Приз» с лошадиной головой на этикетке, который кстати оказался под рукой, поскольку дело было на товарищеской пирушке вскладчину по случаю выдачи нашему отделу внеочередной, неожиданной денежной премии. Занимается отдел нашего НИИ замазками. Я лично тружусь над диссертацией по теме: «Железная замазка». Для неповященных излагаю популярно: железная замазка употребляется в машиностроении и железобетонном строительстве. Состоит из железных опилок, серы и нашатыря. Если забить такую смесь в щель, то она плотно пристает к железу или камню, твердеет весьма сильно. Дело это — перспективное, нужное нашему начальству, и я надеюсь вскоре «остепениться» и получить увесистую прибавку в тугриках, сиречь в рублях, к жалованью, сиречь к зарплате. Конечно, ничего нового в железной замазке нет, ее применяли лет уж сто назад, и в кое-каких конкурирующих с нашим НИИ кру-

гах этот способ считается давно устаревшим. Но нашему начальству удалось в инстанциях доказать его дешевизну, простоту и надежность. Способ прошел успешные испытания в промышленных условиях, и, кстати, именно за железную замазку наш отдел получил внеочередную премию, устроив вскладчину очередную пирушку.

Веселились мы по моде семидесятых: слушали магнитофонную гитарную поэзию, рассказывали анекдоты про Брежнева, пели лирико-иронические песни: «...мы мирные юдэн, но наш бронепоезд стоит на запасном пути... тра-та-та-та».

Голос у меня неплохой, у Саши Бирнбаума терпимый, а у Рафы Киршенбаума почти профессиональный, что неудивительно, поскольку его родной дядя Иван Ковригин, урожденный Иона Киршенбаум, — солист военного ансамбля. Голос — труба. Поет широко. «Ка-а-а-а-а-а-а-а-а... — конца не видно.. Уж и у меня, зрителя, дыхания не хватает, а он все: ...а-а-а-а-а, — и наконец, как радостный вздох облегчения и преодоления: — ...линка, ка-линка, калинка моя. В саду ягода малинка, малинка моя... Ай, люли-люли, ай, люли-люли, спать положите вы меня...»

Вот в том-то и дело, заснуть бы хоть на часок. Во время ночного допроса, во время терзания костоедой этот плясовой мотив звучал, как в полубреду. «А-а-а-а-а-а-а» — полоскал шалфеем, как Чехов советовал в рассказе «Лошадина фамилия», мазал воспаленные десны кефиром, как советовала зубная врачиха Марфа Ивановна.

К Марфе Ивановне я пошел по рекомендации Саши Бирнбаума, где-то через неделю после пирушки, на которой впервые ощутил покалывание и сверление, быстро ликвидированное дагестанским коньяком. Через день, однако, сверление возобновилось в самый неподходящий момент, на совещании у директора НИИ Кондратия Тарасовича Торбы, человека доброго, но непредсказуемого. Мы как-то с ним пиروвали, так он, выпив, показал себя ругателем нынешней действительности и достаточно высокого начальства из министерства. А про замминистра выразился:

— Что у него ни спросишь, все ответит неопределенно. Разве так большевики отвечают? Лейборист какой-то. — Потом задумался, посветлел лицом и сказал: — Вот в войну, ребята, тяжелое было время, но какие люди были. И была какая-то романтика драки...

Так по-домашнему говорил, однако на совещании сидел недоступный и опасный, покусывая длинный буденновский ус и в самом деле похожий на Семена Михайловича. Кстати, папаше Саши Бирнбаума, Лазарю Исаковичу, довелось поработать в Министерстве сельского хозяйства и с самим командармом Первой конной, о чем он рассказывал. Группа донских казаков, какие-то ходоки обратились в финансовый отдел министерства с неким несуразным требованием по поводу лошадиных дел. Получив отказ, пошли с жалобой к Семену Михайловичу, который как раз этими лошадиными делами заведовал при Министерстве сельского хозяйства. Тот вызвал Лазаря Исаковича. Сидит нахмуренный, ус покусывает.

— Почему народ обижаешь?

— Так ведь нельзя, Семен Михайлович. По министерскому регламенту, по финансовой смете...

— Нельзя? А почему жида Христа распяли? Это можно?

— Так и сказал? — ошарашенно спрашиваю я.

Все-таки в детстве пели песни: «С нами Сталин родной, Тимошенко — герой, Ворошилов и славный Буденный...» или «Никто пути пройденного у нас не отберет, конница Буденного, дивизия — вперед...».

— Так и сказал? — все не верится мне.

— Так и сказал, — пожимает плечами и разводит руками Лазарь Исакович, который в домашней пижаме рассказывает все это нам за домашней вишневой наливкой, необычайно ароматной, потому что Бетя Яковлевна, Сашина мама, каждую косточку в каждой вишенке заменяла кусочком грецкого орешка.

— Ну и что? Чем кончилось? — спрашивает Рафа Киршенбаум.

— Чем кончилось? Чем это может кончиться? Пришлось выполнять указание Семена Михайловича, а потом я выкручивал голову, как это оправдать в финансовой смете.... Ничего... Гурнышт... Азой идыс... Ах, азохен вей...

Как-то я с семьей Бирнбаумов поехал на пляж и оказался в самой гуще им подобных евреев. У них там свое место, что-то вроде пляжного гетто. Все с обвисшими, как мокрое белье животами, постоянно ругаются меж собой и едят помидоры, огурцы, вареную курятину, вытаскивая ее из стеклянных банок... Еврейский

неореализм. Но это хоть понятно, а почему Рафин дядя, Иван Ковригин, вдруг начал носить ермолку? Ведь совсем недавно истинно по-русски солировал с таким же, как и он, пузатым, седым солдатом Андреем Масоловым. У обоих пряжки солдатских ремней лежали на далеко выпяченном вперед пупе, стояли оба живот к животу — не отличишь. А вот в начальствующих сферах отличили, обидели дядю Иону. Впрочем, может, сам дядя Иона виноват. Человек он заносчивый, обуреваемый демоном тщеславия. Не только поет, но и стихи сочиняет, и музыку пишет. Целый мюзикл сочинил на простонародный русский сюжет.

Живет Ковригин-Киршенбаум после очередного развода и размена в одном из переулков старого Арбата на первом этаже пятиэтажного, дореволюционной постройки дома с каменными нимфами у парадного входа. На округлом животике около пупочка одной из нимф то ли краской, то ли углем написано нехорошее слово. Но лучше всего не сразу входить в подъезд и звонить в усыпанную звонками и фамилиями дверь квартиры, а предварительно постучать в окно — третье от угла. Ориентиром также служит надпись на кирпичной стене — «Копытов — гад», похоже, тем же почерком, что и нехорошее слово у нимфы на животике. Лучше стучать в окно, чтоб не тревожить звонком соседей, с которыми у Ковригина-Киршенбаума, разумеется, плохие отношения, вплоть до судебных.

— Народ серый, мерзкий, — говорит дядя Иона, — пишут на меня, что я даю частные уроки музыки и вообще мешаю им своей игрой на рояле и пением. Куда

деваться, не знаю, от их всевидящего взгляда, от их все-слышащих ушей... Какой-то гордиев узел...

Комната у дяди Ионы по коммунальным масштабам не маленькая, но повернуться негде, то и дело за что-либо цепляешься или что-либо опрокидываешь. Вещи стоят тесно, в беспорядке, по всей видимости, это обстановка нескольких комнат, свезенная в одну. Вещи и мебель старые, экзотические: красное дерево, шелк, мрамор, бронза. На стенах несколько картин, как уверяет дядя Иона, дорогие подлинники. Вдоль стен книжные полки поблескивают золочеными корешками.

— Куда я это все дену, как упакую при дальнем переезде? — тревожится дядя Иона. — Я все сюда, на Арбат, еле привез, и с потерями. Вот, хрустальный абажур лампы разбил, а ему цены нет.

Лампа, точнее, бронзовая скульптура обнаженной женщины, держащей в своих поднятых кверху руках расколотый абажур, стоит прямо посреди комнаты возле рояля, и об нее беспрерывно то спотыкаешься, то за нее цепляешься. Впрочем, как я уже говорил, тревожиться о перевозке вещей на дальние расстояния дядя Иона начал совсем недавно, после истории с куплетом. Правда, ныне он говорит, что «куплет» был лишь последней каплей, поскольку к нему и ранее придирались.

— Масолову, с которым мы вместе солируем, присвоили звание, а мне нет... Но главное, мой мюзикл запретили из-за моей пятой графы.

Над мюзиклом дядя Иона работал действительно вдохновенно. Я помню, как он, высокий, Киршенбаумы все высокого роста, Рафа в нашем трио самый вы-

сокий, помню, как дядя Иона, высокий, в своем длинном бухарском халате, среди своих антикварных вещей, сам похожий на антикварную вещь, садился за рояль и наигрывал отрывки из своего мюзикла «Варя-Варечка», актерски исполняя разные роли, меняя голос и напевая то тенором, то баритоном в зависимости от той или иной партии.

— Много ездил я по стране, — говорил дядя Иона, — и с гастролями, и за свой счет, и всегда старался услышать и записать народные песни. Песни с традиционно крестьянским смыслом, многоголосые, широко распетые. Например, песня: «Отец мой был природный пахарь». Или другой пример: когда борщ на стол подают, поют: «Ешьте, гости, борщечек, у нас целый горшочек!» Вот в таком стиле я писал мюзикл. Например, монолог Вари... — Дядя Иона меняет голос и кокетливо произносит, растягивая слова сочным женским тенорком: — «Я не хочу такого негодяя, а выйду замуж я за Николая...» И тут же сразу песня: «Расскажи мне, Коля, про степей раздолье...» Или партия Николая... — Дядя Иона запекает тихим душевным баритоном:

И со всею силой по лицу милой он ударил рукой
За ее измену с механиком Геной в вечер под выходной...

Столько работы, и запретили с формулировкой «искажение действительности». Однако мне сообщили, что в кулуарах были неофициальные высказывания определенного сорта. Я эти высказывания с шести лет знаю. В Средней Азии жил в городе Намангане. Прибегаю и говорю: «Мама, меня во дворе как-то по национальному назвали. Таджики, кажется. «Жи» я услышал, а осталь-

ное не понял». Однако теперь мне не шесть лет, я теперь понимаю и остальное... — Разволновавшись, дядя Иона краснеет, берет с полки бутылку сливовицы, разливает в золоченые, антикварные бокалы, мы выпиваем, отчего дядя Иона краснеет еще более. — А тут как раз история с куплетом подоспела последней каплей, — продолжает он, совсем загрустив и обозлившись. — Вы, конечно знаете русскую народную песню «Коробейники». В ансамбле я ее всегда на бис исполнял. Публика постоянно повторения требовала. Хороша песня и для публики, и для исполнителя — сама из горла льется: «Пожалей, душа зазнобушка, молодецкого плеча», — мигом состроив концертное вдохновение на лице, с чувством пропел дядя Иона. — И вот из-за этой песни скандал. Может, кое-кому не понравилось, что я с моим пятым пунктом пою ее лучше многих знаменитостей. Пою не механически, как граммофон, а живо и каждый раз по-новому. Пою не как исполнитель, а как артист, а у артиста, если он вдохновлен, в каждом спектакле одна и та же роль в новом образе... Да... Иногда пою, и у самого мурашки по телу: «Эх, цены сам платил немалые, не торгуйся, не скупись. Эх, па-а-а-а-адставляйка губки алые, ближе к милому прижмись...»

В стену застучали. Стены в этом старом доме толстые, звуконепроницаемые, но одна из стен, оказывается, перегородка позднего происхождения, разделяющая бывшую очень большую комнату, почти залу. В большей части бывшей большой комнаты живет дядя Иона со своим антиквариатом и роялем, а в меньшей части живет токарь Хренюк со своей женой Надей.

— Я ему морду побью, — слышен из-за перегородки мужской голос, видно, самого Хренюка.

— Тише, Ваня, тише, не надо, — урезонивает женский, видно, Надин.

— Слышите, — гневно реагирует дядя Иона, — я должен жить в таких условиях, — и вдруг хорошо поставленным голосом выпаливает: — Физия—хамская! С-с-скотина! — Он поворачивается к нам. — С ними иначе нельзя, на голову сядут... Вот, затих. Они пугливые, если один на один. В стае — другое дело. Когда они в стае, с ними не поспоришь, когда они от имени общестственности, от имени народа. Так и с куплетом получилось. Обычно последний куплет «Коробейников»: «Знает только ночь глубокая, как поладили они, ра-а-а-а-аспрямись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани... Э-э-э-э-э-э-э. Все!» Однако я разыскал еще один в старом песеннике: «Старый Сидорыч ругается, я уж думал, ты пропал. Вася только ухмыляется: я, мол, ситец продавал... Э-э-э-э-э-э-э... Все!» Этакий, знаете, скомороший, карнавальнй конец истинно в народном духе. Однако — нет, затормозили: «Лирическую песню хочет в сатиру превратить, в анекдотики. Насмешечки строит над нашим национальным». Это так в кулуарах. А официально сформулировали округло, как умеют. Не придерешься, сам в дураках останешься. На беду еще, главного Тимофей Сидорович зовут, намек почувствовал... Они, знаете, про нас еврейские анекдотики рассказывать горазды — «кухочка» — и от души веселятся. А про себя ничего не терпят, реагируют болезненно, как горбатые. Нет, господа-товарищи, и вы потерпите. Если

так, будем взаимно невежливыми... Да... Перелом за перелом, ожог за ожог... Хватит любить чужое, надо наконец полюбить свое. Хватит любить врага, надо наконец полюбить себя как врага своего. Вывернутой наизнанку Христовой заповеди — вот чего нам, евреям, не хватает: полюби себя, как ты любишь врага своего! — Дядя Иона все более ожесточает и распяляет себя. — Гоим, хазерим, свиньи, мужики, хамы...

Мне даже неприятно становится с непривычки. К противоположному я привык: «Жид пархатый номер пятый». Это нормальный, натуральный реализм, который вписывается в окружающую действительность: небо сверху, земля снизу. А от высказываний дяди Ионы сюрреализмом отдает — небо снизу, земля сверху. Тревожный, непривычный мир... Смог бы ли я жить, смог бы ли дышать в таком мире?

— Вы, ребята, через недельку заходите, — говорит дядя Иона, — я вам кое-что из своего нового репертуара покажу... Если своего оружия нет, воюем трофейным оружием врага... Заходите через недельку...

Однако через недельку я не зашел. Зуб разболелся, как я уже говорил, прямо на совещании у Кондратия Тарасовича Торбы. Совещание было трудным, неприятным. То внеочередную премию получили, а теперь и очередная срывалась из-за обыкновенной замазки для оконных рам. Замазка, разработанная нашим отделом НИИ, оказалась негодной, отовсюду поступали жалобы, и ее промышленное производство пришлось прекратить. Оконная замазка состоит из толченого мела и конопляного масла. Однако в прежние времена для со-

хранения мягкости и прочности прибавляли еще коровьего масла. Ныне же разработанный нашим отделом заменитель коровьего масла оказался неэффективным.

— Что вы мне подсунули? — кричал добрейший Кондратий Тарасович Торба и стучал кулаком. — Вы бы такую олифу в свою мацу рекомендовали вместо христианской крови?

Когда они разволнуются, то говорят Бог знает что. К тому ж Кондратий Тарасович Торба с фронтовых времен контуженый и не всегда владеет своими нервами, особенно после разноса, который устроили ему в министерстве. Но человек он все-таки не злой, отходчивый хохол. Недаром о нем говорили: «Катылася торба з высококого горба, а в тий торби хлиб-поляныця, з кым ты хочеш подилыться?» Конечно, лучшее Торба себе брал, но и делился: тому прибавит жалованья, тому подбросит премию, того повысит в должности, тому внеочередной отпуск. Бирнбаум мне рассказывал, что Кондратий Тарасович через два дня его вызвал к себе и не то чтоб извинился, а скорее в мягких тонах объяснил причину своего волнения. В отделе кадров министерства ему порекомендовали произвести некоторое сокращение штатов, поскольку в НИИ работает слишком много евреев.

— Как же так? — говорил Кондратий Тарасович Торба. — Я на них опираюсь, а мне их предлагают сократить.

Именно — опирается. Наш маленький фруктовый садик консультирует, или, проще говоря, пишет Кондратию Тарасовичу диссертацию по деревянной замазке, применяемой в столярном деле. И как мне сообщил

Бирнбаум, неудачу с оконной замазкой удалось компенсировать удачей со шпаклевкой, замазкой для заполнения трещин и неровностей дерева, причем наш заменитель коровьего масла здесь пришелся весьма кстати в смеси со столярным клеем и мелом. Так что отмененную премию все-таки удастся получить.

Но меня, лежащего с огромным флюсом после бессонных ночей и бесполезного дневного хождения по стоматологическим кабинетам, как-то не слишком вдохновляли эти успехи нашего НИИ. Поразительно меняется человеческая психология в зависимости от физиологических и моральных ощущений. За три недели несносных болей и бесполезных поисков спасения я ожесточился не менее дяди Ионы, хоть, конечно, без его крайностей. В одну из ночей, в полубреду, я даже написал заявление: «Прошу разрешить мне выезд в Израиль для лечения зубов». Это заявление я к утру, когда утихло, разумеется, разорвал, но идея осталась. Каждый приходит к этой идее своим путем. Вообще, под влиянием зубной боли я все более бунтовал и все более удалялся от нормы. Мир дяди Ионы с «хазерами» пугал по-прежнему, но и привычный мир с жидами тоже терпим лишь до ситуаций чрезвычайных. И наступает то состояние безысходности, которое чревато непродуманными проступками. Однако изложу по порядку развитие воспалительного процесса в моей зубной мякоти и параллельно развитие воспалительного процесса в моей психике.

В солнечный теплый день, может быть, в один из последних теплых дней этого года, шел я к Марфе Иванов-

не, зубной врачихе по рекомендации Бирнбаума. Помимо зубной боли, разбудившей меня в третьем часу ночи, ныл желудок, тяжело, камнем давил под левые ребра.

— Она такая милая, ласковая, чистенькая, — говорил о Марфе Ивановне рекомендовавший ее Бирнбаум в ответ на мой утренний телефонный звонок, — инструменты у нее в идеальной чистоте.

Действительно, Марфа Ивановна оказалась миловидной женщиной лет под сорок, в золотых очках, в белоснежном накрахмаленном халате и белоснежной шапочке на кукурузного цвета волосах. Зубоврачебный кабинет ее располагался в небольшом медпункте какого-то учреждения то ли закрытого, то ли полузакрытого типа. Во всяком случае, мне пришлось обратиться к пожилой низкорослой женщине-охраннице с наганом на поясе поверх синего бушлата. Я предъявил паспорт. Охранница позвонила по настенному телефону, назвала мою фамилию и затем выписала на бумажке со штампом пропуск. В медпункте было тихо, чисто, малоллюдно, несколько пчел успокаивающе гудели над большим букетом свежих цветов в стеклянной вазе. Казалось бы, незначительные детали, не имеющие прямого отношения к зубоврачебной медицине, но едва я вошел, окунулся в эту атмосферу тишины и стерильной чистоты, как болеть стало меньше, в больной челюсти слегка лишь покалывало и постукивало, а желудок и вовсе прошел. Какой, однако, контраст с поликлиникой, всегда по-вокзальному переполненной, нервной, со страждущим людом, с вечными спорами, по номерам ли идти или в порядке живой очереди. Причем, как правило, на-

стаивали на «живой очереди»: «Они номерок возьмут и на воздухе прохлаждаются, а мы здесь с самого утра». Чего только не наслышишься в такой «живой очереди». Помню, в дни смерти Сталина я юношей тоже мучился зубами и сидел в такой «живой очереди», у себя в провинциальном городе. Помню разговоры. Молодая, с перевязанной щекой, сквозь рыдания:

— Врачи-убийцы. Они убили товарища Сталина.

Пожилая, горячими углями глаз поглядывавшая на меня, к молодой, как бы угроза в мой адрес:

— Молчи. Без нас разберутся...

«Но теперь все-таки иные времена. То, что было опасным, стало просто неприятным. А то, что просто неприятно, всегда можно преодолеть усилием воли или циничным пренебрежением». Так я мысленно успокаивал себя под впечатлением нахлынувшего воспоминания, когда садился в зубоврачебное кресло. Нависающий клюв бормашины всегда вызывал во мне дрожь, но прикосновения Марфы Ивановны были так нежны, что я даже начал получать некоторое удовольствие, когда она острыми крючочками ковырялась в моем зубе, когда она, поблескивая зеркальцем, наклонялась ко мне и просила меня своим милым, ласковым голосом держать рот пошире открытым и даже когда она блестящими щипцами доставала из чистой аптечной баночки вату и кормила меня этой невкусной, шершавой ватой, обкладывая воспаленную десну, все равно было приятно и спокойно. Правда, зубоврачебная бурильная машина, как всегда, показала себя, все время, пока она выла, ныло под сердцем, а несколько

раз острая боль сначала была вниз, прокалывая челюсть, а затем вверх, в мозг, выходя через затылок. Я косил тогда молящим, страдающим глазом и видел лицо Марфы Ивановны, дрожащее высоко надо мной.

— Сейчас, сейчас окончу, миленький, — успокаивающе шевелились крашенные помадой губы.

Наконец она остановила машину, позволила мне сплюнуть кровавую слюну в плевательницу, подала тепловатую воду в чистом стакане, и опять наступила райская тишина, пока она возилась у меня за спиной, готовя замазочку для пломбы.

— Через десять дней придете для контроля, — сказала она мне, когда все было завершено и пломба плотно замазала дупло моего зуба-мучителя. Я в порыве благодарности поцеловал Марфу Ивановне руку. Она улыбнулась очень светло, с морщинками у глаз, и сказала:

— Зуб ваш уж свое отболел. Два часа не есть и не пить.

«Хорошая женщина», — думал я о Марфе Ивановне, идя пешком по солнечной улице параллельно трамваям, пронесившимся мимо. В вагон лезть не хотелось. Силы, отвлекаемые и растрачиваемые прежде на зубную боль, как-то разом возвратились, наполнили тело, наполнили пружинистые ноги, казалось, всю Москву пересечь могу без усталости, и действительно, даже не заметил, как дошел от Сокола, где располагалось учреждение, при котором работала Марфа Ивановна, к площади Пушкина. «Хорошая женщина», — думал я о Марфе Ивановне, — уже не первой молодости, но на молодую не променяешь. Отчего Саша Бирнбаум ни-

когда не приглашает ее к нам на пирушки? Впрочем, наверно, она замужем, у нее дети... Жаль... Но все-таки хорошо... Как хорошо...» Я словно бы опьянел от этого поразительного, великолепного чувства отсутствия зубной боли. Не хотелось даже ни с кем встречаться, хотелось как можно дольше наслаждаться радостным чувством полного здоровья в одиночестве. Тем не менее позвонил в НИИ, в наш отдел, сказал, что с понедельника смогу выйти на работу, потом попросил к телефону Сашу Бирнбаума, поблагодарил его, попросил еще раз от моего имени поблагодарить мою спасительницу и заодно спросил, как с ней расплатиться. Договорились встретиться завтра за дружеским ужином с водкой, жареными грибами и рубленой селедочкой.

— Заодно, — сказал Саша, — обсудим и детали.

После нескольких мучительных бессонных ночей и сегодняшней радостной пешей прогулки по солнечной Москве я почувствовал себя таким утомленным, что лег без ужина в седьмом часу вечера еще при светлых окнах и, едва опустил голову на подушку, тут же замертво уснул. Проснулся я ночью, непонятно от чего. Потом глянул на часы и понял — начало третьего, время, когда она обычно приходила, если до того — затихала. А если не затихала, то в это время особенно усиливалась. И едва я понял, что проснулся во время ее обычного прихода или усиления, как почувствовал — она опять со мной. Да не просто опять такая, как была, а уж в новоприобретенном качестве, напоминающем те моменты, когда Марфа Ивановна мне зуб сверлила: сначала сверху вниз раскаленной иглой прокалывало мне челюсть, а потом

снизу вверх било в мозг и выходило через затылок. Боль стучала, как маятник. «А-а-а-а-а-а... Спать положите вы меня... Ай-люли-люли, ай-люли-люли... Спать положите вы меня... Ка-а-а-а-а-а-а...» Вот уж и рассвет, вот уж и солнце нового дня...

При этом солнце, под этим солнцем еду незванным гостем к Марфе Ивановне, еду на такси, чтоб быстрее, чтоб опередить боль, которая, чувствую, еще не сказала своего последнего слова. Знакомая проходная на Соколе, знакомая охранница с наганом. Говорить и объяснять трудно, но охранница и без слов понимает — моя щека уже набрякла. Я показываю паспорт, она, как и вчера, звонит по настенному телефону, меня пропускают. Так же тихо, малоллюдно, чисто, так же гудят пчелы над букетом свежих цветов, но теперь это не успокаивает, а раздражает. Гудение пчел, как ножом по стеклу, терзает напряженные нервы. Приходит Марфа Ивановна все в тех же золотых очках, в том же белом накрахмаленном халате и белой шапочке, но теперь это вызывает чувство холода, меня от этого знобит. И сама Марфа Ивановна сегодня выглядит по-другому, лицо мятое, рот недобро сжат.

— В чем дело?

— Болит.

— Садитесь в кресло. Откройте рот. Теперь закройте. Понятно. У вас неправильный, патологический прикус, и в результате ваши зубы пептонизированы.

Что такое «пептонизированы», я не знаю, но, судя по слову, это нечто страшное. Я вообще боюсь медицинских терминов — гопотомия, гипотермия, перистальтика... Когда болел мой отец, подобные слова по-

стоянно звучали в нашем доме. И действительно, отец вскоре умер. А вот теперь эти слова настигли и меня.

— Но что ж мне делать? — со страхом и надеждой спрашиваю я.

— Нужна сложная челюстная операция. Возможно, даже пересадка тканей. Я тут вам, как вы сами понимаете, помочь не могу.

— А кто же мне может помочь?

— Не знаю. Не уверена, делают ли у нас вообще такие операции. Кажется, в Америке делают и еще-кое где. Есть еще одна страна, где делают... — Марфа Ивановна смотрит на меня неопределенно, туманно...

Не трудно понять, что она хочет сказать этим понятным намеком: «Уезжай туда, пусть тебя там лечат»? До Америки далеко, до «еще одной страны» не ближе. Что мне делать сейчас, сегодня днем и будущей ночью, особенно в третьем часу, когда боли станут несносными?

Спросил я так многословно или просто повторил свой прежний вопрос: «Что мне делать?» Уж не помню, в голове туман. Помню лишь, положил на край стола десять рублей, и Марфа Ивановна накрыла их книжкой.

— Если будет сильно болеть, — сказала Марфа Ивановна и посмотрела на меня мягче, почти как в прошлый раз, — если терпеть не сможете, возьмите на палец кефир и помажьте десна возле больного зуба.

Действительно помогло. Минут на десять становилось легче. К утру вовсе удалось забыться от усталости и изнеможения. Проснулся около полудня. На столе пустые кефирные бутылки, на полу и на столе засохшие кефирные пятна, во рту кисло, тошнит от кефира — состо-

яние ужасное. Однако и зубная боль, видимо, утомилась, ныло терпимо, словно в отдалении, собираясь с силами, чтоб опять вплотную приблизиться в следующую ночь. Воспользовался передышкой, сосредоточился, подумал, что предпринять. Думал недолго, как-то сразу всплыла фамилия — Вайнтрауб. Действительно, как я сразу к нему не обратился? Борис Вайнтрауб несколько лет назад работал в нашем отделе НИИ, его даже причисляли к нашему фруктовому садику. Правда, дружба с ним не получилась, с Рафой Киршенбаумом он напрямую поскандалил и вообще работал у нас недолго, но какие-то связи я с ним сохранил, иногда мы перезванивались, то он мне позвонит, то я ему, когда делать нечего, а поболтать хочется. Вспомнил, что Вайнтрауб рассказал как-то — у него связм с медициной, поскольку он работает теперь в НИИ по проектированию медицинской аппаратуры. Позвонил — Вайнтрауба дома нет и быть, кстати, не может, поскольку время-то рабочее.

— А кто это? — спрашивает молодой женский голос, видно — жена.

Действительно, ведь Вайнтрауб рассказывал, что недавно женился. Хотел пригласить на свадьбу, но якобы не смог дозвониться.

— Это товарищ Бориса, Веня Апфельбаум.

— У вас к Боре срочное дело?

— Видите ли, для меня срочное... У меня зубы болят... Конечно, я понимаю, стыд, срам своими болезнями людей беспокоить, но видите ли, болит...

— Позвоните ему, — и назвала номер, — это его рабочий телефон... Попросите замначальника отдела.

«Ого, Вайнтрауб уже замначальника». Звоню.

— Пожалуйста зам. начальника отдела товарища Вайнтрауба.

— Куда вы звоните? — сердито спрашивает меня низкий мужской голос.

— Простите, это НИИ по медицинской аппаратуре? Извините, не знаю точно, как называется ваше учреждение.

— Кого вам надо? — не отвечая на мой вопрос, сердито допрашивает мужской голос.

— Вайнтрауба.

— Никакого Вайнтрауба здесь нет.

Гудки. Опять звоню домой Вайнтраубу.

— Тысячу извинений, миль пардон. Наверно, я неправильно записал телефон. По этому телефону Вайнтрауба нет.

— Ах, простите, я вам забыла сказать, что Боря теперь не Вайнтрауб, а Борщ.

— Борщ? Почему Борщ?

— Это моя девичья фамилия. А по закону муж имеет право взять фамилию жены, точно так же, как жена фамилию мужа.

«Значит, Борщ. Борис Борщ — хорошо звучит! Вот ловкач».

Звоню и прошу к телефону товарища Борща. Соединяют. Борис у телефона.

— Почему ты сразу мне не позвонил? Ведь ты знаешь, как я к тебе отношусь, я всегда готов помочь хорошему человеку. Неудобно? Что за пижонство. Неудобно, когда туфли жмут или когда штаны через

голову надеваешь... Извини меня, Веня, но ты пижон, и за свое пижонство страдаешь. Сколько у тебя дней зубы болят? И это тебе надо? Завтра пойдешь к моему племяннику, Моисею. Зубной врач первой категории. Его бы в Кремлевку пригласили, если б не пятый пункт... Знаешь, полы паркетные, врачи анкетные... Но ничего, ему и у художников неплохо... Все знаменитости стараются к нему. Без пяти минут кандидат медицинских наук... У тебя что болит?

— Я же сказал, зубы.

— Я понимаю, зубы... По поводу другой болезни обычно обращаются к урологу. Хоть можно и перепутать. Знаешь — грузин приходит к глазнику: «Доктор, памагыте. Кагыда сыцать начинаю, гылаза на лоб лэзут». Но шутки в сторону. Зубы бывают разные. Бывают резцы, бывают клыки, бывают коренные.

— Кажется, коренные.

— Коренные — значит, тебе особенно повезло. У Моисейчика по коренным диссертация. Его у нас в семье Моисей-хухем зовут. Моисейчик-хухем... Умница... Скажешь — от дяди Бори, он тебя примет, как родного. Считай, что зубы у тебя уже не болят. Ну а так что нового? Последний слыхал? Четыре еврея сидят на Марсе...

II

В большой приемной «у художников» было тесно от ожидающих своей очереди больных. Несколько, как и я, были с флюсами, одна дама то сидела, скорчившись, то начинала покачиваться, и от ее покачивания мой зуб

днем начинал ныть совсем по-ночному. Обстановка не-приветливая, друг на друга косят, меж собой не общаются, сидят тихо, господствующий звук — маятник настенных часов, да ветер, завывая, треплет за окном деревья. Глянешь влево — пятнадцать минут минуло, опять глянешь — полчаса прошло. Хоть Вайнтрауб и обещал, что меня примут «как родного», судя по всему, здесь мое положение еще более бесправное, чем в своей районной поликлинике. Да и обстановка «у художников» напоминает общедоступную, минздравовскую: душно, грязновато, бедно, персонал проходит мимо со скучающим, равнодушным лицом. Подошел к регистратуре, начал приветливым, угодливым интимным шепотом:

— Я от Бориса Леонидовича к доктору Вайнтраубу.

— Сидите и ждите, — перебила официально, даже не спросив фамилии.

Самого «доктора Вайнтрауба» я увидел мельком где-то через полтора часа ожидания. Приоткрыв дверь кабинета, он что-то сказал вдогонку выходящей молодой медсестре с архирусским вздернутым носиком. Кажется, пошутил, потому что оба рассмеялись. Вскочив со своего места, я, под неприязненными взглядами иных ожидающих, быстро приблизился и сказал:

— Здравствуйте, доктор. Я Апфельбаум. От Бориса.

Доктор продолжал смеяться вслед уходящей медсестре, показывая свои, довольно кривые, прокуренные зубы, что меня неприятно насторожило. Впрочем, сапожник ходит без сапог, успокоил я себя. С некоторых пор, с начала моих мучений, я начал заглядывать людям в рот, так же, как модница глядит, что носят иные. Вот и я

смотрел, какие у кого зубы, завидуя тем, у кого они белые, ровные, как у молоденькой медсестры, блеснувшей улыбкой, адресованной «доктору Вайнтраубу».

— Придется немного посидеть, — сказал мне «доктор Вайнтрауб», скрываясь опять в кабинете.

«Доктора Вайнтрауба» я уже много раз видел под другими фамилиями и в других обстоятельствах. Это именно тип «хухема» — лобастый, очкастый, с большим плотоядным ртом, на щеках юношеский румянец. Принял он меня последним, когда приемная была уже совершенно пуста и из кабинета вышел посетитель, пришедший гораздо позже меня под вечер, ибо уже темнело.

— Так, — сказал «хухем», поблескивая зеркальцем на лбу, — очень интересно... Попрошу всех сюда, — обратился он к медсестрам и каким-то молодым людям, очевидно практикантам. — Какие усложненные формы, явно многобугорковые и многокорневые. Вот уж действительно не спутаешь с костной тканью. Как давно это у вас? — обратился он ко мне.

— Недели три... Особенно ночью.

— Понятно... Ну, процесс разрушения, конечно, начался гораздо раньше... Закройте рот... Патологический прикус, редко встречаемый. И плюс общее воспаление. Вы должны перестать пользоваться спичками для очистки зубов после еды.

— Но я не пользуюсь.

— Значит, вы пользуетесь плохими зубочистками. Всякого рода зубочистки, обладающие острыми верхушками или острыми краями, вредны, потому что,

проходя по зубной щели, они ранят десны, и в загрязненных ранах поселяются гнилостные микроорганизмы, обращающие ваши зубы в очаг гниения и разложения. Затрудняется химическое воздействие фермента слюны на пищевой комок. У вас, безусловно, нарушения функции пищеварительного аппарата, нарушен обмен веществ.

— Но что же делать? — спросил я, окончательно запуганный.

— Что делать? — развел руками «хухем». — Если бы я знал, что делать, я был бы уже лауреат Нобелевской премии, — он сверкнул глазами в сторону молоденькой, курносой медсестры, и та опять колокольчиком засмеялась. Улыбались и стоящие вокруг медсестры и практиканты. Очевидно, Моисей-«хухем» был их любимым авторитетом, особенно у женщин. — Знаете ли вы, что один американский миллионер, так же страдающий вашей болезнью, выделил несколько миллионов в качестве премии тому, кто найдет способ излечения... К сожалению, я пока не нашел. Единственно, что я могу вам посоветовать — правильно пользуйтесь зубочистками и зубными щетками, надо чистить зубы не только спереди, но и под жевательными мышцами у задних коренных зубов, где скопление гнилостных микроорганизмов особенно велико. И не полощите рот всякого рода эликсирами со всякого рода антисептиками, которые вместо того, чтоб останавливать бродильные процессы во рту, дурно влияют на слизистую оболочку. По моему мнению, наилучшим полосканием для рта является обыкновенная чистая, теплая вода.

Он чем-то тепловатым побрызгал мне в рот, чем-то прикоснулся к зубам, что-то ковырнул. Я ушел от него, задыхаясь, у меня даже зубная боль ослабла, так я был взбешен. Просидел полдня в духоте, чтоб выслушать умничанье «хухема» о гигиене рта.

Мысли мои были ужасны. Вспоминая лицо «хухема», его голос, его усмешечку, я антисемитствовал, как мог.

Надо сказать, с начала моей зубной болезни я начал вести что-то вроде дневника. Первые мысли были умеренные: «Когда у человека болят зубы, это уже занятие. По крайней мере, скуки он не испытывает». Но постепенно записи стали более нервными, я начал хулить общество, власть и все чаще подумывал о подаче заявления на выезд. Время, кстати, было самое «выездное». Многие «подавали» и многим «выдавали». Как выяснилось, подал на выезд не только Ковригин-Киршенбаум, но и его племянник, мой друг Рафа. Да и вообще, «подачи» были самые неожиданные.

Как-то встретился мне на улице Горького у кафе «Националь» Паша Пуповинин, ярославский парень, с которым я некогда познакомился в милиции, где мы вместе томились в приемной, как лимитчики, добивающиеся московской прописки. Я, после сложных мытарств, получил прописку по ходатайству нашего НИИ, а точнее, по телефонному звонку нашего Торбы, имеющего какие-то личные связи, а Паша получил прописку как дворник, хоть по профессии был резчик по дереву. Оказалось, что и Паша намерен «скрыться за бугром», как он выразился.

— Помнишь «Слово, о полку Игореве»? «О, русская земля ты уже за бугром». На еврейке женюсь. Недаром говорят: жена — не роскошь, а средство передвижения...

Паша любил афоризмы. Однажды я ходил с ним на футбол и по поводу проигравшей команды противника он выразился: «Кто с мячом к нам придет, от мяча и погибнет». Признаюсь, Паша внес свежую струю в мою воспаленную, измученную зубной болью, жизнь. Взяли мы с ним по сто граммов, по кружке пива, поговорили. Зубы он мне посоветовал полоскать водкой, смешанной с мочой.

— Что ты, Венька, морщишься? Я ведь тебе не советую чужой мочой полоскать, полощи своей. Я, признаюсь, из простого любопытства как-то собственное говно попробовал. Чужое не стал бы, а свое попробовал.

— Ну и как?

— Зачем мне делиться с тобой своим опытом? Сам попробуй, тогда поймешь.

Мы с ним договорились встретиться в ближайшее время, кое-что обсудить и обменялись телефонами. Паша теперь жил и работал в ином месте, занимался чем-то вроде реставрации старых икон.

— Зарабатываю неплохо и лицом не дурен, да и силушка имеется, а вот деваха моя, зазноба моя, мне отказала. За богатого старика, партработника замуж вышла. Ну раз так, думаю, и я по-иному женюсь, чтоб для подачи было... Из интереса женюсь, а не по дюбви. Женюсь, и за кордон... Пусть деваха моя с партработником здесь остается, а я свои глаза подальше... Тяжко,

Венька... Я и унижался перед ней, и угрожал ей, да что поделаешь... Верно в народе говорят: «Кулаком целку не прошибешь...» Ты меня понимаешь?

Да, я его понимал, потому что зубная боль сродни сердечным мучениям: бессонные ночи, воспаленные рассветы. И та же безысходность, ты один на один со всем этим безжалостным, причиняющим боль миром. Но пока мы живы, мы надеемся, то есть лечимся.

Еще одному позвонил — Каплану из Звездного городка. Не стану объяснять, откуда я его знаю. Какое-то сложное, тройное знакомство, истинно московское.

— Здравствуйте, как вы поживаете? Ай-яй-яй... Что вы говорите?

Каплан — низенький, толстенький, с большими запорожскими усами и весело поблескивающими маленькими карими глазками. Жена его — такая же низенькая, толстенькая, кареглазенькая, похожа на Каплана, словно не жена, а сестра. Той же породы и дочь, которая, кажется, имела и имеет на меня виды. Дочь смотрит с сочувствием.

— Как вы изменились. Вас не узнать. Что с вами?

— Зубы... Ноют проклятые уж не помню сколько ночей.

— Зубы вылечим, — уверенно говорит Каплан, он вообще говорит и держится уверенно, — поедешь к моему двоюродному брату, Мише Каплану. Я ему позвоню сегодня вечером домой.

Поскольку я явился с просьбой, Каплан чувствует себя по отношению ко мне начальником. Я соблюдаю субординацию. «Все-таки, — думаю, — Каплан — не

Вайнтрауб. Звездный городок... Синдром Каплана...» Как-то в одну из предыдущих встреч Каплан показал мне медицинский справочник, где среди прочего был и «синдром Каплана», названный так по имени отца, специалиста по полиартриту, профессора. Встречаемся мы в квартире отца, ныне умершего. В большой квартире теперь постоянно живет дочь Каплана Евгения, студентка медицинского института. У Каплана еще одна квартира в Звездном городке. Чем он там занимается — секрет, но наверняка по медицинской части. Разговор крутится вокруг некоего Васи, друга семьи.

— Только из-за интриг большого начальства Вася не полетел, — горячится Каплан, — но он полетит, — обнадеживает он меня.

У Каплана крепкие, ровные зубы, несколько золотых коронок. Он все время довольно мурлыкает, напевает: «Брось, капитан, не грусти, не зови ты на помощь матросов...»

— Ужасно у тебя усы отросли, — говорит Каплану жена, — хотела ему усы обрезать — не дает, — обращается она ко мне.

Судя по всему, люди эти довольны жизнью, чувствуют себя спокойно, прочно, хорошо, ничего им не болит. Невыносимо видеть это. Во мне развилось чувство неприязни к людям, у которых не болят зубы и у которых вообще все в порядке. Это можно было бы назвать «синдромом Апфельбаума». Две квартиры, автомобиль «Жигули», здоровые зубы — невыносимо...

Утром еду к Мише Каплану. Еду далеко, сначала долго на метро до «Автозаводской», потом в перепол-

ненном автобусе. Местность вокруг унылая, московская индустриальная окраина: серые однообразные дома, колдобины, лужи, хрустят под ногами шлаковые отбросы. Поликлиника, шлакоблочное здание, стоит почти что в открытом поле. В поликлинике никого — еще слишком рвно. Сажусь на влажную скамейку у крыльца; жду мрачно, с чувством безнадежности. Наконец на выложенной кирпичом дорожке, ведущей к поликлинике, показывается первая фигура — высокая, сутулая, с печальным, козлиным профилем. Я поднимаюсь и иду ей навстречу, угадывая — это Миша Каплан. Он выслушивает меня, почему-то оглядываясь, точно мы договариваемся о чем-то запретном.

— Пойдемте, — говорит Миша, а глаза скользят мимо, бегают беспокойно, и весь Миша — точно некогда запуганный, раз и навсегда.

В пустом, гулком вестибюле поликлиники Миша берет ключ от своего зубоврачебного кабинета, открывает. Мы входим. Сильно пахнет какими-то лекарствами.

— Не догадались проветрить, — говорит Миша и нервным рывком открывает форточку, — садитесь, садитесь в кресло, — он надевает халат, берет из шкафа и надевает на лоб зеркальце, — ночные боли? — кратко спрашивает он, осматривая мои зубы.

— Да, боли... Обращался к нескольким врачам, говорят прикус плохой — вот причина.

— Да... Ох, Боже мой. Ничего нельзя сделать. У вас патологический прикус, который ведет к исчезновению зубной ткани. Наверно, и кишечник не в порядке.

— Да, побаливает.

— Неудивительно. Застревающие кусочки пищи, дентин из зубной мякоти, и это все гниет, миллиарды микроорганизмов проглатываются с пищей, попадают в желудок, в легкие... Ох, Боже ты мой!

— Но что же делать? — задаю я все тот же, ставший привычным вопрос.

— Ах, что делать? — вздыхает Миша. — Вам сколько лет?

— Тридцать два.

— Хороший возраст. Если бы мне было тридцать два, я бы уехал. Вы на эту тему говорили с моим двоюродным братом?

— Нет, не говорил.

— Знаете, он в принципе одобряет, хоть сам ехать не собирается. Да его и не выпустят из-за ответственной секретной должности.

«Не могут же эти совершенно разные, незнакомые люди сговориться, — думаю я, выходя из поликлиники, — значит, действительно с моими зубами, с моим здоровьем плохо и здесь мне помочь не могут. Таким образом, мой отъезд вполне оправдан — для лечения за границей. Мама меня обязана понять, если она желает мне добра».

Мама у меня член партии с большим стажем, известный в нашем городе лектор-пропагандист. Я знаю, мой отъезд был бы для нее ужасен и в личном плане, и в служебном. Но теперь она должна понять. А если не поймет, значит, ей не дорого мое здоровье, моя жизнь. Надо подумать, как действовать далее. Прежде все-

го — уволиться с работы, чтоб не было проблем с характеристикой, как у Киршенбаума. Второе — надо завести новые связи, перестроиться психологически. Может, действительно попробовать лечить зубы смесью водки с мочой, как советовал Паша?

Паша живет далеко, где-то в Беляево-Богородском, но мы договорились встретиться с ним в центре на его бывшей квартире, где ныне обитают пашины друзья Володя и Ленка, заменившие Пашу на посту дворника, по его рекомендации. Собственно, числится дворником Володя, а Ленка помогает, поскольку участок работы большой — тротуар перед домом, обширный двор и прочее. Дом и двор образца тридцатых годов: асфальт, тесаный камень — вид индустриальный и вне, и внутри квартиры, где под потолком какие-то наспех покрашенные трубы, из стены на кухне торчит обрезок двутавровой балки, к которой привязан один из концов бельевой веревки, сплошь увешанной детскими распашонками, слюнявчиками, пеленками. В комнате и на кухне густой кисло-сладкий запах младенческих испражнений. Младенцев двое, полутора-двух лет. Трудно понять, какого пола, оба с одинаковыми, голубенькими Володиными глазками и пухлыми бледными личиками, густо измазанными какой-то светло-коричневой кашицей, которой кормит их Володя, зачерпывая эту кашу из стоящей перед ним эмалированной мисочки. Кивнув мне и Паше, продолжает кормить, время от времени согнутым указательным пальцем левой руки утирая вымазанные личики обоих младенцев и облизывая этот свой палец. Отворачиваюсь, якобы заинтересовавшись то-

щей полочкой с книгами, ибо едва подавляю тошноту. Честно говоря, нет ничего более отвратительного, чем бедное и неряшливое младенчество. Но для Володи эти младенцы явно цветы жизни, розовые ангелочки.

— Любят шоколадную кашу, — говорит он нам, — ничего другого есть не хотят, а ее в продаже не достать. Ленка раньше на кондитерской фабрике работала, на шоколадном конвейере, так по знакомству иногда достаем.

Володя худой, жилистый, незагорелый, сидит в синей майке. Ленка, тоже худая, бледная, веснушчатая, хлопочет над большой кастрюлей с вывариваемым белым. Лицо у нее в желтых пятнах — беременна. Паша выставляет на стол бутылку водки.

— Ах, — всполошилась Ленка, — у меня и закуски нет, совсем замоталась.

Водку закусываем холодной манной кашей.

— В обед сварила, а они ее есть не захотели. Им шоколадную подавай. Когда я сама на расфасовке стояла — другое дело. А теперь уволилась — достать трудно. Спасибо, подруга достает.

— Трудная работа? — спрашиваю я из вежливости, чтоб как-то поддержать разговор.

— На конвейере трудная, — отвечает Ленка, — на расфасовке полегче, но платят меньше... Я когда в дурдоме была, в психушке, тоже работала на расфасовке. Лавровый лист в пакеты расфасовывала. Была там у нас пожилая женщина, работать не могла, у нее руки дрожали. Целый день только сидела, кивала головой и беспрерывно повторяла: коммунизм, коммунизм, ком-

мунизм, коммунизм... Бесперывно... На нервы действовала всем. Так, представьте себе..

Но что представить себе, так узнать и не удалось, поскольку Володя, который до того отнес младенцев в комнату, вернулся и, услышав, что в его отсутствие жена разговорилась, прервал ее на полуслове и отослал к детям. Видно, ему неприятно было, что она рассказывает о своем дурдомовском прошлом посторонним, да и вообще чувствовалось, что Володя на жену давит, угнетает, ограничивает ее самостоятельность, а ей явно хочется поговорить, посмеяться при новом человеке. Володя, безусловно, консерватор, на жидкой полочке — «Как закалялась сталь», «Молодая гвардия», песни Лебедева-Кумача, трехтомник Шолохова. Странно, как он терпит Пашино диссидентство. Видно, по старой дружбе.

— Сейчас диссиду читаю, ух интересно, — говорит Паша.

— Сегодня диссидент, а завтра сидент. А книги эти — макулатура. Пробовал читать, помнишь, ты мне брошюрку давал? Не дочитал. Куда ее? Селедку заворачивать или на гвоздь в туалете... Вот Шолохов — это писатель.

— А ты знаешь, что твой Шолохов чужую книгу украл, — заводится Паша, — и фамилия у него не Шолохов, а Шолох... Что-то наподобие Шолох-Алейхема.

— Будет тебе врать.

— Ну хорошо, вру, вру... Такие дела не для тебя, Володя. Я тебе больше ничего давать не буду. А тебе, Венька, я достану... Кое-что дам... Только бы еще «Континент» последнего выпуска достать.

— Экая невидаль, — вдруг говорит Володя, уязвленный замечанием Паши, — у меня есть. Последнего выпуска.

— Ты что? Откуда? — удивляется Паша.

— Это у него есть, — подтверждает и Ленка, которая входит из комнаты на кухню и слышит последние слова.

— Не может быть. Покажи.

— Принеси, Лена, — говорит Володя.

— Ерунда какая-то, — говорит Паша, — ты хоть знаешь, где «Континент» выпускается?

— А что там знать. На нем же написано. В Йошкар-Оле.

— Чего? В какой Оле?

В это время Ленка приносит коробку с электробритвой. Паша долго смеется.

— Чего ты, — говорит Володя, — чего это ты проглотил? Не видишь — надпись? «Континент», Йошкар-Ола. Последний выпуск.

— Голова садовая, я тебе про журнал, а ты мне электробритву показываешь. Ты хоть слышал, какие журналы за рубежом издаются? «Континент» вот в Париже, «Известия для всемирного христианства», не помню, где издается, и еще в Америке недавно читал, вот название в голове вертится, — Паша глядит в потолок, вспоминает, — ах, вот оно, вспомнил — «Евреи и мы».

— Все это мусор, — говорит Володя.

— Ну мусор, мусор, не будем спорить, про споры очень хорошо в одной книге написано... Не помню как, но помню, что хорошо... Как-то плюс на минус.

— В какой книге? Кто автор, — спрашивает Володя.

— Розанов, — отвечает Паша.

— Первый раз слышу, — говорит Володя, — какой Розанов? Может, Розов?

— А кто такой Розов, — вмешивается Ленка. — Ой, ребята, я такая серая, что и Розова не знаю.

— Как же, — говорит Володя, — по телевизору недавно выступал... И в газете про него было... Майор Розов...

— Ой, вспомнила, — говорит Ленка, — сначала он выступал, а потом песни пел. Там одна песня мне понравилась — «На мотоцикле»: «На мотоцикле, на мотоцикле...» Хорошая песня.

— Хорошие ребята, — говорит Паша, когда мы выходим в ночь, — хорошие ребята, но темные. Спорит Володя по-советски, а донести — никогда не донесет. В этом можешь быть спокоен.

Мы идем к метро, дрожа от холода.

— Сыро, как на Камчатке, — говорит Паша, — я на Камчатке служил, на сырой камчатской земле. Самое сырое место в Союзе. А мне солнца хочется. Я б в Италию поехал. В Италии, говорят, церковей много, резчики по дереву, реставраторы нужны. А ты куда?

— Не знаю... Я еще не решил... Вызов нужен.

— Вызов я тебе устрою, сведу с людьми. Только момент надо выбрать. Сам понимаешь, за нами следят. Потому я для первого раза у Володи с тобой встретился... Вот, возьми для начала, — и сует мне нечто завернутое в газету.

Мы расстаемся, Паша идет к автобусной остановке, я спускаюсь в метро. В метро теплей, но меня по-преж-

нему трясет. Сказать честно, я начинаю трусить. Впервые в жизни нелегальщина, недозволенные книги, которые прощупываются сквозь газету. Вот куда привела меня зубная боль. Зубы меж тем уже ноют, пока боль терпимая, надо спешить домой, смазать десну кефиром, а если не поможет, то попробовать полоскать мочой. В глазах мерцает, от водки и холодной манной каши тошнит, но главное не это, я впервые начинаю понимать, что такое настоящий страх, мне кажется, что на меня смотрят со всех сторон. Вон станционный милиционер прошел — смотрит. Может, лучше было бы по поводу своих выездных замыслов поделиться не с Пашей, а с Рафой Киршенбаумом, у которого есть свои связи? Но при всей моей любви и уважении к Рафе существуют опасения, что мои намерения раньше времени распространятся в институте. О самом Рафе, кстати, узнали раньше, чем он подал заявление. А Паша все-таки далекий друг, совсем другое общество. Впрочем, мои рассуждения, возможно, наивны. Возможно, они навеяны «синдромом Апфельбаума», в который, как я теперь понимаю, входит целый ряд сложных компонентов. Первоначально мне казалось, что «синдром Апфельбаума» связан исключительно с зубной болью и выражается в неприязни к людям, у которых зубы не болят. Но теперь я понимаю, что это лишь частный случай, мой синдром гораздо многогранней. И пока я еду в пустом ночном вагоне метро и через щеку жжет зубная боль, а через газету жгут опасные книги, мне кажется, что вот-вот я выведу окончательную формулу «синдрома Апфельбаума». Но домой я приез-

жаю без формулы и не только уж с зубной, но и с головной болью. Луна в эту ночь не просто светила — горела, окно было резко очерчено, и за окном словно лунный пожар, а в комнате его отсвет. Мне больно и страшно. Как ни странно — это более терпимо, чем просто больно. Когда несешь тяжесть в двух руках, два полных ведра — одно уравнивает другое. Вспоминаются Володя, Ленка, Паша — невольно становится смешно, держусь за щеку, чтоб не рассмеяться. «Ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно». Да, с матерью будет трудно. Моя мать — седая большевичка. Милая моя мама. Любовь к маме и прочие подобные чувства тоже входят в «синдром Апфельбаума», в его сложное сочетание. «Шалун уж отморозил пальчик, ему и больно, и смешно...» Милая мама, сколько ей пришлось претерпеть из-за моих шалостей. Помню, в седьмом классе при неопытной учительнице — практикантке пединститута, то ли из шалости, то ли еще по каким-то неясным мне самому причинам, я прочел стихи Пушкина так:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый сын славян, еврей, и ныне дикой,
Тунгус, и друг степей калмык...

Вначале как-то сошло, наверно, практикантка не совсем твердо знала пушкинский текст, но затем, по доносу старосты класса, дело обнаружилось и приняло неожиданный размах. Меня исключили из комсомола, чуть не исключили из школы... Бедная моя мама...

Так хожу из угла в угол, думаю, вспоминаю, пробую заглушить тяжесть в желудке, холод в животе и конечно же зубную пытку. В третьем часу ночи, когда боль как обычно становилась невыносимой, я вместо кефирного рецепта Марфы Ивановны решаюсь на Пашин рецепт. Смешав водку с мочой, зажмутив глаза, полощу воспаленные десны. Становится легче, становится совсем легко. Пытаюсь лечь, уснуть — не спится. Тогда достаю из газеты Пашины книги. Одна из них — Розанов, о котором упоминал Паша. Странная книга, никогда прежде подобного не читал. Чем дальше читаю, тем более понимаю — это книга сладкая и вредная для ума, как шоколад сладок и вреден для зубов и желудка. Несколько страниц прочел с наслаждением, а потом понял — объелся. Взял другую книгу. Какая-то политическая фантазия, с матерком. Тут все наоборот — вначале скучно было, а затем увлекся. Остроумно написано. Одни имена, фамилии да клички чего стоят... Хаимпоц — ничего... Дядя Елдак — ничего, ничего... Гжегож Пьязда — смеюсь, держась за больную щеку. От смеха зубы опять начинают ныть. Уже смелей и уверенней повторяю рецепт Паши. Засыпаю. Просыпаюсь при ярком свете дня, зубы ноют терпимо. Настроение сложное и многогранное, но в пределах «синдрома Апфельбаума». Лежу некоторое время с открытыми глазами без мыслей, а потом, так же без мыслей, сам не зная отчего, звоню Ковригину-Киршенбауму, дяде Ионе.

— Что ж ты пропал?

— Зубы болят.

— Это я тебе устрою. У меня хороший зубной врач. Приезжай прямо сейчас. Рафа тоже скоро ко мне приедет.

В комнате у дяди Ионы стало еще тесней от ящиков, в которых уже упакована часть вещей. Часть книг снята с полок. Разорение, грусть, неприкаянность.

— В институте скандал, — говорит Рафа, — Торба рвет и мечет. Характеристику я до сих пор не получил. А если он узнает, что и ты хочешь уезжать, — его парализует. Бедный старик, он ведь всегда был антисемит с добрым сердцем. Но теперь его словно подменили. Скоро в институте общее собрание, на котором выступят представители антисионистского комитета...

— Негодяи, — говорит дядя Иона, — зудят под руку, а тут приходится упаковывать свою прошлую жизнь. Начал упаковывать фотографии, и заныло сердце... — Он достает из какого-то ящика пакет с фотографиями, раскрывает, несколько фотографий падают на пол. На одной из них дядя Иона бравый, подтянутый, с приклеенными длинными усами, чубатый, в форме драгуна царской армии. — Это в пятьдесят четвертом... Молодой я был, — его глаза загораются, и он объявляет, хорошо, по-концертному поставленным голосом, — старинная солдатская походная частушка образца тысяча девятьсот четырнадцатого года «Эх, радоваться нечему», — и запекает: — «Эх, радоваться нечему, хоть я и молода. Эх, радоваться нечему, хоть я и удала. Эх, радоваться нечему, ведь у ворот беда. Эх, радоваться нечему — немецкая орда». Хорошо, лихо пели, так и видишь усачей, блеск труб, цокот копыт... Страницы истории...

Листаем страницы истории... Русская история в частушках — так бы назвать новую программу, — он достаёт со стены балалаечку, — вот еще одна частушка. В четыре голоса петь надо: бас, баритон, сопрано и детский тенорок. — Дядя Иона берет несколько аккордов на балалаечке и объявляет: — Частушка с переплясом «А при Сталине...», — он запеваёт, ловко меняя голос под женское сопрано: — «А при Сталине, а при Сталине я молоденькой была, да я молоденькой была, — второй голос — детский тенорок: «А при Сталине, а при Сталине я рябёночком была, да я рябёночком была...» Третий голос — баритон: «А при Сталине, а при Сталине я на нарах вшей давил, да я на нарах вшей давил». Четвёртый голос — бас: «А при Сталине, а при Сталине я врагов народа бил, да я врагов народа бил». Все вместе: «А при Сталине, а при Сталине, да айли-люли, трын-трава, да айли-люли, трын-трава...» Начинается общий перепляс, — вдохновенно, весело кричит дядя Иона.

Мы пьем коньяк и веселимся.

— Ничего, — кричит дядя Иона, — я им музыкальные бомбы приготовлю... Буду бить трофейным оружием. Сейчас над «Внешнеторговой урожайной» работаю, — он торжественно объявляет: — «Внешнеторговая урожайная». Двое солистов: «Здравствуй, Андрюшка, здравствуй, Ванюшка, — и-эх, по маленькой! Здравствуй, Матвейка, здравствуй, Сергейка, — и-эх, -по славенькой!» Тут голос из хора, речитативом: «Товарищи, господа приехали!» И сразу хор: «Закупай, закупай много зерна, закупай, закупай, песня слышна...»

Веселимся без оглядки. Упиваемся коньяком, почему-то кричим: «Ура», поем «Фрейлехс». Предупреждая возмущение соседа, дядя Иона сам стучит ему в деревянную перегородку и кричит.

— Эй, ты, Ванька, половой хрен! К черту интернациональный опиум! Они антисемиты, а мы русофобы. «Я не Ваня и не Коля, я не Петя, не Андрей. Я обычный, симпатичный, обаятельный еврей...» Хор мальчиков. Все в белых рубашечках с черными галстуками.

Не знаю, почему сосед на этот раз смолчал. Слышно было, что он дома, ходит, кашляет, но смолчал. Прежде, когда дядя Иона начинал музицировать, он стучал в стену и кричал:

— Абрамс! Еврейскую музыку завел!

А на этот раз смолчал, возможно, чужое хамство его не так раздражает, как нормальные музыкальные звуки. Он чувствует себя в своей атмосфере. Чувствуя безответность врага, дядя Иона переходит все границы.

— Скоты, — кричит дядя Иона, — хазерем, гоим, свиньи, мужики, хамы! Ненавижу! Сил моих нет. Пешком бы ушел! С шести лет жидом обзывают.

Наверно, у дяди Ионы тоже «синдром Апфельбаума», потому что когда больно, смешно и страшно, это порождает самую черную ненависть, которая тем черней, чем безысходней. Волосы у дяди Ионы взмокли, руки дрожат, лицо бледное. И все мы, несколько протрезвев, начинаем тревожиться. Дяде Ване, соседу, опасаться последствий за свою ненависть не приходится, случая не было, чтоб дядя Ваня за подобную не-

ненависть пострадал. А дядя Иона, протрезвев, тревожится: перебрали коньячку, наговорили... Может, то, что молчит, особенно опасный признак. Куда-то напишет, куда-то сообщит.

В таком тревожном состоянии мы и разошлись. Ночью я опять почти не спал. Пашин рецепт с первого раза подействовал неплохо, но потом его пришлось бесконечно повторять, пытаюсь унять боль. Утром, больными зубами, воспаленными деснами сосал кусочки яблока, чтоб заглушить запах мочи изо рта перед тем, как ехать к зубному врачу, на этот раз порекомендованному дядей Ионой.

Было то самое «старушечье» утро, с которого я начал свой рассказ. Спокойное, несуетливое, свежее утро. В метро тоже тихо и свежо. До остановки «Комсомольская площадь» вообще несколько человек в моем вагоне. Сидят в спокойных позах, посматривают дружелюбно, не то что в часы пик, когда один против всех, все против одного. На остановке «Комсомольская площадь», у трех вокзалов, как обычно стало многолюдней, но в терпимых пределах — просто все сидячие места оказались занятыми и было несколько стоячих граждан. Я расслабился, зубы ноют в отдалении, не столько болят, сколько напоминают о себе. Конечно, я уж по опыту цену их либерализма знаю, просто передышку берут перед новой свирепостью. Но отчего бы этой передышкой не воспользоваться? Голова мягко свисает на грудь, шум укачивает. Затревожился даже, как бы остановку не проехать, где мне пересадка предстоит. Открыл полузажмуренные глаза, глянул... и пря-

мо передо мной майор КГБ. Видно, на «Комсомольской» вошел.

Говорят — на воре шапка горит. На мне шапки не было, но щеки действительно вспыхнули, шея взмокла, сердце — бах, бах, бах, бах — побежало. Да куда бежать? Тем более с уликами. Зная, что дорога длинная, не удержался и положил в портфель нелегальные Пашины книги, закордонного издания. Думал — за «Кутузовским проспектом» пойдут места тихие, почти загородные, вот и почитаю, чтоб время скоротать. Черт дернул. Исподтишка гляжу на майора, сидящего прямо против меня. Я на него поглядываю, и мне кажется, он на меня тоже косит. Майор — мужчина высокого роста с хорошо откормленным народным лицом, рыжеватозолотистый, пшеничный блондин, конечно, светлоглазый, ресницы и брови еще более светлые, чем волосы, почти бесцветные, руки большие, чистые и в руках тоже портфель, гораздо лучше моего, хорошей, светлокоричневой кожи с двумя замками. Вообще, все в майоре лучше моего, прочней, спокойней, красивей — любимый сын отечества. Зимой он, наверно, носит, когда не в форменной шинели, демисезонное пальто из хорошего темно-серого сукна. Дубленки они не любят и вообще зимние пальто, кажется, не носят. Демисезонное пальто на утепленной подкладке и пыжиковую шапку-ушанку, которую я так и не достал. Бирнбаум обещал, но ничего не получилось. Однако главное, конечно, в майоре не свидетельства материального благосостояния, а первоклассные физические данные. Вот майор случайно зевнул, показал зубы... Какие зубы!

Крепкие от природы, правильной конической формы, способные противостоять воздействию кислот, перемолоть любое, самое твердое, полезное, витаминное яблоко. Судя по белизне зубов и хорошему цвету лица, он ест каждый день много таких яблок.

Пока я так мысленно рассуждал, в вагоне стало уж по-настоящему тесно, ибо на остановке «Кировская» вошло множество пассажиров. Я глянул — вместо майора напротив меня сидит пожилая женщина. Случайно глянул вверх — майор надо мной нависает вплотную, за поручень держится. И тут мне уж без всяких комплексов, без всяких синдромов, без всяких странных фантазий стало по-настоящему страшно. Следующая остановка — «Площадь Дзержинского», то есть Лубянка. Скажет негромко — «пройдемте». Обыщут — найдут недозволенные книги. Приедет заплаканная мама... Но цепляюсь за соломинку — может, случайно надо мной стоит, может, просто пожилой женщине место уступил. Внутренне, и отчасти внешне, дрожа, надеюсь на лучшее, и вдруг майор уже без всяких обвиняков трогает концом своего начищенного туфля мою туфлю. Я вздрагиваю, и тут же опять с надеждой — вагон трясет, случайно коснулся. Нет, второй раз трогает, уже настойчивей. Я поднял в отчаянии глаза, уж ни на что не надеюсь и собираюсь подчиниться. Замечаю настойчивый, указывающий взгляд майора. Майор смотрит вниз на мой живот, на мои ноги. У ног портфель с нелегальщиной. Я подчиняюсь, смотрю туда же и... замечаю, что у меня на штанах ширинка широко расстегнута. Не одна пуговица, а все три. Второпях, с тяжелой головой, после бес-

сонной ночи собирался. Майор, кажется, понял, что я сообразил, в чем дело, слегка улыбнувшись, он нависает еще ниже и прикрывает меня портфелем. Лихорадочно, негнуцимся пальцами сую пуговицы в петли, застегиваю ширинку как раз в тот момент, когда поезд останавливается у перрона станции «Дзержинская». Кивнув мне и улыбнувшись уже пошире, майор пробирается к выходу. Я успеваю благодарно улыбнуться ему в ответ. Он опять ободряюще кивает: «Все в порядке, друг, обыкновенная мужская солидарность». В вагоне снова свободно, поезд миновал центр. Я сижу, словно пробудившись от кошмара или, точнее, выздоравливая от опасной болезни, в которой зубные мучения — лишь внешний признак. Я чувствую, что зубная боль скоро тоже оставит меня, что произошел перелом. Так я еду, слабый, опустошенный, но радостный и спасенный. Глаза мои слезятся. Не знаю, как у кого, но когда ко мне власть, суровая, холодная, неулыбчивая власть, проявляет малейшее снисхождение, малейшее понимание, малейшую человечность, это меня сразу умиляет до слез и я готов ей многое простить. Так, умиленный, успокоенный, приезжаю в поликлинику.

Поликлиника обычная, районная, вокзального типа, в духоте у крашенных белой краской дверей медицинских кабинетов скопились враги с суровыми, усталыми злыми лицами. У зубокабинета особенно много врагов, на скамьях сидячих, у стены и по углам стоячих. Опять начинаю волноваться: где же перелом судьбы, в чем же перелом, неужели внутреннее ощущение обмануло? Нет, не обмануло. На бумаж-

ке у меня указана совсем другая комната, вход по параллельному, полупустому, тихому коридору. Пальмы в кадках, ковровые дорожки, чистые плевательницы. Нахожу нужную дверь. Возле, на стульях, очередь — всего два человека. Один чем-то похож на встреченного в метро майора КГБ, светловолосый, в сером штатском костюме. Не он ли переодевшийся? Нет, не он, но действительно похож. Второй, точнее, вторая миловидная молодая женщина, черноволосая, с челкой, возбуждающе пахнущая духами. Оба — светловолосый и черноволосая — приветливо мне улыбаются. Я улыбаюсь в ответ, сажусь на третий стул и жду. Всего пять стульев. Два остаются пустыми. Видно, длинной очереди здесь никогда не бывает. Не прошло и пяти минут, как из кабинета вышел чистенький старичок, борода калининская, лицо свежее, розовое, видно, следит за собой, пьет по утрам кефир, ест яйца всмятку. Спокойное, довольное лицо. Вынул чистый платок, вытер губы, высморкался и засеменял по коридору мимо кадок с пальмами. А вместо него в кабинет светловолосый вошел. Остался я наедине с черноволосой, пахучей. «Замечательный бюст, — думаю, — бюстгальтер второго или третьего размера. Некоторым нравится первый, но это уж на любителя. А четвертый или пятый уж, извините, молочная ферма». Не успел как следует подобными мыслями насладиться, как светловолосый вышел и черноволосая вошла. Даже огорчился, что так быстро очередь движется. Выхода черноволосой мне пришлось, однако, подождать дольше. Слышно было жужжание зубоврачебной бормашины и в промежут-

ках — смех. Несовместимые, но ободряющие звуки. Наконец черноволосая вышла, еще не погасив на лице улыбку. Так с улыбкой и пошла. Вошел я.

— От Ивана Матвеевича, — говорю, как мне дядя Иона велел сказать.

Врач невысокого роста, в цвету мужчина, загорелый, волосы с синевой и проседью, жгучий брюнет, изо рта пахнет мятными лепешками. Лицо неопределенное, может, даже еврей, а может, и нет. Не характерный. Чем-то на Леонида Утесова похож и, судя по всему, любитель искусства.

— Как у Ивана дела? — спрашивает, когда я сажусь в зубоврачебное кресло.

— Ничего, — отвечаю неопределенно.

— Хорошо он калинку-малинку поет, — говорит врач и заглядывает мне в рот, светит зеркальцем.

Что-то в этом враче от модного, умелого парикмахера, эта непринужденная беседа с клиентом, этот парикмахерский интеллект. Но зубной врач он, судя по всему, хороший, дантист, как говорят в Одессе. Рассказываю ему о своих злоключениях.

— ...уж почти месяц боли. Был у троих, все ставят диагноз: причина в моем неправильном прикусе.

Он выслушивает внимательно и спокойно. Чувствую — этот мне поможет. Хотя бы потому, что без всяких крючков и щипцов, прямо руками, ощупывает во рту мои зубы.

— Прикус как прикус, — говорит он, — зубы у вас неплохие... Вот этот зуб? — он стучит по зубу, который запломбировала мне Марфа Ивановна. — Больно, да?

— Больно.

— У вас пломба стоит на больном нерве и потому общее воспаление... Так, знаете, гниль зубная может и в кровь попасть. Бывает заражение крови, хорошо, что вовремя пришли. Еще месяц-другой и о-го-го...

«О-го-го, — думаю я после того, как отжужжала бормашина, — негодяи, подлецы, убийцы в белых халатах... Вот о чем бы в газету написать».

— Ну, дело сделано, — говорит зубной врач, — привет Ивану. Все на его концерт не соберусь. Хорошо он калинку-малинку поет. Калинка-малинка моя, расстегнулася ширинка моя. — Зубной врач смеется.

Я вздрагиваю и краснею. Намек, что ли? Может, блондин все-таки майор? Нет, просто совпадение, просто одессит шутит. А запоздай я на месяц, мне было бы уж не до шуток. Вот о чем в газету писать надо. Или лучше пойти в какое-нибудь высокое учреждение. К тому же майору КГБ. Поговорить по душам, рассказать о разных бедах, коснуться разных тем. И о еврейском вопросе поговорить. Больной вопрос... Хуже того, пломба на больном вопросе, отсюда и воспаление, заражение всей жизни, моральной, духовной жизни России... Нет, так говорить нельзя. Некоторые славяне вообще почему-то обижаются, когда речь заходит о еврейской боли. Сразу начинается: монгольское иго, крепостное право.

— Товарищ майор, вы меня не поняли... Я ведь не отрицаю величие страданий России... Люблю Отчизну... А клизму? Это, кажется, у Маяковского.

— Иронизируешь?!

Р-р-раз! — пролетело мимо. Сердце тревожно стучит, вот-вот кулаком в зубы попадет. Опять боль, опять бессонные ночи...

— Товарищ майор, у меня мама член партии с двадцать восьмого года.

— Видишь... А ты в Израиль бежишь...

Р-р-раз! — просыпаюсь. Стучит сердце, но вокруг тишина, покой. Три часа ночи, а зубы не болят. «Хорошо», — думаю я и, сладко дотягиваясь, опять засыпаю. Майор тут как тут.

— Товарищ майор, я хотел бы сказать...

— Молчать!

— Товарищ майор, я хотел бы спросить...

— Молчать!

—Товарищ...

— Молчать!

— ..Пу... П-у-у-у-у... П-с-с-с...

— Молчать!

— Так тоже нельзя?

Со смехом просыпаюсь. Наверно, разговаривал, смеялся и совершал прочие действия во сне. За окном еще рассвет, а я выспался хорошо впервые за долгое время. Молодец, Савелий Михайлович, зубной врач-брюнет... Тем более заплатил я ему не слишком много. Вернее, заплатил прилично, но думал, что придется еще больше. И дядя Иона молодец — порекомендовал. Надо позвонить, поблагодарить, но, наверно, его телефон уже прослушивают. Лучше зайти как-нибудь вечерком. Не может же быть за его домом слежки. За каждым следить, топтунов не хватит.

В институте сразу попадаю «с корабля на бал». Собрание с участием представителей антисионистского комитета. В президиуме Корней Тарасович Торба, секретарь партбюро института техник-чертежник Лепчук и трое неизвестных. По крайней мере, двое из них семиты — мужчина и женщина. Я запаздываю, прихожу во время выступления женщины, сажусь в последний ряд. Замечаю Рафу в первом ряду, как полагается подсудимому. Саша Бирнбаум сидит в стороне, где-то посередине. Распался наш фруктовый садик... Женщина антисионистка чем-то похожа на мою бабушку Этл. Отчасти и на маму, но больше на бабушку Этл, особенно когда бабушка нервничала, ругалась с соседями или с торговками на рынке. Седые волосы заплетены в полурасстрепанные косы, глаза вспухшие, красные, губы с синевой. Но бабушка Этл была простая белошвейка, а эта женщина израильская коммунистка, которая по неясным причинам сейчас живет в Москве.

— Там в Израиле, — нервничает она, — простой народ живет в шалашах, а буржуазия живет так же, как жила в России буржуазия до революции...

У антисионистки характерный жест, она грозит пальцем этой «буржуазии», не перед лицом, а возле уха. Очень похоже на мою маму. Бедная моя мамочка, сколько ей пришлось из-за меня поволноваться. В шестнадцать лет меня за какую-то шалость задержали в городском парке.

— Как твоя фамилия, га? — спросил меня дядя Петя-бармалей, большой, пузатый, сердитый городской милиционер.

— Пу И, — ответил я.

— Га?

— Пу И... Я китайский еврей.

Так и записали, а потом был скандал. Меня опять, во второй раз, исключили из комсомола. Каково было моей бедной маме, ведь она член совета ветеранов, член комиссии горкома по работе с подрастающим поколением. Но как она разозлилась тогда, разнервничалась, грозила мне пальцем у уха своего, а в конце нервы у нее не выдержали, она разрыдалась и пришлось вызывать «скорую помощь».

Мне кажется, женщина-антисионистка уже близка к подобному состоянию.

— Там в Израиле, — нервно, со слезами в голосе кричит она, — там есть газета... Там газета... — Пауза. — ...во — «Маарив»... Так она в каждом номере пишет, буквально в каждом номере пишет, что в Советском Союзе существует антисемитизм... В стране победившего социализма.

— Успокойтесь, Рахиль Давыдовна, — негромко говорит ей третий неизвестный с зачесанными назад конопляными волосами и с широким коротким носом...

— Нет, вы послушайте — «Маарив»...

После нервной, почти доведшей себя до истерики женщины-антисионистки выступал антисионист-мужчина. Тоже седой, но волосы благородно отброшены назад, в то время как лицо вытянуто вперед: нос, губы, подбородок — все вперед. Говорил он спокойней, уверенней, но скучней, с цитатами: Маркс сказал... Ленин сказал... Шолом-Алейхем сказал... Потом начал расска-

зывать, как в детстве пришлось ему пережить петлюровские погромы. Совсем все заскучали, даже в президиуме Корней Тарасович Торба то ли зевнул, то ли рыгнул, деликатно прикрыв рот ладонью. Но тут, воспользовавшись скукой, Рафа Киршенбаум начал подавать реплики в порядке дискуссии. Рафа, скажу я вам, ядовитый, оскорбить умеет. Как его ни осаживали, а он по-волейбольному все подает и подает реплики резаной подачей. В конце концов, довел мужчину-антисиониста до состояния женщины-антисионистки.

— Правильно Ленин говорил о классовом расслоении всякого народа, в том числе и еврейского, — воскликнул антисионист нервно, — действительно, что общего между вами, махровым сионистом Киршенбаумом, и мной, советским человеком Ваншельбоймом?!

После институтского собрания решил к Рафе не подходить, а позвонить вечером. Вечером, однако, не дозвонился, все время было занято, а потом я быстро уснул, сказалась накопившаяся усталость, сказались бессонные воспаленные ночи. Я теперь отсыпаюсь и наслаждаюсь жизнью без зубной боли. Пять дней без зубной боли, десять дней без зубной боли... Надо бы зайти поблагодарить дядю Иону. Страшно, все не решаюсь, все вспоминаю приветливое лицо майора... Но все-таки преодолеваю себя... Выбираю вечер потемней, пробираюсь по арбатским переулкам с оглядкой, осторожно стучу в окошко у знакомой, освещенной луной надписи «Копытов — гад». Мне повезло, дядя Иона один, в своем бухарском халате, среди своих упа-

кованных вещей. Кажется, упаковано все, кроме рояля, стола, нескольких стульев и пустых книжных полок. Сидит мрачный, длинные седеющие волосы уныло провисают.

— Рафа получил пятнадцать суток, — говорит он, — находится в общей камере с уголовниками и пьяницами.

— Когда? Я не знал. Я не смог к нему дозвониться.

— Разве здесь можно жить? — возбуждается дядя Иона. — Эта страна не имеет личной жизни, не получает удовольствия от своего существования и пытается отравить это удовольствие всем, кому только может... Уезжать надо, уезжать. Смываться.

Он садится за рояль и, несколько повеселев, поет мне свою новую частушку.

В КГБ переполох,
В КГБ смятение:
Парикмахер Сеня Блох
Подад заявление.

Раз, два, три, четыре,
Вот так анекдот,
Разрешение на выезд
Получил Федот.

Мы покинули Москву рано поутру,
До свиданья, КГБ, здравствуй, ЦРУ.

— Вот такая история... Сироты мы, сироты без матери. Пора бежать наконец из этого сиротского дома.

Расстроенный ухажу, забыв поблагодарить за помощь в излечении зубов. Следующий день — воскре-

сенье, провожу один. К отсутствию зубной боли я уже привык, и это больше для меня не праздник.

Осенний дождь позднего сентября. Редкое природное явление — дождь, солнце и радуга. Мокрые стволы осенних деревьев блестят на солнце, желто-зеленая листва и древесная кора также блестят и искрятся. Осенняя радуга — красно-желто-зеленая — источает холод. Вот белые тучи напоззли и как бы сломали радугу, лишь в двух местах, слева и справа, обломки ее опускаются к земле за крыши.. Вот и обломки радуги исчезли, однако солнце продолжает светить и играть на мокрых листьях и древесных стволах. Второй день подряд поднимается из-за домов и, пронзая осенние тучи, падает за башенные краны бетонного завода в гущу леса радуга. К вечеру вдруг потеплело. Выхожу на балкон. Темно. Слышно с балкона, как во тьме, за деревьями, проходит компания и под гармошку, слаженным хором, с запевалой, поют: «Спутник по небу летит, а на нем Бронштейн сидит. Евреи, евреи, кругом одни евреи».

Слева, за железнодорожными путями, мелькают огни и слышны шумы бетонного завода, в полуночном небе мелькают огни самолета, а в нем, наверно, сидит какой-нибудь Бронштейн. Ясный, привычный, обжитой мир. Все решено — я не еду. Поступок мой правилен и логичен, но заснуть я почему-то не могу, точно меня опять мучает зубная боль. Я даже начинаю скучать по зубной боли, в зубной боли есть и нечто положительное, она отвлекает, она мешает думать о другом. Хожу из угла в угол и тоскую по зубной боли. Я, Апфельбаум, всегда

был мнительней, трусливей, эмоциональней и лиричней Рафы Киршенбаума, но кто из нас умней, об этом хотелось бы спросить будущее. Выхожу опять на балкон, смотрю на звезды, и вдруг дрожь пробегает по телу, совсем по-детски становится страшно, что-то мерещится, хоть будущее в своей обычной, ехидной манере молчит, лишь холодно мерцает со своей звездной высоты, лишь туманно намекает на нечто само собой разумеющееся. Торопливо уйду с балкона и все хожу, хожу, сердце стучит, не могу успокоиться. Пошел даже в переднюю и проверил, хорошо ли заперта дверь, точно дверь может спасти от того, что мне померещилось среди звезд. Выпиваю рюмку коньяка, закусываю клюквенным вареньем. Может, «законные сыны отечества» нас просто ревнуют? «Что вы понимаете? Что вы понимаете в нашем пейзаже? В нашем солнце и нашей луне? В нашем языке? В нашей деревне? В нашем классическом наследии...» И глаза, глаза, сторожевые глаза ревнивца, скучного законного супруга. Печальным демоном, печальным чертом, с волнением и страстью незаконного любовника хожу из угла в угол, хожу и думаю, думаю и хожу. Листаю Чехова, чтоб за чтением успокоиться. Чехов меня часто успокаивает, особенно маленькие ранние рассказы. Листаю, не могу сосредоточиться. Листаю до конца, потом опять сначала, пока не попадется рассказ «На чужбине». Разговор русского барина с французским гувернером. «Ах, чудак! Если я французов ругаю, так вам-то с какой стати обижаться? Мало ли кого мы ругаем, так всем и обижаться? Чудак, право! Берите пример вот с Лазаря Исакича, арендатора... Я его и так, и

этак, и жидом, и пархом, и свинячье ухо из полы делаю, и за пейсы хватаю... не обижается же!

— Но то ведь раб! Из-за копейки он готов на всякую низость!»

Однако дело не в рублях, Антон Павлович, точнее, дело не только в рублях. Если б собственное достоинство пришлось менять только на рубли, то нашлось бы достаточно таких, которые его бы удержали при себе. Может быть, даже я, Веня Апфельбаум. Но ведь собственное достоинство приходится менять прежде всего на кислород... Ученые считают, что древние ящеры имели в своем распоряжении гораздо больше кислорода, чем современный человек, тридцать четыре процента, а современный человек имеет только двадцать один процент. И мы, евреи, вынуждены пользоваться этим процентом полностью, тут процентной нормой, как при приеме на работу или в институты, не обойдешься. Ничего не поделаешь, физиологическая потребность. Вот откуда рабская психика, как физиологическая необходимость. Вот почему лучшие, те, кто пытались и пыгаются удержать при себе собственное достоинство, задыхаются и вымирают. Так создавался национальный тип, национальный характер из поколения в поколение. Уехать, пожертвовать всем — насиженным местом, обжитым миром... Однако ведь рабскую психику приходится брать с собой, и есть сведения, что в условиях свободы эта рабская психика дает еще худшие плоды... Чтоб решиться ехать с таким грузом, надо быть либо идеалистом, таких немного, либо негодяем, таких гораздо больше, либо глупцом, таких большинство. А я ни то, ни другое, ни третье... Слава

Богу, я еще не разучился краснеть, когда лгу или подличаю. Но что же мне, Апфельбауму, делать? На что надеяться? Только на невропатолога... Кажется, у Бирнбаумов есть хороший невропатолог. С зубным врачом они меня подвели, а невропатолог у них действительно хороший. Саша рассказывал, что Лазарь Исакович после случая с Буденным заболел нервной крапивницей, у него дергалась голова, и все падало из рук. Как я со своими зубами, он обошел множество врачей-невропатологов, но этот его вылечил.

— Что с вами было, где вы пропадали? — спрашивает меня Лазарь Исакович, когда на следующий день я прихожу к Бирнбаумам в гости.

— Ах, были неприятности, — отвечаю я.

— Что ты спрашиваешь... — вмешивается Бетя Яковлевна, — у кого их в наше время не бывает.

— Да, вечные темы, — говорю я.

— Вы имеете в виду антисемитизм? — понизив голос, спрашивает Лазарь Исакович.

— Нет, я имею в виду зубную боль...

— Но это все-таки излечимо, — говорит Лазарь Исакович.

— Вы слышали, Веня, что случилось с Киршенбаумами? — спрашивает Бетя Яковлевна.

— Конечно, он слышал, — отвечает за меня Саша.

— Я Киршенбаумов не понимаю, — говорит Лазарь Исакович, — ехать в Израиль... Смотрит на Израиль сквозь розовые очки... Зачем вообще он был нужен, этот Израиль? Кому вообще он был нужен? Фашистское государство. Они там издеваются над ара-

бами, а мы тут за них должны отвечать. Из-за них нас не любят, из-за них, из-за Израиля нас ненавидят, из-за них растет антисемитизм... Кто его придумал, этот Израиль, чтоб тому вывернуло голову. Да... Фашисты еврейские... Сионисты — это фашисты...

— Лазарь, успокойся, у тебя поднимется давление, — говорит Бетя Яковлевна.

— Этот Бегин, — не может успокоиться Лазарь Исакович, — его судить надо... Террорист... Руки в крови... Встречается с немецкими реваншистами... Штраусу руку подает... Нет, это только подумать... Только подумать... Негодяй! Мерзавец!

Лазарь Исакович так разволновался, что вставная челюсть выпала у него на стол, лысина и лоб покраснели.

— Лазарь, прошу тебя, успокойся, у тебя опять могут начаться спазмы. Выпей наливки...

Лазарь Исакович подносит к губам рюмку с наливкой, но как-то скособоченно, дрожащей рукой. Наливка выплеснулась на скатерть, течет у него по щеке, по подбородку.

— Папа, ты сейчас похож на жертву погрома, — говорит Саша.

— Саша, оставь свои глупые шутки, — говорит Бетя Яковлевна. Она накрывает на стол, и вскоре мы уже едим румяные тегелех, сваренные в медовом сиропе, едим посыпанный сахарной пудрой флоден, едим лейках, покрытый сахарной глазурью, и пьем ароматную наливку из плодов владимирских киршенбаумов, ароматную наливку из черной, сладкой, владимирской вишенки, в которой каждая косточка заменена ореш-

ком. Пьется наливка легко, приятно и, между прочим, опьяняет. Наливка в стаканах темно-красная и тягучая, как артериальная кровь. Иногда одна и та же мысль одновременно посещает разные головы. Говорят, в этом предзнаменование свыше.

— Хорошо, что сейчас либеральные времена, — говорит Саша Бирнбаум, — а изменятся времена, заглянет какой-нибудь антисемит в окно, увидит, как мы пьем вишневую наливку — вот тебе и кровавый навет, вот тебе и кровь христианских младенцев в кашерных стаканчиках.

— Типун тебе на язык, — пугается Лазарь Исакович, — как же они заглянут в окно на третий этаж.

— Подумаешь, проблема, — пугает отца Саша, — лестницу подставят.

— Я ведь тебя просила, Саша, не шутить так глупо, — говорит Бетя Яковлевна, — ты всегда глупо шутишь...

Шутка действительно глупая, несерьезная, но образная, и у меня, под влиянием этой шутки и выпитой наливки, вдруг знобящий холодок снизу по животу до самого пупка. Впрочем, ненадолго. Мы вкусно едим, сладко пьем, рассказываем анекдоты, Бирнбаум сообщает, что тема его диссертации о замене коровьего масла в оконной замазке получила поддержку на ученом совете института. Я надеюсь, что и моя тема по железной замазке при подводных железобетонных работах будет утверждена.

— Не понимаю — зачем нервничать, — говорит Саша. — Рафе хочется расти рядом с пальмами, это его дело, а мы остаемся в этой почве и, дай Бог, не засохнем,

может, даже дадим приплод, если, конечно, нас не выручат топором... А антисемиты? Без них тоже нельзя. Мне, например, без них было бы просто скучно. Более того, я считаю, что какое-то количество разумных антисемитов, понимающих свои интересы — это необходимое условие нашего существования. Главное, чтоб между нами и ими соблюдалось экологическое равновесие.

— А для этого, — говорю я, подыгрывая Саше, — хорошо б в наш век мирных инициатив собрать международную конференцию где-нибудь в Женеве или Одессе по мирному сосуществованию между нами и антисемитами. Для подготовки такой конференции должны встретиться делегации — Апфельбаум, Бирнбаум и Киршенбаум, отказавшийся от экстремизма, а с другой стороны — Яблочкин, Грушин и Вишняков, в свою очередь, тоже бывший экстремист. Посредник — допустим, некий Томмазо Кампанелла, представитель ООН. В конце концов, все дурные предзнаменования и ночные страхи излечиваются невропатологом. Кстати, чтоб не забыть, нет ли у вас хорошего невропатолога?

— У нас есть один доктор, — говорит Бетя Яковлевна, — но мы им недовольны... Если найдем что-нибудь поприличней, то обязательно вам сообщим. А что, у вас тоже крапивница?

— Нет, нет, я просто немножко переутомился. Но теперь уже лучше! И надеюсь, станет еще лучше.

Действительно, следующую ночь сплю хорошо. Воскресным утром, успокоенный, бодрый, выхожу из дома. Поют осенние птицы, то есть каркают и чирикают, солнечно, как в государстве солнца у средневекового

монаха-философа, коммуниста Томмазо Кампанеллы, солнце блестит в небе и в лужах на тротуарах. Вокруг тютчевский пейзаж, тютчевское мироощущение.

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора.
Весь день стоит как бы хрустальный
И лучезарны вечера...

Хорошо, легко дышится. Мы все сетуем на наше время, а как люди жили в средневековье? Частые антисемитские погромы, даже в цивилизованных странах, зверства инквизиции. Тот же Томмазо Кампанелла был приговорен к пожизненному тюремному заключению и подвергался пыткам только за то, что, описывая свое государство солнца, где не было частной собственности, подробно разрабатывал государственную систему регулирования половых отношений. Он считал, что для обеспечения хорошего потомства необходима общность жен и необходимо, чтоб пары подбирались правительством. Только тогда воцарится мир между людьми. Не знаю, как насчет участия правительства, но чисто психологически этот принцип не лишен рационального зерна.

Когда я был совсем молодым жеребцом, еще в своем провинциальном городе, то делил одну и ту же женщину, Любку Строганую, с Филькой Шахом, настоящую фамилию которого я так и не знал. Шах была его блатная кличка, ибо Филька был известный в городе рецидивист, хулиган и антисемит. Однако лично у меня с Филькой отношения были мирные. Все было хорошо, пока у меня не начался мучительный зуд на лобке. Вот

чего не учел Томмазо Кампанелла. Мучения мои были ужасны, и при этом приходилось таиться из-за стыда и страха. Тайно раздобыл медицинскую литературу и узнал, что крошечные бело-желтые паразиты, обнаруженные мной в моем волосяном покрове, именуются — плащница лобковая, втириус пулис. Впрочем, Филька именовал паразитов просто — мандавошки... Бедная моя мамочка. Она узнала о моем несчастье по запаху, потому что Филька посоветовал смазать лобок и яйца керосином... Любимая моя мамочка, она чуть не выгнала меня из дому, хоть я знаю, она меня очень любит.

— Солнце мое, — часто говорила она мне, — ах ты, солнце мое, — а потом сердилась и кричала, — я тебя сейчас ударю.

— Кого ты ударишь, мама? — отвечал я. — Кого ты ударишь? Свое солнце?

Бедная моя мамочка, сколько я ей доставлял и продолжаю доставлять огорчений. Позавчера получил от нее письмо, как она пишет, «пропитанное слезами». Кто-то ей намекнул, будто я собираюсь подавать заявление на выезд в Израиль. Неприличные, аморальные люди, писать такое старой женщине с больным сердцем. Узнать бы, кто это сделал. Впрочем, если подумать, поразмышлять, то кажется, возможно, вполне допустимо, что она догадалась об этом из моего собственного письма. Когда у меня болели зубы, я был так измучен и ожесточен, что сам не понимал, о чем говорю, а тем более пишу. Какой я все-таки хазер, до сих пор не ответил, не успокоил. Ведь она там волнуется, наверно, ночи не спит. Ветеран партии, а сын собрался в Израиль.

Взял такси и помчался на главтелеграф. Пока ехали, все время нервничал — то пробки, то объезд, то на Комсомольской площади шофер побежал за сигаретами и черт знает сколько пропал. На метро добрался бы не только дешевле, но и быстрее. Наконец доехали. Расплатился, не дав на чай в наказание за плохую езду, выскочил из такси, провожаемый криком:

— Пидор гнойный!

Оглянуся, огрызнулся:

— Жлоб с деревянной мордой! — и сам себе тихо, почти шепотом: — Спокойно, спокойно... Обалдуй! — крикнул еще сильнее, так, что отдало в затылок.

Таксист вытащил из багажника отвертку. Погромщик. Поспешил от него прочь. Так спешил, что на широких лестницах главтелеграфа споткнулся, упал, сильно ударившись коленом и вызвав смех прохожих. Подлецы! Действительно, в определенные моменты можно понять Киршенбаума. Кажется, сам бы убежал куда-нибудь, даже на далекую планету, лишь бы прочь отсюда. А вот так, взять бы, да бросить эту землю «законным сынам отечества», пусть подавятся, эту планету, экологически загрязненную с ее двадцати одним процентом кислорода. Первобытные ящеры таким составом воздуха дышать не могли бы. Может, «законные сыны отечества» надеются на то, что мы вымерем, как первобытные ящеры? Немцы в свое время довели нашу процентную норму кислорода до нуля. Дышать пришлось, первоначально, выхлопными газами автотранспорта, а затем всю дыхательную сферу, всю атмосферу для евреев изготавливали в Гамбурге на заво-

дах «И. Т. Фарбениндустри». Ну, до Гамбурга эти еще не дошли, но от Нюрнберга уже недалеко.

К счастью, свежая атмосфера в зале главтелеграфа несколько успокоила. Воскресное утро, никаких очередей у почтовых окошек не наблюдается. Купил почтовую открытку, говорят, почтовые открытки идут быстрее, чем письма. Сел у столика и отвратительной почтовой ручкой начал скрипеть и царапать о том, что немного болели зубы, но теперь уже все позади, немного переутомил нервы, но теперь уже все в порядке. Написал, что моя диссертация по железной замазке почти утверждена и я без пятнадцати минут кандидат наук. В институте отношение ко мне замечательное, и, возможно, я получу повышение по должности вплоть до замначальника отдела. Это уж написал без всяких оснований, просто чтоб убедить, успокоить, доказать — мамины опасения напрасны. Однако как непосредственно сформулировать то, что ее особенно волнует? Написал, прочел — зачеркнул. Еще раз написал — опять зачеркнул. В сердцах разорвал открытку. Оглянулся — какая-то женщина смотрит на меня тревожно, как на пьяного или сумасшедшего. Встал с опять по ночному колотящимся сердцем. Ныли зубы. Странное дело, зубы у меня здоровые, но после перенесенной боли стоит понервничать — и нервы бьют по зубам. Пошел, чтоб купить новую открытку, но по дороге меня осенило — почему бы не дать телеграмму? Открытка все равно будет идти несколько дней, а телеграмму мама получит в крайнем случае завтра утром, а, если повезет, то и сегодня вечером. Разумеется, еще быстрее

СОДЕРЖАНИЕ

БЕРДИЧЕВ

5

ИСКРА

199

МАЛЕНЬКИЙ ФРУКТОВЫЙ САДИК

251

ПРОЗА ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

Бердичев

Избранное

Редактор М. Крылова

Корректоры Т. Калинина, Н. Пущина

Издательство благодарит Давида Розенсона
за участие в разработке этой серии

Подписано в печать 31.05.07. Формат 70 x 100/32.
Усл. печ. л. 12,90. Уч.-изд. л. 13,24. Тираж 5000 экз. Изд. № 733.
Заказ № 7170.

Издательство «Текст»

127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1

Тел./факс: (495) 150-04-82

E-mail: textpubl@yandex.ru

<http://www.textpubl.ru>

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200 г. Можайск, ул. Мира, 93

В СЕРИИ
ПРОЗА ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ
ВЫШЛИ:

Аарон Аппельфельд. Катерина
БЕЛАЯ ШЛЯПА БЛЯЙШИЦА. Сборник
рассказов

Сол БЕЛЛОУ. Серебряное блюдо

Исаак БАШЕВИС ЗИНГЕР. Папин домашний суд

Исаак БАШЕВИС ЗИНГЕР. Раб

Исаак БАШЕВИС ЗИНГЕР. Раскаявшийся

Даниэль КАЦ. Как мой прадедушка на лыжах
прибежал в Финляндию

КИПАРИСЫ В СЕЗОН ЛИСТОПАДА. Рассказы
израильских писателей

Мордехай РИХЛЕР. Улица

Меир ШАЛЕВ. Русский роман

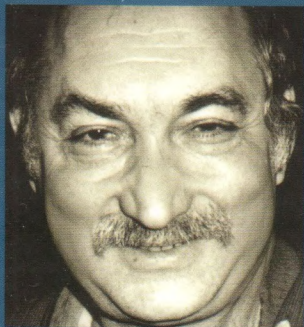
Меир ШАЛЕВ. Эсав

Лесли ЭПСТАЙН. Сан-Ремо-Драйв



ЕВРЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ И ТЕМЫ

Об этих и других книгах, о новинках и классике,
об актуальных событиях и вечных вопросах —
рецензии, статьи, анонсы и проекты на сайте
www.booknik.ru



5/0 12-07
-9-00



אידישע שפראך
עברית

Фридрих Горенштейн (1932 – 2002) в советские годы практически не издавался. Сам писатель называл свое творчество мезью тоталитарной системе. За неимением надежд на литературное будущее в СССР он был вынужден эмигрировать в Германию. За рубежом Горенштейна печатали и переводили на многие языки.

В сборник вошли повесть «Маленький фруктовый садик», рассказ «Искра» и пьеса «Бердичев», по масштабности сравнимая с романом, в которой нашла отражение жизнь целого поколения евреев, русских и украинцев.



проза еврейской жизни